ISSN 0130-6545

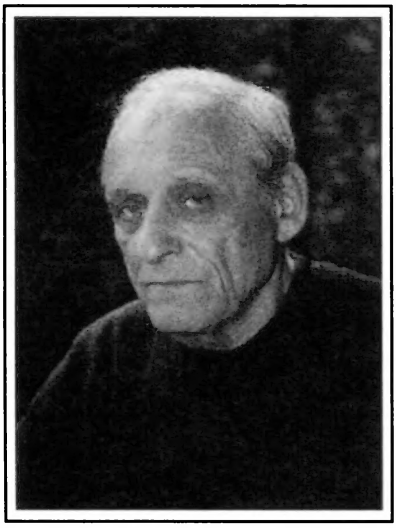
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[1] 2013

16+

ПОВЕСТЬ АЛАНА БЕННЕТТА
«ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ МИССИС ДОНАЛДСОН»
«БЕРЛИНСКИЕ ОЧЕРКИ»
ЙОЗЕФА РОТА В РУБРИКЕ «ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА»

Основан в 1955 году



24 октября 2012 года, не дожив нескольких дней до своего девяносто первого дня рождения, скончался Александр Михайлович Ревич, талантливый поэт и переводчик, профессор Литературного института им. Горького, лауреат Государственной премии и один из первых лауреатов премии "Мастер", которую переводчики присуждают своим коллегам.

Несмотря на изнурительную болезнь, Александр Михайлович до последних дней слышал и записывал стихи и даже готовил в печать новый сборник. Помимо прочего, в него вошли последние поэмы – Ревич был мастером этого довольно редкого в наше прозаическое время жанра. Одна из них, "Поэма о плывущих облаках", посвящена давнему другу – Александру Галичу. Кончается она так:

Мадонна все идет по Иудее,
метут снега, и ты издалека
мне говоришь: "Совсем не важно, где я.
Здесь на земле я. С вами на века".

А первая поэма была написана в 1946–1959 годах и называлась "Начало". Началом всего – биографии, размышлений о вечных вопросах, осознания своего поэтического предназначения – для Ревича была война. Героический побег из вражеского плена, за который свои отправили молодого лейтенанта в штрафбат (взамен первоначального приговора – расстрела), ранение, боевые награды. Война навсегда осталась в памяти бывшего фронтовика, как и осколок в его легком.

В 1951 году он закончил Литературный институт им. Горького, где его учителем был Павел Антокольский. В душные годы борьбы с космополитизмом и принудительной партийности "неспособные встраиваться в конъюнктуру, хвататься за злободневность, вынуждены были прикрыться высокой непререкаемой культурой и уйти в перевод" (из эссе "Как я переводил"). Однако для Ревича вынужденное амплуа обернулось счастьем – в переводе раскрылся его талант потрясающего проникновения в поэтический мир иноплеменных мастеров, современников и классиков. Свидетельством этого высокого искусства стал вышедший в 2007 году сборник "Паломник. Страницы европейской поэзии XIV–XX веков".

Сам Александр Михайлович считал одной из самых удачных своих работ перевод стихотворения Поля Верлена "Искусство поэзии", которым открывается последний его прижизненный сборник "Позднее прощание". Это гимн музыке как основе поэзии, поскольку "остальное все – чистописанье".

Умер Александр Ревич. В мире стало меньше музыки.

[1]
2013

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 Вислава Шимборская *Довольно.* Книга стихов. Перевод с польского К. Старосельской

12 Алан Беннетт *Вторая молодость миссис Доналдсон.* Повесть. Перевод с английского Веры Пророковой

64 Мишель Турнье *Зеркало идей.* Перевод с французского и вступление Марии Липко

"Я пришел из иной страны..." Рассказы

90 Дагоберто Гильб *Поселок "Ивушка".* Перевод с английского Андрея Светлова

110 Томас Корагессан Бойл *Пепельный понедельник.* Перевод с английского Андрея Светлова

129 Георг Кляйн *Будущее.* Перевод с немецкого Анатолия Егоршева

133 Ханиф Курейши *Мой сын – фанатик.* Перевод с английского Александра Беляева

143 Магдалена Тулли *Бегство лис.* Перевод с польского Ирины Адельгейм

Вглубь стихотворения

157 Иосиф Бродский *Blues. Törnfallet. A Song. To My Daughter.* Переводы с английского. Вступление Виктора Куллэ

Из классики XX века

175 Йозеф Рот *Берлинские очерки.* Перевод с немецкого М. Рудницкого

Литературный гид: Роман-невидимка Ральфа Эллисона

203

204 Ольга Панова *Роман-невидимка Ральфа Эллисона*

214 Ральф Эллисон *Невидимка.* Фрагменты романа. Перевод с английского Ольги Пановой

250 *Искусство писателя.* Интервью Ральфа Эллисона журналу *Пэрис ревью.* Перевод с английского Ольги Пановой

261 Сол Беллоу *Ральф Эллисон.* Перевод с английского Ольги Пановой

Статьи, эссе

265 Марина Ефимова *Безвестные рыцари кинобизнеса*

Писатель и общество

271 Леонид Гиршович *Анти-антиутопия, или На салоне*

БиблиофИЛ

275 Михаил Визель *Особенно Италия*

278 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

Авторы номера

281

© "Иностранная литература", 2013

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор
А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:
Л. Н. Васильева
Б. В. Дубин
Т. А. Ильинская
ответственный секретарь
Т. Я. Казавчинская
К. Я. Старосельская

Редакция :
С. М. Гандлевский
Е. Д. Кузнецова
Е. М. Мамардашвили
Ю. Л. [illegible]

Общественный редакционный совет:
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Ю. П. Гусев
Г. М. Дашевский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Рудницкий
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
[illegible]

Международный совет:
Ван Мэн
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ

Вислава Шимборская

Нобелевская премия 1996 года

Довольно

Книга стихов

Перевод с польского К. Старосельской

Наш журнал дважды публиковал книги выдающегося польского поэта Виславы Шимборской в переводе Асара Эппеля (“Двоеточие”, 2006, № 6; “Здесь”, 2010, № 1). “Довольно” — последний сборник, вышедший в Польше вскоре после кончины автора. Одно стихотворение из этого сборника — “Карта” — было напечатано в “ИЛ” (2012, № 4) еще до выхода книжного издания. Все остальные мы представляем нашему читателю сейчас.

Тот, за кем я с некоторых пор наблюдаю

...не посещает коллективно.
Не собирается многолюдно.
Не участвует массово.
Не отмечает шумно.

Не присоединяет свой голос
к общему хору.
Не объявляет городу и миру.
Не заявляет от имени.

All Works by Wisława Szymborska © The Wisława Szymborska Foundation
© К. Старосельская. Перевод, 2013

Не присутствует,
когда выясняют,
кто — за, кто — против,
спасибо, не вижу.

Нет его там,
где плечо к плечу,
в ногу, в одном строю,
и вперед к общей цели,
в кармане листовка,
в другом бутылка
с горьким хмелем.

Где только поначалу
тишь да гладь,
две силы смешаются
и не разобрать,
кому камни,
кому цветы,
где он, где они,
где ты.

Неупомянутый.
Из себя невидный.
Работник Службы городского хозяйства.
Чуть свет
с места, где происходило,
сметает, уносит, бросает в тележку
то, что приколочено к полуживым деревьям,
растоптано в полумертвой траве.

Рваные транспаранты,
разбитые бутылки,
обгорелые чучела,
огрызки,
четки, свистки и презервативы.

Раз подобрал в кустах клетку, где были голуби.
Принес домой.
Она ему нужна для того,
чтобы оставалась пустой.

Признания читающей машины

Я, Номер Три Плюс Четыре Деленное На Семь,
славлюсь широтой лингвистических знаний.
Уже распознал тысячи языков,
какими в давние времена
пользовались вымершие народы.

Все, что они своими значками записывали,
даже погребенное
под напластованиями катаклизмов,
извлекаю и воспроизвожу
в первоначальном виде.

Это не похвальба —
я читаю даже лаву
и листаю пепел.

Результаты вывожу на экран,
поясняя,
что́ когда было сделано,
из чего и с какой целью.

А уже по собственной инициативе
изучаю некоторые письма
и поправляю в них
орфографические ошибки.

Признаюсь, кое-какие понятия
ставят меня в тупик.
Например, состояния, именуемые “чувствами”,
до сих пор не могу истолковать точно.

Или странное слово “душа”.
Удалось пока установить, что это своего рода туман,
якобы более устойчивый, чем смертные организмы.

Однако хуже всего обстоит дело с глаголом "есмь".
Казалось бы, обычное действие,
производимое повсеместно, но не совместно,
правремя — настоящее,
вид — несовершенный,
хотя, как известно, действие завершилось.

Только исчерпывающая ли это дефиниция?
Контакты у меня искрят и потрескивают,
индикатор связи с Центром потускнел,
а должен светиться.

Обращусь, пожалуй, за братской помощью
к коллеге Две Пятых Нуля
Дробь Ноль Пять Десятых.
Он, правда, известный псих,
но башковит.

Есть такие, что

Есть такие, что ловчее управляются с жизнью.
Внутри у них и вокруг порядок.
На все есть ответ и всегда найдется выход.

Они вмиг угадают, кто кого, кто с кем,
почему и с какой целью.

Непреложные истины скрепляют печатью,
ненужные факты отправляют в бумагорезку,
а на неизвестных личностей
у них уже заведены досье.

Думают они ровно столько, сколько нужно,
и ни минутой дольше,
ведь в эту минуту может закрасться сомнение.

А когда жизнь их отпускает,
покидают свой пост
предписанным путем.

Иногда я им завидую —
к счастью, недолго.

Цепи

Жаркий день, собачья конура, на цепи собака.
Чуть поодаль миска, налитая до краев водой.
Но цепь коротковата,
и пес не дотягивается до миски.
Добавим к картинке еще одну деталь:
наши гораздо более длинные
и менее заметные цепи,
которые позволяют нам свободно пройти мимо.

В аэропорту

Бегут навстречу, раскрыв объятия,
кричат сквозь смех: Наконец! Наконец-то!
Оба в тяжелых зимних пальто,
в теплых шапках,
шарфах,
сапогах,
перчатках,
но уже только в наших глазах.
Друг для друга они — наги.

Волей-неволей

Мы съедаем чужую жизнь, чтобы жить.
Покойник шницель с усопшей капустой.
Меню — это некролог.

Даже лучшие из лучших
вынуждены поглощать, переваривать убоину,
чтобы их чувствительные сердца
не перестали биться.

Даже самые утонченные поэты.
Даже самые суровые аскеты
жуют и глотают что-то,
что росло себе безмятежно.

Как-то не вяжется это с добрыми богами.
Разве что они чересчур доверчивы,
чересчур наивны,
всю власть над миром отдали природе.
И это она, безумица, навязывает нам голод,
а где голод —
невинности нет места.

Где голод — тут как тут органы чувств:
вкус, обоняние, осязание и зрение,
им не все равно, какая еда
и на каких тарелках.

Даже слух не остается в стороне —
ведь застолье
редко обходится без приятной беседы.

У *каждого когда-нибудь*

У каждого когда-нибудь умирает кто-то из близких,
между быть или не быть
вынужденный выбрать второе.

Нам трудно признать, что это банальный факт
в ряду неизбежных событий,
в рамках установленных правил;

рано или поздно вносимый в повестку дня,
вечера, ночи или предрассветного часа;

и неоспоримый, как ключевое слово, в документе,
как статья уголовного кодекса,
как любая дата
в календаре.

Но таков закон (а закон суров) природы.
Таковы ее (как ни крути) альфа и омега,
всемогущество и вездесущность.

И лишь иногда
она оказывает нам мелкую любезность:
подкидывает в наши сны
умерших близких.

Кисть руки

Двадцать семь костей,
тридцать пять мышц,
примерно две тысячи нейронов
в кончике каждого из пяти наших пальцев.
Этого вполне достаточно,
чтобы написать "Майн Кампф"
или "Винни Пуха".

Зеркало

Да, я помню эту стену
в нашем разрушенном городе.
Торчала чуть не до шестого этажа.
На четвертом висело зеркало,
глазам не верилось:
не разбитое, не покосившееся даже.

Не отражавшее уже ничьего лица,
ничьих, расчесывающих волосы, рук,
никаких дверей напротив,
ничего, что можно назвать
точкой в пространстве.

Как будто устроило себе передышку —
в него смотрелось живое небо,
тучи, гонимые неистовым ветром,
пыль руин под сверкающими дождями,
птицы на лету, звезды, восходы солнца.

И, как всякая правильно сработанная вещь,
делало свое дело безупречно,
с профессиональной бесстрастностью.

Во сне

Мне приснилось, будто я что-то ищу,
где-нибудь, вероятно, спрятанное, то ли потерянное
под кроватью, под лестницей,
по старому адресу.

Я рылась в шкафах, ящиках стола, коробках,
зачем-то забитых забытыми вещами.

Вытаскивала из чемоданов
проделанные пути и проведенные годы.

Вытряхивала из карманов
опавшие листы и похвальные листья.

Запыхалась, бегая
по своим-не своим
тревогам, дорогам.

Увязала в завалах мусора
и беспамятства.

Путалась в колючих кустах
и домыслах.

Разгребала воздух
и траву детства.

Спешила, пока не растает
прошлогодний снег, не свистнет рак,
не захлопнется клетка.

Под конец уже и сама не знала,
что хотела найти.

Проснулась.
Посмотрела на часы.
Сон продолжался чуть меньше
двух с половиной минут.

Вот как вынуждено исхитряться время,
когда натыкается
на больную голову.

Обоюдность

Есть каталоги каталогов.
Есть стихи о стихах.
Пьесы об актерах в исполнении актеров.
Письма по поводу писем.
Слова для объяснения слов.
Есть мозги, занятые изучением мозга.
Печали, заразительные, как смех.
Бумага, изготовленная из бумажных отходов.
Увиденные взгляды.
Падежи в разных падежах.
Большие реки, несущие воды малых.
Леса, по самый край поросшие лесом.
Машины, предназначенные для производства машин.
Сны, которые внезапно пробуждают от сна.
Здоровье, необходимое для выздоровления.
Ступеньки, ведущие как вверх, так и вниз.
Очки для поиска очков.
Вдох и выдох дыхания.
И, пускай хоть время от времени,
ненависть ненависти.
Потому что в конце концов —
незнание незнания
и руки, занятые умыванием рук.

Собственному стиху

В лучшем случае, стих мой,
ты будешь внимательно прочитан,
откомментирован и заучен.

В худшем случае —
прочитан и только.

Третья возможность:
хоть и написанный,
минуту спустя выброшен в корзину.

Есть еще один вариант, четвертый:
исчезнешь ненаписанный,
удовлетворенно бормоча что-то себе под нос.

Алан Беннетт

Вторая молодость миссис Доналдсон

Повесть

Перевод с английского Веры Пророковой

— Как я понимаю, вы — моя жена, — сказал мужчина, сидевший в приемной. — Кажется, я еще не имел счастья... Позвольте узнать, как вас зовут?

Средних лет, сухопарый, с голыми ногами и в коротком халате, под которым, как подумалось миссис Доналдсон, он мог быть совершенно без всего.

— Доналдсон.

— Точно. А я Терри. Я уезжал.

Он протянул ей руку, и, хотя пожала она ее быстро, халат распахнулся, и она увидела оранжевые трусы с заткнутым за широкую резинку мобильным.

— Проблемы с задним проходом, — сообщил Терри бодро.

— Нет, — сказала миссис Доналдсон, — кажется, нет.

— У меня, дорогуша, а не у вас, — сказал Терри. — Вы просто моя жена.

— Мне сообщили, — ответила миссис Доналдсон, — что у вас трудности с мочеиспусканием.

— Вряд ли. — Терри подтянул трусы. — Быть такого не может.

Agents Limited on behalf of Alan Bennett © Alan Bennett, 2010, 2011
© Вера Пророкова. Перевод, 2013

— Частые позывы, — сказала миссис Доналдсон. — Всю ночь приходится бегать.

— Ну нет же! Я хожу перед сном, а потом утром, как проснусь. Ну, что я вам рассказываю, — хихикнул он. — Вы же моя жена.

Миссис Доналдсон открыла папку.

— Сами убедитесь — проблема по другому отделу. Стул твердый, болезненный. Бывает кровь. И все такое. Я подумал, наверное, я застенчивый, и вы пошли со мной, чтобы держать меня за руку.

— Да, я ведь была медсестрой, — согласилась миссис Доналдсон. — И все эти термины знаю прекрасно. Кишечник, прямая кишка, простата.

— Погодите-ка! — сказал Терри. — Вы и в самом деле были медсестрой?

— Нет, — ответила миссис Доналдсон. — Я вдова.

— Так, подождите минутку, — сказал Терри. И, завязав пояс на халате, вышел.

Когда он вернулся, она сидела на другом месте. Он сел рядом, но ничего не сказал.

— Ну и? — спросила миссис Доналдсон.

Он показал на свою промежность.

— Мочеиспускание-таки, но кишечник все равно в деле — чтобы осмотреть старушку-простату, так и так придется лезть с заднего хода. А уж дальше все зависит только от того, чем он решит их загрузить.

Дверь открылась. Послышался смех, и в приемную выскочила вся в слезах девушка с беджиком.

— Дорогуша, я же пыталась вам намекнуть, — сказала, застегивая на ходу блузку, вышедшая за ней пожилая дама. — Про желчный пузырь — это был ложный след.

Прозвенел звонок. Терри и миссис Доналдсон встали.

— После вас, — сказал Терри и ткнул миссис Доналдсон пальцем в спину пониже талии. Она увернулась.

— Не забывайте, вы же застенчивый.

В то утро студентов было шестеро — четверо юношей и две девушки. Помещение было обставлено под кабинет врача — письменный стол, стол для осмотра, и где-то в углу маячил, изображая полную безучастность, доктор Баллантайн, руководитель группы. Так кто же этот Терри, подумала миссис Доналдсон, трусы у него выдающиеся.

— Доброе утро, миссис Доналдсон, мистер Портер, — приподнялся в кресле Баллантайн.

— Не стану спрашивать, как вы себя чувствуете — это пусть выясняют наши юные лекари, увы, без покинувшей нас в рас-

строенных чувствах мисс Траскотт. Да вы проходите, проходите. Кто-нибудь предложит этим милейшим людям сесть? — Он снова опустился в кресло. — Мистер Роузвелл, за дело!

Нервный пунцовый юноша с разными ушами и в халате на пару размеров больше, чем надо, кое-как усадил их и сам с опаской сел за стол. Затем вытащил руку из чересчур длинного рукава и попытался улыбнуться Терри.

— Итак, что вас беспокоит?

Баллантайн тяжело вздохнул и обхватил голову руками.

— Поздравляю, мистер Роузвелл. Вы всего на втором курсе медицинского, а уже умеете то, чему я не научился за двадцать лет практики. Вы можете с ходу определить, кто болен, а кто нет.

Студенты подобострастно захихикали.

— Откуда вы знаете, кто из этих двух, с виду вполне здоровых людей, ваш пациент?

Роузвелл покраснел еще гуще.

— Он же в халате.

Баллантайн взглянул на Терри как в первый раз.

— И в самом деле. А что это вы, мистер Портер?

— Я думал время сэкономить.

— Мы здесь собрались не время экономить. Мы здесь, — он одарил миссис Доналдсон обворожительной улыбкой, — собрались жизни спасать. Больше не бегите впереди паровоза. Вот будь пациенткой миссис Доналдсон, я уверен, она не явилась бы... — он на секунду задумался, — ...в неглиже. — Он мечтательно улыбнулся, нарисовав в воображении такую картину. — Продолжайте, мистер Роузвелл.

На занятия к медикам миссис Доналдсон стала ходить с месяц назад, а в больницу гораздо раньше. Именно здесь медленно и довольно мучительно умирал мистер Доналдсон, и супруга безропотно навещала его ежедневно. Со временем этот распорядок стал ее раздражать, но она приноровилась и даже привыкла к такой жизни, так что, когда муж скончался, утрата оказалась двойной — она тосковала по самим посещениям не меньше, чем по тому, кого посещала, и днем просто не знала, чем себя занять. Поскольку никаких обязательств у нее не осталось, она неделями торчала дома, что Гвен, ее замужняя дочь, сочла достойным проявлением скорби и в душе радовалась — она всегда считала, что мать недостаточно ценит отца.

Муж миссис Доналдсон был человеком глубоко порядочным, и она искренне сожалела о его кончине, однако не была готова жить и дальше в благопристойном одиночестве, которое, по мнению дочери, приличествует вдове. Спасение пришло неожиданно.

Из-за путаницы с мужниной пенсией, вдова оказалась в более стесненных обстоятельствах, чем предполагалось, и нуждалась в дополнительных источниках дохода. Оставшись одна в доме с тремя спальнями, она поняла, что может пустить к себе студентов.

Оспаривать экономическую сторону такого варианта дочь не могла, однако видела в этом намек на понижение социального статуса, что ее возмущало.

— Жильцы? В Лоунсвуде? Папа такого не одобрил бы. Совершенно не вижу тебя в роли квартирной хозяйки.

— Оттого что я сдам свободную комнату, я не стану квартирной хозяйкой. К тому же, — добавила миссис Доналдсон, — они не жильцы, они студенты.

Гвен спорить не стала, решив, что через несколько месяцев серые разводы в ванне, громкая музыка по ночам и плохо смытые унитазы убедят мать лучше любых доводов.

— Вот увидит презерватив в сортире, — сказала она мужу, — и запоет по-другому.

Возможно, миссис Доналдсон просто повезло, но двое студентов, которых ей прислали из университетского агентства, были безукоризненны во всех отношениях, кроме одного. Они были тихие, аккуратные, мыли за собой ванну, всегда спускали воду в унитазе и вели себя так деликатно, что миссис Доналдсон почти не ощущала их присутствия. Лора училась на медицинском, а ее бойфренд Энди изучал архитектуру (миссис Доналдсон решила, что, возможно, они поэтому такие опрятные), и именно благодаря им миссис Доналдсон пошла подрабатывать демонстратором — Лора увидела объявление в университетской газете.

Там говорилось, что никаких особых навыков не требуется — только умение запоминать и точно называть симптомы. Про уверенность в себе там не было ни слова — миссис Доналдсон это бы отпугнуло, она всегда считала себя застенчивой.

А Гвен, которой она об этом опрометчиво рассказала, тут же отметила:

— Начнем с того, что ты терпеть не можешь раздеваться на людях.

— Не люблю, — согласилась мать, — но это же для пользы дела.

— Я думала, ты на больницы достаточно насмотрелась. Вот уж не знаю, что бы на это сказал папа. — Миссис Доналдсон часто казалось, что Гвен назначила себя его представителем на земле.

Занятие хоть и было достойное и, даже можно сказать, похвальное, дочь его таковым не считала: то, что мать собиралась делать, отдаленно напоминало работу натурщицы —

здесь тоже требовалась некая доля бесстыдства и умение показывать себя обнаженной.

На самом деле миссис Доналдсон никогда не просили раздеваться, к чему некоторые пациенты были весьма склонны, — например, Терри всегда был готов облачиться в больничный халат, даже если болезнь, которую он изображал, вовсе этого не требовала.

Миссис Доналдсон полагала, что такая готовность снимать одежду сама по себе симптом, только чего, она сформулировать не могла, но понимала, что симптом это печальный и связанный с возрастом. И была счастлива, что у нее подобных поползновений нет.

— Я даже не считаю, что играю роль, — сказала она своей приятельнице Делии в буфете. — Просто что-то изображаю. Способ не быть собой.

Делия тоже была членом их труппы.

— А по-моему, приятно, когда на тебя смотрят, — сказала Делия, — хоть какое-то да внимание. В нашем-то возрасте мы для молодых как невидимки.

Пути их пересекались редко и очень немногие знали об их отношениях за пределами больницы, но случилось так, что тем утром Лора была на занятиях и даже взялась осматривать Терри вместо заливавшегося краской мистера Роузвелла, который, дойдя до ректального осмотра, сразу же пал духом.

— Нежнее, нежнее, — сказал ему доктор Баллантайн. — Представьте, что это ваша девушка.

Мистеру Роузвеллу, у которого девушки никогда не было, это мало помогло, а вот Лора справлялась куда лучше, настолько хорошо, что Баллантайн позволил себе выйти — поговорить по мобильному.

В этот самый момент миссис Доналдсон повалилась на стол и потеряла сознание.

Все смотрели на Терри, и на нее обратили внимание не сразу. Но потом сгрудились вокруг нее, кто-то приподнял веко и поглядел в устремленный в пустоту остекленевший глаз, а одна девушка — не Лора, другая — стала возиться с ее платьем: пыталась отыскать сердце.

— Я кого-нибудь вызову, — сказал Терри и, натянув трусы, схватился за мобильный. — Вы куда обычно звоните?

— Что за херня! — воскликнул Роузвелл. — У одного геморрой, у другой удар.

— Что, правда, удар? — спросил Минскип. — Я думал, это по сценарию.

— Нет, — сказал Терри. — Я бы знал. Она же мне вроде как жена.

— Как бы то ни было, — сообщил Роузвелл, — мы удары не проходили.

Возвращается доктор Баллантайн, и все сомнения по поводу серьезности ситуации отпадают. Оценив обстановку, он немедленно вызывает по мобильному команду реаниматологов. А затем, пока они не прибыли, решив не упускать шанс, обсуждает со студентами, какие меры следует принимать в подобных случаях.

— А может это быть стресс? — спросил Терри. — Она, когда пришла, уже была не в духе. Просто она из тех, кто все держит в себе.

Баллантайн пропускает его слова мимо ушей, просто говорит:

— Ну, куда они запропастились? Дорога каждая минута. Мы-то уже в больнице. А если бы это случилось на улице?

— Миссис Доналдсон, — позвала Лора, склонившись над потерявшей сознание женщиной. — Миссис Доналдсон! — И добавила со слезами: — Понимаете, я ее знаю. Она моя квартирная хозяйка.

— Можем мы хоть что-нибудь сделать? — спросил Баллантайн. — Думайте, кретины, думайте!

Все задумались, хотя и понимали, что, если бы что-то могло помочь, доктор Баллантайн это бы уже сделал.

— У нее есть дочь, — сказала Лора. — Может, попробовать с ней связаться?

Платье миссис Доналдсон задралось, и видны были чулки на поясе с застежками, таком старомодном, что Баллантайн не стал обращать на это внимания студентов исключительно ввиду серьезности ситуации. Он лишь оправил, приподняв ноги миссис Доналдсон, платье и сказал бесчувственному телу:

— Вот так хорошо.

Лора, которая так и стояла около нее на коленях, положила руку ей на шею.

— Пульс нормальный.

— Прекрасно, — сказал доктор Баллантайн, — только вы щупали его, не сняв перчатку, в которой осматривали задницу мистера Портера.

Женщина, лежавшая без чувств, заметно вздрогнула.

— Она приходит в себя! — сказал Терри.

— Это потому, что она не теряла сознания, — объяснил Баллантайн. — Благодарю вас, милая дама. Можете встать. — И он помог миссис Доналдсон сесть на стул.

— Баллантайн явно к тебе неравнодушен, — сказала Делия, когда они сидели в буфете и болтали. А когда миссис Доналд-

сон поморщилась, добавила: — Тебе могло достаться что-нибудь похуже.

Когда миссис Доналдсон "очнулась", ворчание не стихало еще долго.

Все студенты были в той или иной степени уязвлены, но больше всех возмущался Терри, который, практически считая себя медработником, полагал, что это ему как члену команды должны были поручить розыгрыш. Но — что миссис Доналдсон отлично понимала, хоть и не желала себе в этом признаваться — это вряд ли бы случилось, поскольку она была симпатичной пятидесятипятилетней вдовой со стройными ножками, а Терри — несуразным лохматым длинноносым дядькой в обвисших трусах и вытатуированной вокруг пупка птичкой.

Однако Терри был прав: они были командой, хоть и собранной на скорую руку. Поскольку никаких особых навыков не нужно было, да и сами требования были довольно расплывчаты, неудивительно, что набирали в труппу людей, занимавшихся прежде кто чем. Разве что Делия некогда была актрисой и до сих пор считала себя таковой. Терри успел поработать, среди прочего, охранником и сторожем в больнице, рода занятий мисс Бекинсейл не знал никто, но, поскольку она была старше всех, она чувствовала свое превосходство и вела себя покровительственно, утверждая к тому же, что обладает определенными знаниями в области медицины, поскольку когда-то немного поработала в аптеке.

В эту разношерстную компанию миссис Доналдсон не вписывалась никак. Она была (точнее, таковой себя считала) обычной женщиной среднего класса, выброшенной на берега вдовства после брака — ничем, полагала она, не отличавшегося от множества других: поначалу счастливого, потом вполне приемлемого, а под конец надоевшего. Но она, хоть и считала себя типичной, таковой — даже в этом пестром окружении — не была ни в каком смысле.

Впрочем, это значило лишь, что ей приходилось играть две роли. Во-первых, ей приходилось демонстрировать бóльшую широту взглядов, казаться более "расслабленной", чем на самом деле — чтобы не выглядеть занудой.

— Терпеть не могу брани, — призналась она Делии. — Когда ругаются, я не в своей тарелке.

— Не переживай, — ответила Делия. — Через пару месяцев ты запросто будешь говорить "ублюдки". — На самом деле она имела в виду "бляди", но решила, что к такому миссис Доналдсон пока еще не готова.

А во-вторых, ей приходилось играть, как и всем ее коллегам, ту роль, которая требовалась по сценарию: убитую горем

мать, страдающую депрессией дочь, капризную пациентку. В целом это давалось ей легче, чем играть себя другую. Работа требовала от СП — симулированных пациентов, как они официально назывались, определенной подготовки: нужно было вжиться в личность того человека, которого они изображали, а это подразумевало не только знакомство с симптомами предполагаемого заболевания или с ситуацией, в которой он оказался, надо было также знать, кто он и откуда, чем болел раньше. Поэтому перед сном она частенько изучала задание на следующий день. Доктор Баллантайн сразу же отметил, что она куда ответственнее остальных, поэтому ей поручали самые сложные случаи и самые неочевидные заболевания. Она была, вне всякого сомнения, ценным приобретением.

Впрочем, она хоть и была человеком ответственным, однако очень расстраивалась из-за того, что не могла предупредить Лору о своем обмороке — Баллантайн сообщил ей о задании перед самым началом занятия и представил скорее как шутку, которую хочет сыграть со студентами, а не как обычное упражнение. Миссис Доналдсон нисколько не импонировала атмосфера таинственности, которой окутал эту историю Баллантайн ("Это будет нашей маленькой тайной"): она предпочитала заранее знать, чем страдает, чтобы свободно ориентироваться в симптомах. Да, на сей раз от нее требовалось только упасть в обморок, но что-то должно было это предвещать — например, она могла вскользь заметить или же продемонстрировать всем своим видом, что у нее болит голова. Баллантайн все эти соображения отмел с ходу, а когда все закончилось, осыпал ее комплиментами, и она, помня о его предыдущих выходках, догадалась, что все это было устроено не для того, чтобы преподать студентам еще один урок, а чтобы стать к ней поближе... — в чем он пока не преуспел.

— Все очень понятно, — сказала Делия. — Ты потеряла мужа, он — жену. Сын у него в Ботсване, дочь замужем за оптометристом. По-видимому, ему одиноко.

Вернувшись домой, миссис Доналдсон застала Лору на кухне.

— По правде говоря, — сказала Лора, — мне вас немного жаль. Очень уж он противный.

— Терри? — уточнила миссис Доналдсон. — Да, пожалуй.

— Нет... впрочем, да, но Терри, он просто придурок. Я про Баллантайна. Все эти "Можете встать, милая дама". — Она скорчила соответствующую рожу. — Удивительно, как вы все это терпите. Вам никогда не бывает неловко?

— Он мужчина, — сказала миссис Доналдсон. — А мне всего-то и надо было что потерять сознание. К тому же я должна быть ему благодарна: эти деньги для меня не лишние.

Это было сказано не без намека.

Какими бы идеальными жильцами они ни были, в одном отношении (и немаловажном) они вели себя удручающе — вечно запаздывали с платой за комнату. Вреда не будет, думала миссис Доналдсон, если им время от времени напоминать, что она хоть и домовладелица и даже имеет собственный, пусть и небольшой автомобиль, деньги на нее с неба не сыплются, и их вклад в хозяйство, если и когда они будут намерены его сделать, пойдет не на роскошества, а на самое насущное.

Знай ее дочь, как молодые люди платят за жилье, она бы с миссис Доналдсон не слезла, поэтому, дабы избежать скандалов, миссис Доналдсон благоразумно держала это обстоятельство при себе и о "квартирантах", как по-прежнему называла их Гвен, отзывалась только положительно.

Но справедливости ради следует признаться — миссис Доналдсон не могла не отмечать это про себя, — что дети, как мысленно называла их она, и сами страдают. Они не хотели, чтобы на них поступила жалоба в квартирное агентство, а еще меньше хотели оказаться на улице, и Лора, когда миссис Доналдсон набралась решимости поговорить с ней о квартплате, сама уже была готова завести разговор.

Лора начала первой, взяв миссис Доналдсон за руку.

— Насчет квартплаты... — сказала она.

— Да? — отозвалась миссис Доналдсон.

— Это что здесь такое? — сказал вошедший в кухню Энди. — За руки держитесь?

— Я как раз говорила миссис Д., мы все решим. С квартплатой.

Энди взял ее за другую руку.

— Да, мы что-нибудь придумаем.

Миссис Доналдсон не понимала, что тут можно придумать. Они должны ей деньги. Их надо заплатить.

Но Лора заварила ей чаю, а Энди предложил сменить мешок в пылесосе, и момент был упущен.

На следующее занятие со студентами-медиками миссис Доналдсон досталась язва двенадцатиперстной кишки, диагноз, к которому ей готовиться было незачем, поскольку мистер Доналдсон страдал от язвы практически с молодости. Она знала все симптомы, знала, как что болит, знала, что́ провоцирует обострение, и решила, что в ее случае это будет стресс на работе — она представилась личной помощницей одного крупного промышленника. С чего это приключилось с мистером Доналдсоном, она понятия не имела, иногда думала, что причина была в ней, но, если это и было так, он никогда на это не намекал даже.

Группа была из первокурсников, при осмотре ей весьма неумело мяли диафрагму и делали это с таким пылом, что, когда нащупали-таки нужную точку, миссис Доналдсон вскрикнула от боли почти без притворства.

Обычно доктор Баллантайн спешил защитить псевдобольных от чересчур рьяных действий студентов хотя бы потому, что традиционно использовал возможность поиздеваться над будущими врачами ("Говорите, мистер Хоррокс, ему трудно глотать? Немудрено — вы же ему кулак чуть не в глотку засунули"). Однако на сей раз он был поглощен новым в своем арсенале орудием — видеокамерой, на которую снимал занятие.

Баллантайн никому ее не доверял ("Это медицинский инструмент. Нужно знать, откуда и что снимать. Камера для меня — что скальпель для хирурга"). Он, вне зависимости от происходившего, снимал в основном миссис Доналдсон, и она решила, что это скорее игрушка, нежели инструмент, но решила так потому, что ее супруг так же страстно увлекался всяческими технологическими новинками и так же ревниво их охранял. Ей запрещалось прикасаться к газонокосилке, к CD-проигрывателю и даже к электроножу, и только после его смерти она получила возможность пользоваться ими напропалую, и одной из маленьких радостей. скрашивавших ее горе, было то, что она уже не должна была играть роль хрупкой, беспомощной женщины.

Миссис Доналдсон относилась к съемке на видео скептически еще и потому, что считала: камера подчеркивает в симулированных пациентах самые слабые стороны, побуждает их переигрывать и выпендриваться, и здесь Делия с ней была согласна.

— Как можно быть естественной, когда тебе тычут в нос эту штуковину?

К примеру, имелся Терри, у которого в тот день был рак в терминальной стадии. И всякий раз, почувствовав на себе взгляд объектива, он устремлял взор вдаль, словно разглядывал свое трагическое будущее и неотвратимое небытие.

Мисс Бекинсейл, которая обычно не таила своих актерских талантов, в данном случае оставалась равнодушной. Она объяснила миссис Доналдсон, что к камере давно привыкла, поскольку слабоумие в ее исполнении было оценено так высоко, что она даже демонстрировала его "на настоящую камеру" в Глазго, и ее возили на медицинскую конференцию на остров Мэн.

Как оказалось, скепсис миссис Доналдсон по поводу видеокамеры оказался совершенно оправданным. В следующий четверг ей нужно было изображать болезнь Крона, но к тому времени аппарат утратил свою притягательность и уже не ка-

зался таким незаменимым орудием в борьбе с болезнями, каким выглядел неделю назад.

Справедливости ради следует отметить, что дело было не в легкомысленности Баллантайна. Он был высокого мнения о своих актерах, которые были по-своему первопроходцами. Но, просматривая отснятый материал, Баллантайн ужаснулся тому, как неубедительно все это выглядит. Затянуто, плоско, размазанно. Те сюжеты, которые казались ему естественными и жизненными, в записи оказались искусственными и постановочными.

Кое-что можно было списать на неопытность симулированных пациентов, стеснявшихся камеры, но на самом деле запись просто нуждалась в монтаже. Этого Баллантайну никто не объяснил, и он забросил опыты с видео, а поскольку рассказать почему, он не мог, миссис Доналдсон решила, что подтвердились ее догадки.

Она-то на записи получилась отлично, во всяком случае, по мнению доктора; впрочем, он смотрел на нее с большей симпатией, чем на всех остальных, к тому же, правду сказать, он ее слегка побаивался. Знай она об этом, возможно, и она бы относилась к доктору теплее, но они с Делией только и увидели, что игрушка, которой Баллантайн забавлялся всю предыдущую неделю, теперь в основном стояла на треноге и обозревала происходящее своим циклопьим глазом.

— И они еще говорят, что им средств мало выделяют, — сказала Делия.

Дома же так и оставался нерешенным вопрос платы за комнату — жильцы задолжали уже за четыре недели. Сирил такого бы не потерпел, говорила себе она, впрочем, он вообще не стал бы пускать жильцов. С раздражением справиться не удавалось, и от этого она чувствовала себя унылой занудой. Однако твердо решила поднять этот вопрос.

Она не видела их несколько дней — видимо, оба старались не попадаться ей на глаза, но как-то вечером, придя из больницы, застала их на кухне — они ее будто поджидали.

Энди налил ей чаю. (Вот тут они безупречны, подумала она, отлично понимая, что Гвен отругала бы ее за наивность.)

— Что у вас было сегодня? — спросила Лора.

— Очередная язва двенадцатиперстной кишки, однако сами знаете, кто посоветовал не исключать и грыжу пищевода. Ну и, естественно, изжога.

— Из-за стресса? — спросила Лора.

— Вероятно, — ответила миссис Доналдсон. — Впрочем, последние исследования говорят о том, что причиной могут быть и бактерии.

— Точно, — сказала Лора. — Я как-то об этом забыла. Да, насчет денег.

— Мы должны за четыре недели, — сообщил Энди.

— Неужели? — сказала миссис Доналдсон. — Дайте-ка вспомню. — И она сделала вид, что считает. — Да, четыре недели.

— За неделю у нас есть. — Энди положил на стол конверт. — Пока что мы не можем заплатить больше и хотели предложить как-то договориться по поводу остального. Мы могли бы что-нибудь сделать... — Он устремил взгляд в чашку, — ...взамен.

— Вы так много для нас делаете, — подхватила Лора. — И мы хотели бы что-нибудь для вас сделать.

— Взамен, — повторил Энди.

Миссис Доналдсон подумала о хозяйственных делах: уходу за садом, покраске, уборке. Здесь она в помощи не нуждалась — тем более взамен трехнедельной платы.

— Мы вчера вечером это обсудили, — сказала Лора, — и мне пришло в голову вот что: вы же работаете в больнице, показываете себя студентам. А не хотели бы вы...

— Чтобы мы показали что-то вам? — закончил мысль Энди. — Взамен.

Миссис Доналдсон поняла не сразу.

— Что показали?

Энди достал свой ежедневник.

— Когда мистер Доналдсон был жив, — сказала миссис Доналдсон, — это была наша с ним спальня.

— Она нам очень нравится, — сказала Лора.

Дело было несколько вечеров спустя. Миссис Доналдсон только что с особой тщательностью задернула шторы — как по совершенно другой причине некогда задергивала шторы ее мать во время бомбежек.

Миссис Доналдсон еще не до конца осмыслила тот факт, что предложена была не помощь по хозяйству, а нечто более... более взрослое — то, к чему сейчас шли последние приготовления. Она вовсе не сгорала от нетерпения, однако не знала, как отказать молодым людям, не проявив при этом неблагодарности.

— Вы когда-нибудь видели, как другие занимаются любовью? — спросила Лора.

— По правде говоря... — Миссис Доналдсон сделала вид, что роется в памяти. — ...кажется, никогда.

— Отлично! — воскликнула Лора. — А мы беспокоились, будет ли вам это в новинку.

— Будет, — сказала миссис Доналдсон. — Конечно, будет. — Впрочем, имейся у нее выбор, она, возможно, предпочла бы звонкую монету. — Нет, я прежде ни в чем таком не участвовала.

— Мы тоже, — призналась Лора. — Естественно, мы делали это при других, ну, как это бывает на вечеринках. Но по предварительной договоренности — никогда. Не было ничего такого...

— Официального? — подсказала миссис Доналдсон.

— Да, наверное.

— Официальным это и не будет, — сказал Энди, появившийся в рубашке и трусах, с бутылкой воды в руке. — Все будет очень неформально. Только не ожидайте от нас чего-то сверхъестественного. Все вполне обычно и естественно, никакой экзотики. В этом мы не мастаки, правда, Лол? Во всяком случае, пока что.

— Я полагаю, — заявила Лора, — что для этого у нас еще достаточно времени. Вы согласны?

— О да, — сказала миссис Доналдсон. — Время всему — свое.

— Так, а свечи-то, свечи! — воскликнул Энди и вышел.

— Где бы вы хотели сесть? — спросила Лора.

— Мне все равно, — ответила миссис Доналдсон, которой все время хотелось набраться смелости и все это прекратить. — Если вы не против, могу здесь.

Она присела на стул у изножья кровати.

— Если вам удобно, пожалуйста, — сказала Лора, на которой вдруг не оказалось ни майки, ни лифчика. Миссис Доналдсон, увидев это, тут же стала рыться в сумочке — искать салфетку.

— У этого места один недостаток, — заметила Лора. — Отсюда вы почти ничего, кроме зада Энди, не увидите... Думаю, вам будет удобнее вот тут. — Она показала на обитый тканью табурет у туалетного столика, за которым при жизни мужа миссис Доналдсон сидела каждый вечер, накладывая на лицо крем.

— Так вы будете видеть, — сказала Лора, — и его и меня, так сказать, во взаимодействии.

Она удалилась в ванную, оставив миссис Доналдсон сидеть у кровати. И тут у миссис Доналдсон сердце забилось так медленно и гулко, как не билось с юности. "Это жизнь", — подумала она.

Пришел Энди с тремя свечами, которые он зажег и расставил в разных углах комнаты, одну, как молча отметила миссис Доналдсон, сунув в чашу, которую им с мужем подарили на свадьбу, но она ничего не сказала. Энди выключил свет.

— Так намного лучше, — сказал он.

Он снял рубашку, в одних трусах улегся на кровать, подложив руки под голову.

— Это очень любезно с вашей стороны, — сказала миссис Доналдсон, думая при этом о том, собираются ли они снять покрывало.

— Пустяки, — ответил Энди. — Мы все равно собирались этим заняться. Так что мы не только из-за вас.

Он покосился на свой плоский живот и на то, что скрывали узенькие плавки.

— На данный момент, увы, ничего не происходит. Проблем с этим у меня нет, но в последнее время так часто бывает. Надо подождать, пока пес почует зайчишку.

На этой фразе появилась Лора — по-прежнему без лифчика, но теперь еще и без трусиков. Собственно, совершенно обнаженная. Пока миссис Доналдсон сморкалась, Лора легла на кровать — на ту сторону, что была ближе к миссис Доналдсон.

— Вот, уже хорошо, — сказал Энди и, приподняв задницу, снял с себя трусы. — Видите, о чем я?

Миссис Доналдсон ласково улыбнулась новой детали мизансцены.

Лорина левая рука опустилась на правое бедро Энди.

— Поначалу мы немножко дурачимся, — сказал Энди.

— О, да! — понимающе кивнула миссис Доналдсон. — Прелюдия.

Миссис Доналдсон тянуло отвести взгляд, а не пялиться на голого юношу, который целовал свою столь же голую подругу, засунув ей руку между ног, и она уставилась на пол, раздумывая, не пора ли почистить ковер.

— Пробуждает воспоминания? — спросила Лора. Лицо Энди было уже там, где только что находилась его рука.

— Да-аа, — ответила миссис Доналдсон, хотя, по правде говоря, вспомнилась ей ваза в Британском музее. Впрочем, Лора все равно не слышала сказанного — ее тело отринуло все, за что обычно в ответе голова.

Все прочее, что вытворял Энди, не показывали даже в Британском музее, и миссис Доналдсон неожиданно для себя подалась вперед и немного вбок, чтобы получше разглядеть, что именно делает юноша и где.

Хоть лицо Энди и было где-то между ног Лоры, краем глаза он заметил интерес миссис Доналдсон и услужливо отодвинул голову, прижавшись щекой к ляжке Лоры — чтобы не загораживать миссис Доналдсон вид.

От неожиданной смены позиции Лора несколько раз резко вскрикнула и стала так неистово извиваться, что Энди, не прерывая своего занятия, показал миссис Доналдсон боль-

шой палец, а затем, подтянувшись на локтях, перешел к исполнению собственно полового акта, а Лора, когда он вдруг вошел в нее, разразилась еще более дикими криками.

С традиционным половым актом миссис Доналдсон была более-менее знакома, однако этот исполнялся с пылом и изобретательностью, ей неведомыми.

Суть была та же, но миссис Доналдсон не могла припомнить, чтобы даже в годы молодости Сирил занимался этим с таким рвением и, прямо сказать, размахом, к тому же Энди порой издавал поощрительные или же удовлетворенные возгласы, а мистер Доналдсон в процессе занятий любовью, если их можно было назвать таковыми, бывал сдержан и молчалив.

Однако люди так это делают, подумала она. Но осталась при том мнении, что прежде люди та́к этого не делали. Они не наблюдали, как она, за происходившим с табурета у кровати, на котором миссис Доналдсон чувствовала себя судьей на напряженном теннисном матче.

Все это было полным откровением, но были и другие неожиданности, помельче. Например, когда Лора лежала на спине, а Энди был сверху, и оба они пронзительно кричали почти в унисон, зазвонил мобильный Лоры.

Крики стихли, но Лора, не сбивая ритма, протянула руку к телефону.

— Прости, момент неподходящий...

И крики возобновились.

Миссис Доналдсон была удивлена, как быстро улетучилось острое ощущение новизны. Она любовалась тем, как изгибается тело юноши, когда он, как дельфин, резвился в волнах страсти. Тем, как изящны оба. Лорины ноги теперь были у него на плечах — процесс при этом не прервался ни на миг.

И все же, пока она сидела и наблюдала за спектаклем, ей вдруг подумалось, что она могла бы быть матерью кого-нибудь из них (ее или его — она не решила), которую почему-то призвали засвидетельствовать окончательную самостоятельность ее дитятки... матерью доброй и всепрощающей (хотя что тут было прощать?), но и понимающей, что наблюдение за этими столь изобретательно совокупляющимися молодыми людьми едва ли входит в обычный круг ее занятий.

И еще был вопрос денег. Все случилось так легко, что она задумалась — а была ли она первой или же и предыдущие долги оплачивались той же будоражащей валютой.

Лицо Лоры, стоявшей, опершись на руки и колени, поперек кровати, оказалось совсем рядом с лицом миссис Доналдсон. Женщины обменялись улыбками.

— Мужчины... — заговорщицки шепнула Лора, пока Энди возился, прерывисто дыша, сзади. Миссис Доналдсон понимающе улыбнулась.

Миссис Доналдсон не поняла, заметил ли Энди, что дамы общаются, и поэтому разозлился, но он вдруг стал куда более груб, потянул Лору за волосы, развернул ее к изголовью кровати и сам за него ухватился, так что кровать стала мерно ударяться о стену. Одновременно он завопил, завопила и девушка, и ее хриплые крики становились все пронзительнее.

У Доналдсонов половой акт обычно проходил в молчании (и уж точно без ущерба имуществу), а когда Сирил коротко хмыкал, это означало что уж он-то, по крайней мере, удовлетворен. Теми редкими вечерами (а бывало это только по вечерам), когда и миссис Доналдсон случалось вскрикнуть, мистеру Доналдсону приходилось останавливаться: он утверждал, что это его расхолаживает — на самом же деле поведение жены его смущало.

Нынче им, наверное, посоветовали бы все это "проговорить", но из-за скованности, порой типичной для супругов, открытое обсуждение вряд ли было возможно.

Эти же двое нисколько друг друга не смущались, они вопили постоянно и громко, все время словно балансировали на краю и будто бы ждали, когда что-то подтолкнет их к следующим действиям.

Этому и поспособствовала безо всякого умысла миссис Доналдсон, когда, опасаясь за настольную лампу (еще один свадебный подарок), придержала рукой изголовье кровати, что помогло Энди обрести упор, нужный, чтобы довести происходящее до шумного завершения. Лора успокаивалась дольше, чем Энди, и, когда он вышел из нее и примостился рядом, она еще продолжала постанывать. А потом они оба, изнуренные, долго пытались отдышаться.

Доналдсоны после совокупления укладывались по разные стороны кровати и засыпали. Никогда ничего не обсуждали и не комментировали. Тема закрывалась до следующего раза.

Эти же молодые люди вели себя иначе: если считать оргазм маленькой смертью, они затем проводили вскрытие и оценивали степень полученного удовольствия.

Энди приобнял Лору.

— Я бы не отказался от чая.

Миссис Доналдсон была счастлива хоть как-то поучаствовать и поспешила вниз, а поскольку для нее это все-таки было экстраординарное событие, она положила на поднос салфетку, поставила чашки, а не кружки, открыла новую пачку печенья. Но старалась она, выходит, зря: когда она вернулась в

спальню, они уже возобновили свои занятия, но на сей раз безо всяких прелюдий и изысков: юноша упорно трудился над девушкой, лежавшей с закрытыми глазами на спине.

Миссис Доналдсон пила чай, ела шоколадное печенье и ко второму бурному финалу успела съесть три штуки, а их чай остыл.

— Надеюсь, я вам не испортила удовольствия, — сказала миссис Доналдсон, когда Энди натягивал джинсы.

— Никоим образом, — ответил он и положил руку ей на зад. — Разве что добавили.

Размышляя об этом эпизоде, а следующие несколько дней она много о нем думала, миссис Доналдсон пришла к выводу, что из всего, что с ней случалось, наблюдение за молодыми людьми, занимающимися любовью, было ближе всего к тому, что можно назвать поступком.

Не она это предложила — только согласилась и сомневалась, можно ли считать согласие поступком. Например, супружество принято считать поступком, она согласилась на него, хотя, если оглянуться назад, от поступка тут было не больше, чем, скажем, от поисков козырька во время дождя.

Одним поступки даются легче, чем другим, думала она, кто-то вообще совершает их без усилий. А ей придется стараться.

Миссис Доналдсон, у которой никогда прежде особых секретов не было, тем более столь интимных, сама удивлялась тому, как велико ее желание поделиться увиденным. Ей безумно хотелось рассказать Делии о своих отношениях с жильцами, но она понимала, что об этом не то что речи, даже слабого намека быть не может. Здравый смысл ей подсказывал, что и юная пара об этом эпизоде предпочтет не распространяться — присутствием в их спальне столь пожилой и респектабельной дамы не похвастаешься, не выдашь это за пикантный поворот событий. Однако настроение улучшилось просто потому, что теперь у нее была тайна, и эта тайна ограждала ее от мелких неприятностей в больнице, от излишнего внимания Баллантайна, от упреков дочери. Вечерок, если вспомнить, получился сумбурный, однако он стал ее историей, скрытой от посторонних глаз, прибежищем, куда, кроме нее, хода никому не было.

— С чего это ты такая счастливая? — спросила Делия в буфете. — Жильцы заплатили?

— Ты знаешь, заплатили, — ответила миссис Доналдсон. — На сегодняшний день мы в расчете.

— На эти деньги и платье купила?

— Платье? — переспросила миссис Доналдсон. — Да нет, оно у меня уже тыщу лет. Просто решила его выгулять.

— И прическа! О губной помаде даже не говорю. Джейн, ты, похоже, перевернула страницу.

— Да нет, нет же, — сказала миссис Доналдсон. — Ты не так поняла. Это по работе. Я в образе.

Парфитт, худосочный юноша с пшеничной шевелюрой, сидел за столом. Миссис Доналдсон постучалась.

— Войдите, — сказал Парфитт тоном, подслушанным по телевизору.

— Неплохо было бы и встать, — сказал из угла Баллантайн. — Джентльмены встают. А врачи — они ведь джентльмены. По крайней мере, раньше были таковыми.

Парфитт предложил миссис Доналдсон стул, она села, расставив ноги и сложив руки на груди. Затем высморкалась в клетчатый платок и сообщила, что ее фамилия Дьюхерст.

— А имя? — спросил Парфитт, держа ручку наготове.

— Джеффри.

— Джеффри?

— Да. Через два "ф".

Парфитт в надежде на помощь ошарашенно поглядел на соучеников. Никто не помог.

— Мы ждем, — сказал Баллантайн. — Пациент не будет так весь день сидеть.

Парфитт заглянул в незаполненную карту.

— Вас всегда звали Джеффри?

— Да. А что тут такого?

— Необычное имя для женщины.

— Я не женщина.

— О! — воскликнул Парфитт, почувствовав себя значительно увереннее. — Выглядите вы очень убедительно.

— Благодарю.

— Я бы ни за что не догадался, — сказал Парфитт ласково и чуть снисходительно.

— Вас что-то смущает?

— Меня? Отнюдь. Однако... — Парфитт задумчиво потер руки. — Я должен задать вам несколько вопросов, во избежание путаницы.

Кто-то из студентов заржал, но тут же смолк под суровым взглядом Баллантайна.

— Позвольте вас кое о чем спросить.

— Разумеется. Вы же доктор.

— Вы поменяли внешность, преодолели столько трудностей, так почему же вы не поменяли имя?

— А зачем? — удивился Дьюхерст. — Я же не женщина. Я — мужчина.

— Так у вас не было операции?

— Была.

— И что с вами делали?

— Разрезали живот. У меня был аппендицит.

— Я имел в виду ваши... проблемы.

— А нет никаких проблем.

— Да? — Парфитт задумался. — Так вы не по этому поводу пришли?

— Нет. Я насчет колена.

— Насчет колена? — просиял Парфитт. Про колени он много чего знал. Колено было как нельзя кстати. — Какое именно колено? Давайте-ка посмотрим.

— Не стоит беспокоиться, — сказал Баллантайн. — Тут дело не в колене.

Сказал он это почти ласково — учитывая обстоятельства.

— Мы поблуждали вокруг да около, но в конце концов добрались до сути.

— Я бы сообразил, — жалобно протянул Парфитт, — только она совсем не похожа на мужчину.

— А мы разве знаем, — сказал Баллантайн, — кто это на самом деле? Можем только верить ему/ей на слово.

Парфитт никак не мог понять, чего же от него хотели.

— Мне что, нужно было ее осмотреть?

— Нет, осмотреть нужно было колено, — терпеливо ответил Баллантайн.

Он вышел вперед и сел.

— Вам нужно помнить, что в наше время "пол" — понятие относительное. Пациент может оказаться трансвеститом, транссексуалом, а может, он еще не определился. Это к делу отношения не имеет. Как они одеты, как выглядят — все это к заболеванию, с которым они пришли, никакого отношения не имеет. От пациента, — он улыбнулся миссис Доналдсон, — может плохо пахнуть. Его или ее тело может просто вонять. Но и это не ваше дело. Если хотите лечить тех, кто не воняет, идите в хирургию — перед операцией больных моют.

Уселся он между Парфиттом и мнимым Дьюхерстом, подозревавшим, что это представление в том числе и для нее.

— Не забывайте, что вы врач, а не полицейский или священник. Вы должны принимать людей такими, какие они есть. И еще помните: вы, конечно, знаете о заболевании больше, чем пациент, но болен-то пациент, и именно поэтому он обладает тем знанием, которого у вас нет. Да, вы разбираетесь в данной проблеме, но это не повод чувствовать свое превосходство. Ваше знание делает вас слугой, а не хозяином.

Баллантайн сидел на краешке стола, болтал ногами и скромно поглядывал на собравшихся. Проповедь, которую

выдал под конец дня их обычно бесстрастный и даже язвительный руководитель, студентов огорошила и поэтому проняла. Одно то, что их назвали врачами, было наградой. Они словно получили право думать о себе лучше, чем им обычно позволялось, и кое-кто даже вспомнил, что это не просто профессия, а призвание.

Кое-кто, но не Парфитт.

— Так мне колено осматривать?

Баллантайн вздохнул.

— По-моему, вам лучше оставить колено в покое. Ну, разве что он/она вас себе на это колено положит и хорошенько отшлепает. Благодарю вас, миссис Доналдсон. Очередная номинация на "Оскара".

— Тебе все самое вкусное достается, — сказала Делия. — Я бы тоже такое сыграла, только мне поручают одни эндогенные депрессии...

Миссис Доналдсон, мысли которой теперь постоянно крутились вокруг истории в спальне, уже подумывала, что ее раскованность (которая, впрочем, выражалась лишь в уступчивости) идет именно отсюда — ведь на занятиях она научилась быть не собой. Не будь этого опыта, она бы не согласилась так легко на столь, честно говоря, возмутительное предложение. Однако эту трактовку она отмела на том основании, что "она не из таких". А из каких же? Теперь она и сама затруднялась ответить на этот вопрос.

Оглядываясь назад, она понимала, что занятия в больнице, хоть и не давали большого простора для фантазии, в каком-то смысле расслабили ее, подготовили к тому, чему предстояло случиться, неожиданным образом побудили ее к открытости, хоть открытость и была напускной, да, собственно, и не была открытостью вовсе. Она играла роль и дома, и на работе — тут она себя не обманывала. Училась изображать что-то, в то время как прежде, когда был жив муж, если она что и изображала, то только вежливость. До нынешнего времени она ничего не изображала, как говорят нынче, "на упреждение".

Молодые люди были при ней откровенны в спальне, поэтому неудивительно, что они вообще стали вести себя более свойски, Энди в особенности. Он часто ходил без рубашки, а порой и без джинсов, и хоть Лора и была поскромнее, оба нисколько не смущались.

Миссис Доналдсон это нравилось, поскольку создавало домашнюю атмосферу (хоть и не такую, какая обычно царила в ее доме). Но однажды Гвен приехала без предупреждения и застала в кухне Энди, который, оставив Лору в спальне, спустился в одних трусах сделать себе тост.

— Я готова была сквозь землю провалиться, — заявила она матери, — а ему хоть бы хны. Взял хлеб с вареньем, сказал "Привет" и пошел наверх. Она что, тоже так себя ведет? Расхаживает по дому полуголая? Трусы у него — одно название. Я думала, таких уже не носят. Наш Джастин плавки ни за что не наденет. Перешел на боксеры. — Поскольку Джастин был немногим симпатичнее своей матери, миссис Доналдсон совершенно не хотелось думать на эту тему.

— Они здесь живут, — попробовала напомнить она.

— Позволь уточнить: они здесь снимают жилье. Все из-за этой больницы. Ты как начала туда ходить, стала какой-то... расхлябанной.

— Расхлябанной? — переспросила мать.

— Что бы папа подумал? Ты всегда была такая скромница.

— Ну, они хотя бы музыку не заводят, — сказала миссис Доналдсон. — Вот заводили бы, тогда было бы на что жаловаться.

— А мне кажется, — сказала Гвен, — пусть они в спальне занимаются, чем хотят, но ты имеешь полное право требовать, чтобы по дому они ходили одетыми.

— Дресс-код ввести? Они же здесь живут.

— Так же как и ты.

— Мне с ними веселее, — сказала мать.

— Что значит "веселее"? Им всего по восемнадцать. — На самом деле им было по двадцать, но миссис Доналдсон решила, что уточнять нет смысла.

В отношениях с жильцами все было по-прежнему — разве что приличия теперь соблюдались не так строго. Разумеется, только ими. Это Лора могла спуститься вниз почти раздетая — Лора, но не миссис Доналдсон. Она отлично понимала, что ей за рамки выходить не следует. Нужно вести себя соответственно возрасту.

С тех пор как она стала работать со студентами, молодежь ее больше не пугала, да и не особенно — если не брать в расчет квартирантов — интересовала. Она замечала, что кое-кто вполне привлекателен, но они так робели, ставя диагноз или осматривая ее, что впечатления не производили.

В более спокойной обстановке (например, когда поблизости не было Баллантайна) они держались дружелюбно, относились к ней как к родной бабушке, из тех, про которых говорят "еще ого-го" (ее выражение) или "клевая старушка" (их выражение), но всегда чуть снисходительно. Она была как натурщица, с которой сравнила ее Гвен, — вроде бы есть, а вроде и нет: одна оболочка, по которой изучали симптомы заболеваний.

Доктор Баллантайн ввел мистера Малони в курс дела.

— Перед вами миссис Дикинсон. Она уже не первый раз у врача, жалуется на экзему. Причину так и не удалось выявить. Все обычные средства перепробованы, но экзема не проходит. Врач теперь хочет проверить, а нет ли здесь глубинной психологической причины, не является ли экзема симптомом какого-то другого заболевания? Это вам и предстоит выяснить.

Малони понимающе кивнул.

— Удачной охоты.

Доктор Баллантайн заботливо дотронулся до якобы зудящей и мокнущей руки миссис Дикинсон, а затем, одарив обоих улыбкой, отправился в соседний отсек.

— Терпеть не могу копаться в психологии, — сообщил Малони и закинул ногу на стол. — Никогда не знаешь, куда это заведет. Вот старая добрая опухоль — это всегда пожалуйста.

— Прошу прощенья? — сказала миссис Дикинсон.

— Да ладно вам, голубушка. Вся эта психосоматика... Итак, у вас экзема. Реакция на мыло. Или на стиральный порошок. Может, на что-то из продуктов... Обычно реакция на что- то конкретное. Но в наше время — хотя бы для проформы — принято копаться в психологических причинах.

Малони был нацелен на хирургию, все остальное считал пустой тратой времени. Вот если бы экзему можно было оперировать — тогда другое дело:

— Итак, каков сюжет? Откуда у нее экзема?

— Откуда у вас экзема? — строго поправила его псевдопациентка.

Малони вздохнул. Опять попалась из тех, кто требует играть по правилам.

— А может, это вследствие менопаузы?

— У меня еще не было менопаузы.

— То есть вы еще в строю?

— Ни в каком я не в строю. У меня счастливый брак.

— Рад за вас. Мои поздравления. Вы курите?

— Нет. К тому же курение экзему не вызывает.

— Знаю, милочка. Я просто подумал, может, выйдем, курнем за мусорными баками.

— Мне плохо, — сказала миссис Дикинсон. — Замучил зуд. Спина разодрана до крови.

— Ну да, да, конечно, — сказал Малони. — Вот что я предлагаю: вы мне излагаете суть, зачитываете заключение, которое у вас записано, и дело с концом. Ведь если причина в голове, мы ничем помочь не можем. Дерматологию никто всерьез не воспринимает.

— У меня другое предложение, — сказала мнимая миссис Дикинсон. — Давайте вернемся к истории болезни. А потом вы можете спросить у меня, как это все началось.

"Эта сука заставила меня разобрать всю эту ерунду по пунктам, — рассказывал потом Малони в пабе. — Ей-то какая разница? А я-то думал, она клевая".

Снова приближался день внесения платы, и миссис Доналдсон готовилась к беседе. Она ужа решила, что, если ей опять предложат посмотреть представление, она прикинется, будто это ее не устраивает по финансовым соображениям, но потом все-таки согласится на тех же условиях. Однако наступила пятница, а разговор об этом зашел только перед сном. Миссис Доналдсон зашла на кухню, где Энди заваривал Лоре чай.

— Ой, пока не забыл, — сказал он и протянул миссис Доналдсон несколько банкнот. — Кажется, все правильно.

Она не поняла, сколько там денег, но пересчитывать у него на глазах не хотела, поэтому просто улыбнулась и убрала бумажки в кошелек.

— Мы исправляемся, — сказал Энди.

Миссис Доналдсон подождала несколько минут, а когда поднялась наверх и села на кровать, ей показалось, что они смеются.

Она готовится ко сну и уже не в первый раз переставляет шаткий стул от кровати к туалетному столику. Она усаживается — на плечах плед, ноги укутаны одеялом — и прижимает ухо к стене.

Где-то на другом конце города несет свою вахту Баллантайн: он снова и снова просматривает видеозапись, которую сделал несколько месяцев назад. Стоит появиться миссис Доналдсон, он ставит все на паузу и жалеет, что не знает, как увеличить изображение. Иногда она глядит прямо в камеру — будто прямо на него, и ему это особенно приятно. Но в основном он просто смотрит на нее.

После того приключения в миссис Доналдсон словно что-то раскрылось. Да, в той сцене, которую она наблюдала, до ее прелестей никому дела не было, но необъяснимым образом потому, что она это видела (и в какой-то степени в этом участвовала), она приобщилась к очарованию юности. Она теперь и сама чувствовала себя моложе, выглядела лучше и, пусть это покажется смешным, но ей казалось, что она все еще в игре.

Однако длилось это недолго.

Миссис Доналдсон не была тщеславна. Она никогда не считала себя красоткой, однако сознавала, что сейчас она, возможно, привлекательнее, чем в молодости. Хрупкой она не

была, скорее крепкой, но у нее была хорошая кожа, пышные волосы, всегда аккуратно причесанные и завитые, и не было ничего удивительного (а она и не удивлялась), что она нравилась мужчинам своего возраста. Возможно, и женщинам, но она не имела ни возможности, ни желания об этом узнать.

Однако ей было пятьдесят пять — в таком возрасте не стоит раздеваться при свете, да и в гостиничную ванную лучше не заходить.

То, что молодые люди, пусть и по финансовой необходимости, пригласили ее в свою спальню, много для нее значило, хотя, если бы ее пригласили поучаствовать — а эта дикая мысль посещала ее все чаще и чаще, — она бы предпочла электрическому свету свечи. И пусть ей было пятьдесят пять, эта история убедила ее в том, что она не совсем уж отвратительно выглядит.

Эта иллюзия таяла потому, что она ежедневно находилась среди молодых. В тот день она страдала от сильного сердцебиения и головокружений, и кому-то из первокурсников велели ее послушать. Для этого нужно было ее немного раздеть — расстегнуть пару пуговиц на блузке, не более того, чему она и не придала бы значения, если бы, конечно, ее не попросили реагировать как-то по-особенному. Но осматривал ее красивый юноша; он опытной рукой расстегнул ей блузку, и она смотрела на него, пока он ее слушал. Он тоже на нее смотрел, и она заметила — когда он коснулся ее уже тронутой возрастом груди — гримасу отвращения, но он, умный мальчик, сделал вид, что это он хмурится озабоченно.

Однако миссис Доналдсон нисколько не обманулась — она смотрела на выражение его лица не глазами пациента, а своими собственными, и если обычно такие прикосновения доставляли ей легкое и совершенно неосознанное удовольствие, то теперь, глядя на его поросшее пушком ухо, она чувствовала себя тусклой, увядшей, никому не нужной.

— Отлично! — сказал Баллантайн. — Но вот что мистер Адамс сделал неправильно?

Юноша втянул голову в плечи, а миссис Доналдсон почувствовала, что краснеет. Видимо, Баллантайн тоже заметил его брезгливый взгляд и собирался прочесть ему нотацию, воспользовавшись несовершенством ее физической природы.

— Ну, слушаю вас. В чем была его ошибка?

Было высказано несколько соображений, но все были отвергнуты.

Баллантайн вздохнул.

— Мистер Адамс, я уверен, что вы мастер расстегивать дамам пуговицы, но лучше, когда пациентка делает это сама. По-

мочь ей следует, только если она не может справиться. Но это не случай миссис Доналдсон. Не торопите события.

Мистер Адамс уныло кивнул.

— Все остальное безукоризненно, и даже при таком рутинном осмотре достоинство пациентки не было попрано. Благодарю вас, миссис Доналдсон.

— Вот напыщенный индюк, — сказала Делия в буфете. — Но положа руку на сердце — мы ведь все расплылись. Их, например, раздражает мой варикоз.

— Я думала, я к этому привыкла, — сказала миссис Доналдсон.

— Разве к этому привыкнешь?

Во времена оны, то есть до того, как у нее появилась тайна, миссис Доналдсон из-за подобного инцидента впала бы в депрессию. Теперь же она, как бы сказал Баллантайн, разъярилась, и былую расположенность к молодежи как рукой сняло.

Прентис сел за стол на возвышении. Она постучалась.

— Войдите, — сказал Прентис.

Она вошла и подождала, пока Прентис встанет.

— Моя фамилия Бэкхаус. Я пришла навестить мужа. Он сегодня утром упал, и его привезли сюда — на всякий случай.

Прентис шагнул от стола, уставился на свою планшетку с записями.

— Я уже понял, что мистер Бэкхаус отправился в мир иной, — сказал Баллантайн. — Или близок к тому. Как я догадался?

Кто-то поднял руку.

— Когда она вошла, он на нее даже не посмотрел.

— Вот именно, — сказал Баллантайн.

— Но разве... — начал другой студент, — разве обязательно было смотреть? Ведь если он на нее не смотрит, он как бы подготавливает ее к печальному известию.

— Все зависит от того, — сказал Баллантайн, — поняла ли миссис Бэкхаус намек.

— Сестра сказала, что его здесь нет. — Миссис Бэкхаус не сводила с молодого человека глаз. — Где же он?

— Я сейчас позову сестру, — сказал Прентис.

— Сестер на месте нет, — сообщил Баллантайн. — У них культпоход. Все пошли на "Звуки музыки".

— Присаживайтесь, пожалуйста, — сказал Прентис.

— Я уж думал, вы ей никогда стул не предложите, — сказал Баллантайн.

— Миссис Блэкхаус... — начал Прентис.

— Бэкхаус, — поправила его миссис Доналдсон. — А не Блэкхаус.

— Миссис Бэкхаус! Когда ваш муж упал...

— Смотрите на нее, — велел Баллантайн. — Вы же знаете, что́ произошло. Не прячьтесь за бумажками.

— Когда ваш муж упал... Вы что-нибудь знаете о мозге?

— Миссис Бэкхаус ничего не знает о мозге, — сказал Баллантайн. — Но хочет узнать — узнать о муже.

— О мозге я какое-то представление имею, — ответила миссис Бэкхаус. — Я работала в бригаде Скорой помощи в Сент-Джонсе.

— Признаю свою ошибку, — подал голос Баллантайн.

— У него был удар?

— Не совсем, — промямлил Прентис. — Впрочем, кровотечение имело место.

— Я знаю. Я видела кровь. Потому и вызвала "скорую".

— Мы положили его в отделение интенсивной терапии, но он впал в кому...

— Он умер?

Прентис взглянул на Баллантайна.

— Вот здесь сестра и пригодилась бы.

— Сестры еще не вернулись, — сказал Баллантайн. — Пошли поесть рыбы с картошкой. Или попить чаю с хлебом-маслом. Вы здесь один.

— Позвольте предложить вам чаю?

— Не надо чая! Вы еще не сказали, что ее муженек помер.

— К сожалению, он скончался. Не хотите ли чаю?

— Чая нет! — взревел Баллантайн. — Вырубили электричество, буфет закрыт. Не бегите от нее. Чай, сестра, бумажки... Почему вы от нее прячетесь? Вы за нее в ответе.

— Может быть, вы хотите кому-нибудь позвонить? — предложил Прентис. — Можно с моего мобильного.

— У нее и свой есть, — сказал Баллантайн.

— Вы давно замужем? — спросил Прентис.

— Интересный ход, — сказал Баллантайн, — но поскольку он мертв, надо спросить: "Вы много лет были женаты?"

Группа захихикала.

Прентис взял миссис Бэкхаус за руку, кто-то, не сдержавшись, фыркнул.

— Не понимаю, чего вы смеетесь, — сказал Баллантайн. — И вообще, что вы, болваны такие, над своими же глумитесь.

Студент из последнего ряда покачал головой и напустил на себя серьезности.

— Продолжайте, Прентис.

— Наверное, я лучше просто посижу рядом, подержу ее за руку. Пусть она выговорится, — сказал Прентис. — Только вот...

— Что?

— А если это был бы мужчина? — сказал Прентис. — Тогда его за руку держать неуместно.

— Положить руку на плечо, что ли? Боже ты мой, ваше поколение помешано на прикосновениях. Только умоляю, без объятий. Просто постарайтесь почувствовать ситуацию. Вы же люди — ну, большинство из вас. Состраданию научить нельзя.

Прентис немного подержал миссис Бэкхаус за руку.

— Сволочь он был, — сказала миссис Бэкхаус.

— Простите? — удивился юноша.

— Муж мой, мистер Бэкхаус. Свинья.

Аудитория тихо ахнула.

— Вы просто очень расстроены, — сказал Прентис.

— Вовсе нет, — ответила миссис Бэкхаус. — Я понесла утрату, но я не расстроена.

— Нужно время, чтобы это принять.

— Он мертв, — сказала миссис Бэкхаус. — Все принято. Двадцати пяти лет брака как не бывало. Он мертв.

Поскольку утешений не требовалось, Прентис отпустил руку миссис Бэкхаус.

— Ничем не могу помочь, Прентис, — сказал Баллантайн. — Вы тут один на один.

— У вас есть дети? — спросил Прентис.

— Дочь. Наверное, ей надо сообщить.

— Она расстроится?

— О да! Больше никаких подачек. Никаких обедов с папочкой. О, она будет безутешна.

— Ну, — сказал Прентис, — я думаю, вы справитесь.

И встал, чтобы завершить наконец эту довольно отвратительную сцену. Прентис пожал ей руку — вроде бы выражал соболезнование, однако в соболезновании нужды не было.

— Если вы подождете, вам принесут бумаги, которые необходимо заполнить.

Прентис уже собрался уйти, но обернулся.

— Я хотел спросить... это пустая формальность... Чем занимался мистер Бэкхаус, когда упал?

Миссис Бэкхаус посмотрела на него.

— Ничем не занимался.

— Он оступился?

— Понятия не имею. Я была наверху, услышала грохот, спустилась, а он на полу.

— Врач из Скорой сказал, что он, по-видимому, упал с табуретки.

— Он что-то доставал с верхней полки... Он там прятал бутылку.

— Что ж... — Прентис вдруг взял дело в свои руки. — Придется провести вскрытие. Коронеру нужно будет во всем разобраться.

— Коронеру? — воскликнула миссис Бэкхаус. — Будет дознание? Зачем? Я читала, что дома происходит девяносто процентов всех несчастных случаев.

— Так оно и есть.

Она снова села.

— Я была наверху. Я тут ни при чем. — Прентис молчал. — Можно мне чаю?

По окончании выступления были даже робкие аплодисменты, и сам Баллантайн хлопнул несколько раз в ладоши.

— Очень хорошо, Прентис, а вы, миссис Доналдсон, нас просто заинтриговали. Может, мы и немного узнали о том, как сообщать печальные новости, а о том, как утешать скорбящих, и того меньше, но хотя бы вспомнили, что смерть — это не всегда горе, утешение предлагать следует, но оно не всегда приветствуется. Понесший утрату знает умершего, а врач нет, а раз не знает, то как выразить соболезнования? Да, конечно, это просто формула вежливости, но скорбящий может полагать, что вежливости здесь не место, и все, кроме искреннего горя, — лицемерие. Люди — существа непредсказуемые. И я думаю, — он взглянул на часы, — именно этому мы можем научиться.

Студенты расходятся, некоторые на прощанье улыбаются миссис Доналдсон.

— Вы ребятам нравитесь, — сказал Баллантайн. — Они считают, вы классная.

"И я тоже", — хотел добавить он, но смолчал.

— Вы так часто делаете неожиданные ходы, что все уже почти привыкли ждать их от вас. Я вот пытаюсь научить их изображать сострадание, а вы их учите чему-то другому.

— Чему?

— Честности — звучит слишком пафосно. Наверное, быть чистосердечными. А не просто внимательными.

И он ушел, печально качая головой.

На самом деле миссис Доналдсон мало думала о сценке, которую они разыгрывали. Она была не в настроении изображать убитую горем вдову или хоть как-то опираться на свой опыт. Ее дочь оплакивала отца слишком бурно, а сама она делала это по обязанности и довольно формально, так что в некотором смысле бесчувственность миссис Бэкхаус была ею прочувствована. Но она никогда не питала ненависти к мужу, он просто ей наскучил; бутылка на верхней полке, возможно, прибавила бы живости их отношениям.

К тому же Делия отметила, что миссис Доналдсон выглядит усталой — что, ввиду ее еженощных бдений у стены спальни, бы-

ло неудивительно. Так что она решила позабавиться над Прентисом и его жалкими попытками проявить заботу, чтобы показать Делии, что та ошибается. Поворот сюжета был неожиданный, и она решила, что студенты смеялись именно поэтому. Саму ее удивило, что Баллантайн сумел извлечь мораль из того, что с ее стороны было просто дурачеством, и она опять убедилась, что Баллантайн может быть хорошим учителем, но этого она ему не сказала — опасаясь осложнений ("Может, пообедаем вместе?"), которые неизбежно последовали бы.

Пришел день платы за комнату, и Энди рассчитался с ней так поспешно, будто хотел исключить даже намек на возможное повторение. Миссис Доналдсон хоть и расстроилась, но деньги пришлись кстати, к тому же она надеялась, что определенность ее успокоит. Да, она по-прежнему занимала вечерами свой пост, но понимала — все, что происходит за стеной, происходит без ее участия.

На следующей неделе у Энди начинались экзамены, и в тот вечер он сидел внизу и копался в своих записях, а Лора гладила. Миссис Доналдсон, воспользовавшись тем, что они заняты столь невинными делами, читала задание на завтра — ведь как только они пойдут наверх, ей надо будет заступать на вахту. Да, она была разочарована сложившимися обстоятельствами, но утешалась тем, что имелось.

Проснулась она, оттого что сползла со стула. Было далеко за полночь, она замерзла. И только забравшись в кровать, она поняла, что разбудил ее шум. С лестницы доносились крики, вдруг дверь распахнулась, в спальню влетела девушка и тут же стала запирать дверь. Но услышав, как топочет по лестнице юноша, она кинулась к миссис Доналдсон. Девушка, кутавшаяся в одну из его рубашек, присела на корточки — словно хотела спрятаться.

Миссис Доналдсон была потрясена.

— Не беспокойтесь! — Миссис Доналдсон встала помочь Лоре. — Что вы такого натворили?

— Ничего, — всхлипнула девушка. — Надела его рубашку.

Тут в спальню ворвался Энди в одних джинсах.

— А ну, вылезай, тупая корова!

— Это моя комната, — подала голос миссис Доналдсон. — Не можем мы просто поговорить?

— Нет, бля, не можем. Вы оставайтесь на месте. Я хочу, чтобы вы это видели. А ты сюда — давай!

Он залез на кровать, стукнув миссис Доналдсон по больному колену, девушка, всхлипывая, тоже заползла на кровать.

— В этом нет необходимости, — сказала миссис Доналдсон.

— Есть, бля, и еще какая, — сказал Энди и со всей силы шлепнул Лору по заднице. Та громко вскрикнула.

— А ну, кончай орать!

Девушка вскрикнула еще громче, и он зажал ей рот рукой.

Миссис Доналдсон очень хотела помочь, и первым ее поползновением было побежать на улицу, позвать соседей или позвонить в полицию. Найти хоть кого-нибудь, сказать: "Скорее сюда, тут девушку насилуют".

Она двинулась к двери.

— Это вы куда? Смотрите!

Девушка завыла, а миссис Доналдсон закрыла лицо руками, а когда осмелилась посмотреть, юноша уже насиловал Лору прямо на ее кровати. В самый разгар событий зазвонил телефон, и миссис Доналдсон решила, что вот оно, спасение, однако Энди, не прервавшись, протянул руку и вырвал телефонный провод из розетки, отчего Лора завопила в два раза громче, а миссис Доналдсон подумала, что это, возможно, только начало.

К счастью, все длилось недолго, и в конце он кричал, а она громко стонала от боли.

Он улегся на спину, а девушка лежала рядом и тихонько подвывала.

Миссис Доналдсон, так и не решив, что сказать после такого, молчала. Ее била дрожь.

— Что ж, — сказал Энди и закинул руки за голову, — полагаю, мы и аванс внесли.

— Ты сделал мне больно, — сказала Лора.

— Это ты сделала мне больно. Это была моя любимая рубашка. Я вас случайно не задел ногой?

— Нет, — солгала миссис Доналдсон, которая мечтала о чашке чаю и готова была предложить его и присутствующим, но боялась, что, пока она будет внизу, они помирятся и начнут все заново, как в прошлый раз.

— Вы могли бы меня и предупредить, — сказала миссис Доналдсон.

— О чем?

— Что вы притворяетесь.

— Я не притворялся, — сказал Энди. — А ты?

— Нет, — ответила Лора. — Я испугалась. Ты сделал мне больно.

— Я, конечно, выпил, но совсем чуть-чуть. Она это заслужила. Испоганила мою лучшую рубашку.

— Я могу ее постирать, — предложила миссис Доналдсон.

— Как мило с вашей стороны, — сказал Энди. — Правда, мило? — Он обнял Лору, уткнулся носом ей в шею.

Миссис Доналдсон замерла на месте.

На следующий день соседка сказала, что ночью они слышали крики, и спросила, все ли в порядке.

— Мы чуть было не пошли к вам, но был час ночи.

— Это все мои студенты, — сказала миссис Доналдсон. — Ничего особенного. Но хотя бы они музыку громко не заводят. У них теперь эти штучки в ушах.

— А вы-то как?

— Все хорошо.

— Вам, наверное, очень не хватает мистера Доналдсона.

Миссис Доналдсон только грустно улыбнулась.

До Гвен тоже дошли слухи — она встретила соседку (уже другую) в "Уайтроуз", и миссис Доналдсон испугалась, что они перебудили всю улицу.

— Миссис Трумэн сказала, что она звонила, но трубку никто не взял.

— Телефон не работал.

— Что они такое устроили посреди ночи?

— Что люди устраивают посреди ночи?

— Сексом занимались?

— Полагаю, этим все и закончилось. Я постучала им в дверь, и они тут же угомонились. Они же молодые.

— Ты всегда так говоришь. А этот юноша, у него нет садистских наклонностей?

— Не говори глупостей. И вообще, они скоро съезжают, — закрыла тему миссис Доналдсон.

Что было правдой. Они сказали об этом утром. Энди пообещали место в архитектурной школе в Эдинбурге, а Лора решила отправиться на год в Малави[1].

— Вы больше этого делать не будете?

— Чего?

— Комнату сдавать.

— Не знаю, — сказала миссис Доналдсон. — Я еще не решила.

— Мне будет их не хватать, — сказала она Делии, но объяснить, почему именно, вряд ли могла бы. — Из-за них я старалась быть в форме.

— Тогда возьми других, — посоветовала Делия. — Заранее же не знаешь.

Они ждали начала занятия. Две сестры, чья мать лежит в коме.

— Чего заранее не знаешь?

— Может, это будут симпатичные ребята.

1. Малави (Ньяса) — государство в Южной Африке. (*Прим. перев.*)

— Я еще не решила. Неплохо будет и немного одной пожить.

Неплохо (об этом она не сказала) и спать ночью нормально, и иметь беспрепятственный доступ к ванной. Плохо то, что больше нечего будет ждать, и она снова уйдет в свою скорлупу.

— Ну, пора, — сказала Делия, когда вошел Патридж. — Начинаем горевать.

Патридж позвонил им и сказал, что аппараты, поддерживающие жизнь их матери, хотят отключить, но нужно их согласие. Их мать сбила машина, и она находилась в коме.

— Я бы их кастрировала, — сказала Делия, по сценарию Джеки.

— Кого?

— Тех, кто сматывается с места аварии.

— Лучше от этого не станет, — ответила миссис Доналдсон, она же Кора.

— Мне станет.

— Она вечно сходила с тротуара на проезжую часть.

— Кора, этого никто не отрицает. Дело-то в другом: он даже не остановился. Я бы его кастрировала.

— Сейчас речь не о кастрации, — вмешался в разговор Патридж. — А о том, отключать ли мать от аппарата.

— Это кого вы матерью называете? — вскинулась Джеки. — Она вам не мать. Она вам миссис Хендерсон. Откуда вы знаете, что она не очнется? Вам всего-то лет четырнадцать, вы даже галстук еще не носите. Собираетесь приговорить человека к смерти, так хоть оденьтесь соответственно.

Патридж стушевался.

— И вообще, — продолжала Джеки, — вспомните, сколько написано о людях, которые годами лежали в коме, а потом вдруг приходили в себя.

— Иногда необходимо принимать трудные решения, — сказал Патридж.

— А почему нельзя оставить все как есть? — спросила Джеки. — Подождем, посмотрим.

— Смотреть нечего, — ответил Патридж. — Ее мозг умер.

— Но она жива, — сказала Джеки. — А пока есть жизнь...

— Я бы ее отпустила, — сказала Кора.

— Ты бы — да, — буркнула Джеки.

— Вот видите, — обратился Патридж к классу, — здесь очень пригодилась бы медсестра.

— Всё вы требуете медсестер, — сказал Баллантайн. — Почему?

— Женщины лучше это умеют, — сказал Гулли.

— А если бы это был медбрат?

— Все равно — он бы подставил плечо.

— А вы давно бывали в больнице? — спросил Баллантайн. — Этого вам, конечно, никто не расскажет, но дело в том, что большинство нынешних медсестер вообще не способны сочувствовать, утешать и вообще вести себя по-человечески. Они умеют делать процедуры — потому что этому их учили, но, когда нужно просто подержать за руку, утешить умирающего или несчастного родственника — то есть сделать то, чему могла бы научить их жизнь, от медсестер проку никакого.

— Разве их не учат ухаживать за больными? — спросил Партридж.

— Разумеется, учат. Их этому учат на курсах, а должна бы научить жизнь. Личный опыт. Вы слишком молоды для врачей, так и они — слишком молоды для медсестер. Лучшие сестры — женщины среднего возраста, только они уже не сестры, а администраторы. Так что, если вам нужен тот, кто посочувствует вместо вас, не ищите медсестру. Если нужно кого-то успокоить или утешить, вы должны делать это сами — вы же врачи.

— Я работаю бухгалтером, — сказала Кора. — Я правильно понимаю, что это вопрос финансов?

— Ну... — Патридж обрадовался, что наконец слышит голос разума.

— Патридж, предупреждаю вас, — вмешался Баллантайн, — если вы скажете "да", вторая сестра вас самого подключит к аппарату.

— А ей есть ради чего жить? — проблеял Патридж.

— Ради нас, — сказала Джеки. — Во всяком случае, ради меня.

Патридж вздохнул. Ему было плевать, кто отключит аппарат. Он мечтал стать патологоанатомом. И иметь дело с уже мертвыми телами.

— Давай попробуем найти в этом что-то хорошее, — сказала Кора. — Если мы ее отключим, углеродный след, который оставит она, будет меньше.

Джеки застонала.

Патридж вздохнул.

— Давайте посмотрим по обстоятельствам, — сказал он. И пожал руки обеим сестрам. — Подождем недельку-другую.

— Отметку не ставлю, — сказал Баллантайн. — И вот что, Патридж, с медсестрами или нет, но вам надо поупражняться в человечности. Пока она у вас на нуле. А вы, дамы, губите здесь, в больнице, свои таланты. Вам надо на телевидение.

Оставшись без квартирантов и без денег, которые они хоть изредка, но платили, миссис Доналдсон была вынуждена ис-

кать еще одну подработку. Как-то за ланчем она обратилась к Баллантайну.

— На вас так действует мое обаяние? — спросил Баллантайн. — Или нужна новая морозильная камера? Есть кое-какие свободные места, но ничего особенно привлекательного. Впрочем, я буду рад видеть вас чаще. Так, что у нас на завтра? Аноректальное кровотечение вас ведь не интересует? Есть камни в желчном, но это такой пустяк для нашей Мерил Стрип с Бикертон-роуд.

Он протянул ей папку.

— Еще разве что судороги.

— Судороги уже недавно были, — сказала миссис Доналдсон.

— Были... и весьма запоминающиеся. Конечно, можно и со рвотой, но лучше не стоит. Давайте что-нибудь простое. Камни в желчном.

— А что, если она будет глухая? — предложила миссис Доналдсон.

— Или латышка? — сказал Баллантайн.

— С диабетом, — сказала миссис Доналдсон. — Это я знаю прекрасно.

— Умница!

Миссис Доналдсон все обдумала и решила, пусть не будет лишних денег, но комнату она сдавать не станет. Не будет больше по ночам прижимать ухо к стене, не будет взволнованно ждать каждую четвертую пятницу — день квартплаты. Она позволила себе немного отдохнуть от респектабельности, но всего однажды, и шансы найти новых жильцов столь же свободных взглядов (и столь же малообеспеченных), как Энди и Лора, были ничтожны. Нет, эта страница перевернута. Да, она об этом сожалела, но слишком уж велико было нервное напряжение.

Однако любопытство, даже желание, оставалось, желание, которое ассоциировалось у нее со свободой, легкостью и новой жизнью и которое она теперь так стремилась подавить. Она когда-то слыхала, что все это можно найти в интернете. В интернете она ничего не понимала, но наверняка есть какие-нибудь курсы. Теперь полно всяких курсов, впрочем, она сомневалась, что обучают и тому, что ее интересует. Но именно так, не нарушая никаких приличий, она и решила поступить. И рассказать Делии.

После скучноватого дня (щитовидка, грыжа пищевода и внутренний геморрой) она сидела с коктейлем у себя на кухне, и тут в дверь позвонили.

Решив, что это Гвен, она спрятала стакан в буфет, повесила на дверь цепочку и только после этого открыла ее.

— Миссис Доналдсон?

— Да.

На пороге стояли юноша и девушка.

— Извините, — сказала она, — я думала, это моя дочь.

— Нет. Мы насчет комнаты.

Он был в тоненьком пальто, джинсах, рубашке и, как ни удивительно, узеньком, но галстуке. Она видела что-то такое по телевизору, шляпу уж точно — маленькую, черную, с узкими полями, к тому же на размер меньше, чем нужно. Такая шляпа скорее ассоциировалась с поп-певцом, которого часто сажают за наркотики, и, хотя лицо у юноши было приятное, шляпа его нисколько не украшала, разве что он выглядел моложе (для этого он, по-видимому, ее и надел) и совсем не походил на светского франта.

Девушка была обычная, в кардигане, с длинным шарфом, единственной данью моде казалась розовая блестящая сумка.

— Насчет комнаты? — переспросила миссис Доналдсон. — Какой комнаты? Никакой комнаты нет.

Решение больше не брать жильцов далось ей нелегко, но, увидев эту совсем не подходящую парочку, она почувствовала облегчение и даже взбодрилась. Нет-нет! Эти уж никак не годились.

— Вы в списке, — сказал юноша. — Кстати, меня зовут Олли. А это Джералдина. Я учусь в художественном колледже, Джералдина работает в кафе.

— В органическом, — уточнила девушка и протянула юноше список тех, кто сдает комнаты.

— Вы тут есть. — Олли показал на ее фамилию. (Она заметила, что ногти у него чистые.)

— Я просила меня оттуда убрать, — сказала миссис Доналдсон.

— А они не убрали, — пожал плечами Олли. — Обидно — мы так долго добирались. Вам не повезло с прошлыми жильцами?

— Простите... — удивилась миссис Доналдсон.

— Вы поэтому попросили убрать ваше имя из списка?

— Нет-нет... Я просто решила немного передохнуть.

— Может, возьмете нас на испытательный срок? — сказал юноша. Девушка робко улыбнулась. — Вдруг мы вам подойдем? Мы можем принести рекомендации. И мы знаем Энди, — добавил он, — правда?

Девушка кивнула и уткнулась в шарф.

— Энди? — спросила миссис Доналдсон.

— Который раньше здесь жил. Мы однажды к нему приходили, только вас дома не было.

Разговаривали они через дверь, но, поняв, что это люди не совсем посторонние, миссис Доналдсон сняла с двери цепочку.

— Вы их видите? — спросила миссис Доналдсон. — Как они?

— Энди в Эдинбурге, — сказал юноша. — А Лора где-то в Африке.

— В Малави, — уточнила миссис Доналдсон. — Она мне прислала открытку. Вы проходите.

Они уселись за стол на кухне. Олли по-прежнему был в шляпе.

— Мы квартплату задерживать не будем, — сказал Олли. — Джералдина работает в кафе.

— Дело не в этом, — сказала миссис Доналдсон.

— Они ведь были не такие, — сказал Олли.

— Какие — не такие? — спросила Доналдсон, забыв о пропасти, в которую может рухнуть.

— Не такие уж аккуратные в смысле квартплаты.

— Они были неплохие ребята, — сказала миссис Доналдсон. — Нет, дело не в этом.

— В нас? — Юноша улыбнулся ей. Выглядел он лет на четырнадцать.

— В вас? Нет, нет... Не в вас.

— Они сказали, что с вами можно договориться. — Юноша улыбнулся. — Насчет квартплаты.

Джералдина замотала руки шарфом.

— У нас с этим проблем не будет, скажи, подруга?

— Нет. — Рот девушки был прикрыт шарфом. — Никаких проблем. Вообще.

— Прошу меня извинить, — сказала миссис Доналдсон. — Мне надо сходить наверх.

Она поспешила в ванную, закрыла за собой дверь, и ее не пойми с чего вырвало.

Она села на кровать, на их кровать, уткнулась лицом в подушку.

Такого она себе даже вообразить не могла — хотя теперь, когда это произошло, все казалось столь очевидным. Если они знают, значит, все знают. Она представила возможные последствия, и у нее голова пошла кругом. Значит, поползли слухи и на медицинском факультете. Самое место: это же диагноз. Ни о каком сочувствии или уважении и речи быть не может. Ходячий анекдот. "Наша квартирная хозяйка".

Она вытерла слезы и пошла вниз.

Они молча сидели за столом.

— Мне надо все обдумать, — сказала миссис Доналдсон. — Я пока что не могу решить.

Они встали, юноша взял ее под руку.

— Мы никакого беспокойства вам не доставим. Музыку слушать не будем, и вообще. — Он протянул ей листок. — Я тут записал свой мобильный.

Она мило улыбнулась — будто дело не было решенным.

Они стоят на крыльце, и юноша впервые снимает свою дурацкую шляпу и так по-старомодному прижимает ее к груди, и она с трудом сдерживает смех: он похож на жалкого бродягу, которого в поисках пристанища занесло к ее дому.

— Симпатичная у вас шляпа, — говорит она.

Он снова ее надевает, над ее головой самолет чертит в небе белую полоску, где-то поет женщина.

Она возвращается в дом и видит на столе листок бумаги с номером его мобильного, а рядом он пририсовал глупую улыбающуюся головку в шляпе. Наверху она ложится на кровать, которая раньше была ее кроватью, ложится как обычно — слева.

Здесь, казалось бы, в конце этой истории, истории-предупреждения, можно было бы и оставить миссис Доналдсон, а читатели, которым нужна мораль, могли бы тут и остановиться, сосредоточиться, так сказать на этой кровати, где женщина тоскует по себе прежней — основательной и здравомыслящей, какой ее считали и все остальные, но в голову ей лезет только слово "шлюха"... Похотливая старуха с обвисшей грудью, подсматривающая за чужим наслаждением.

Она представляет, как над ней смеются, как ее презирают, никто не желает ее простить или понять, а ее домик в пригороде считается, может, и не борделем, но уж точно местом, где можно получить кое-что в обмен на эротические услуги.

Нет, остается одно — печалиться о том, что она так бездумно отринула.

Заглянув в расписание, миссис Доналдсон вспомнила, что сегодня она работает с мисс Бекинсейл, чьей вотчиной давно уже были все старческие хвори. Началось все с деменции, столь впечатлившей доктора Баллантайна: мисс Бекинсейл очень натурально бормотала нечто бессвязное. За долгие годы мисс Бекинсейл захватила и прилегающие территории: афазию и амнезию, инсульты и прочие мозговые расстройства. "Печальные последствия, — любила говорить она, — утраты рассудка".

Однако мисс Бекинсейл была уже не столь молода и порой настолько упивалась своим представлением, что ее героиням медицина уже была бессильна помочь, поэтому Баллантайн изредка перепоручал нелады с головой миссис Доналдсон —

ранние признаки Альцгеймера, пару аневризм и (настоящее наслаждение) синдром Туррета. Туррета предлагали и мисс Бекинсейл, но она его отвергла, поскольку ей пришлось бы извергать из себя ругательства, о которых, по ее утверждению, она прежде и не слыхивала. Не слышала она и про само заболевание, а когда ей объяснили, в чем суть, до конца не поверила — решила, что все дело тут в недостаточном самоконтроле.

Мисс Бекинсейл предчувствовала скорый распад ее империи.

— Истерику не троньте, — предупредила Делия. — Это мое.

Впрочем, поначалу старейшая актриса труппы держалась вполне дружелюбно, даже взяла миссис Доналдсон под ручку и шепнула ей:

— Добро пожаловать в царство рассудка.

Баллантайн также предвидел возможные пикировки, но, поскольку их не последовало, в этот день решил задействовать обеих дам одновременно, в сценке, где дочь хотела сдать слегка помешанную мать в клинику.

Дело было после ланча.

— Вы сиделка? — спросила мисс Бекинсейл.

Миссис Доналдсон вздохнула.

— Нет, Вайолет. Я Джейн.

Студенты еще не вернулись после перерыва, и миссис Доналдсон совершенно не желала подыгрывать мисс Бекинсейл.

— Вайолет, мы еще не начали.

Мисс Бекинсейл зажмурилась.

— Я ничего не начинаю. Какая я есть, такая и есть. Вы сиделка.

— Я не сиделка, — сказала миссис Доналдсон. — Я твоя дочь, Лойс.

— Ты? Какая ты мне дочь? Начнем с того, что ты слишком стара. И еще: моя дочь ни за что не надела бы кардиган такого цвета.

Это была обычная для мисс Бекинсейл тактика. Отлично понимая, что обвинить ее будет трудно, она, хоронясь в зарослях своего гипотетического слабоумия, кидала в коллег напоенные ядом дротики, и одним из симптомов ее "сумасшествия" было то, что она ничего не держала в себе.

Стали подтягиваться студенты, и мисс Бекинсейл прикрыла глаза и пустила свой рассудок по волнам.

Вести прием должен был Меткалф, флегматичный молодой человек, который весьма положительно относился к геронтологии. Он поднялся на подиум, где его уже ждали дамы,

пожал руку изображавшей дочь и готов был так же поздороваться и с предполагаемой матерью, однако мисс Бекинсейл, уже вошедшая в роль, не заметила ни Меткалфа, ни его протянутой руки.

Он усаживается за стол, делает какие-то пометки.

— Итак, мисс Мергатройд...

— Миссис, — поправила его миссис Доналдсон.

— Прошу прощения. Значит, имеется и мистер Мергатройд?

— Имелся. Он умер.

— Она его убила, — сообщила ее мать. — Выкинула в окно.

— Простата... — пояснила дочь.

— Я даже как звать ее не знаю, — заявила старая дама.

— Кстати, как вас зовут? — спросил Меткалф.

— Лойс.

— Вовсе нет, — сказала ее мать. — Ее зовут... — И мисс Бекинсейл стала подбирать имя попротивнее. — ...мою дочь зовут Трейси.

— Лойс, — повторила миссис Доналдсон.

Меткалф еще что-то записал.

— Я задам вам пару вопросов, чтобы понять, какой именно уход требуется вашей матери. Она страдает недержанием?

— Только когда сама этого хочет.

— А может обделаться?

— Когда ей это удобно.

— Что она такое говорит? — подала голос старая дама. — Спрашивайте меня, а не ее.

— Мне приходится все делать, — сказала Лойс.

— Интересно, — донесся голос Баллантайна из дальнего угла. — Когда говорят "Мне приходится с ней возиться", обычно имеется в виду только одно.

— У нее столько мужиков, — сказала старая дама. — Стаи.

Баллантайн пропускает это мимо ушей.

— Вот что еще интересно, — продолжил он, — дочь говорит о престарелой матери "Мне приходится с ней возиться", а вот на другом отрезке жизненного пути мать никогда не скажет про младенца "Мне приходится с ним возиться". Почему мы принимаем безропотно беспомощность младенцев, но совсем иначе беспомощность стариков? Кулли, есть идеи?

Кулли задумался.

— Начнем с того, что у стариков дерьмо сильнее воняет.

Студенты разразились хохотом, но Баллантайн к ним не присоединился.

— Это серьезный аргумент. Действительно, сильнее. Продолжайте.

Меткалф задавал все положенные вопросы — про память, способность передвигаться, про ночные вставания, но ничего особенного не выяснил. Понятно, что между матерью и дочерью согласия нет. Мать хочет остаться дома, дочь не справляется и хочет отправить ее в совсем иное место. Если бы они хоть немного друг друга любили, это было бы трогательно, но чего нет — того нет.

— А раньше вы с матерью ладили? — спрашивает он.

— Да мы ладим, — говорит мать. — С чего вы взяли, что мы не ладим?

— Вы только что назвали ее коровой.

— Она же моя дочь. Как хочу, так и называю.

Меткалф ни с того ни с сего спросил:

— Кто у нас сейчас премьер-министр?

— Ну, этот... — ответила она. — Я знаю, но вам не скажу.

— Вы можете вычесть из семи пять?

— Это еще зачем?

Меткалф оборачивается к дочери.

— Видите ли, миссис Мергатройд, отлично известно, что пожилые пациенты лучше себя чувствуют в знакомой обстановке, к тому же это ведь дом вашей матери.

— Вовсе нет! — встревает мать. — Он хоть и выглядит как мой дом, и улица выглядит как моя, но сейчас каких только декораций не делают. Честно говоря, я считаю, я давно уже в доме престарелых, только мне боятся сказать.

Меткалф что-то записывает, а Лойс понимающе улыбается.

— Дело-то в том, — говорит мисс Бекинсейл, — что она хочет пустить постояльца.

Студенты навострили уши.

Поскольку в сценарии про постояльцев не было ни слова, миссис Доналдсон сразу понимает, что это очередной дротик из колчана мисс Бекинсейл.

— Муж у нее помер, вот она и хочет постояльца.

— Не хочу я никакого постояльца, — говорит Лойс. — Для него и комнаты-то нет.

— Все зависит от того, как улечься, — сказала мисс Бекинсейл.

Кто-то засмеялся. Миссис Доналдсон посмотрела на публику. Еще кто-то тихо усмехался.

— Они будут этим заниматься, — сказала ее мать.

— Чем это этим? — спросил Меткалф.

— Ну, чем обычно занимаются, — сказала мисс Бекинсейл. — И стар, и млад. — Кто-то аж взвизгнул. Обычно мисс Бекинсейл ни о чем подобном речи не заводила.

— Ты про то, — сказала Лойс, — что тебе пришлось делать до моего рождения?

— Прекрати говорить гадости! Я никогда этого не делала. Я ни с кем этого не делала. Я была учительницей в воскресной школе. Это ты так делала. И делаешь. — Тут она стукнула кулаком по столу.

Все это было на нее совсем не похоже. Какую бы белиберду она ни несла, тему секса мисс Бекинсейл обходила стороной.

По столу ей стучать понравилось, поэтому она стукнула снова.

У миссис Доналдсон в сумке всегда есть бутылка воды, поэтому, воспользовавшись суматохой и прикрывшись сумкой, она наклоняется и льет воду под стол.

— А как же муж? — спрашивает старую даму Меткалф. — Вы с ним ладили?

— Ее спросите.

По полу растеклась лужица.

Миссис Доналдсон мило улыбнулась Меткалфу.

— Кажется, у мамы небольшая авария.

— Со мной такого не бывает, — возмутилась мисс Бекинсейл то ли от лица мамы, то ли от своего.

— Она этого даже не осознает, — сказала Лойс. — Ей нужен профессиональный уход.

— Я позову сестру, — сказал Меткалф. — Пусть здесь все вытрет. По таким вопросам можно же обращаться к сестре?

— Да, — устало кивнул Баллантайн. — По таким можно.

Пока студенты расходятся, а мисс Бекинсейл выходит из образа, Баллантайн отводит миссис Доналдсон в сторонку.

— Отлично, просто замечательно. Только я не уверен, что все получилось. Как по вашему, Вайолет была достаточно безумна? Мне показалось, она слишком уж хорошо соображала. Она правда обмочилась?

— Ей так не показалось, — сказала миссис Доналдсон.

— Да вы что? Бедняжка. Однако она еще тянет, хотя — не сочтите это диагнозом — она в последнее время слишком уж погружается в свои фантазии.

— Однако, не могу не заметить... — Он положил руку чуть пониже талии миссис Доналдсон, чего она не могла не заметить, — ...каким бы безукоризненным ни был сценарий, вы с непонятным упорством изображаете то, что так далеко от вас настоящей — равнодушную дочь, обиженную вдову, затаившую обиду на супруга. Все ваши героини малоприятные дамочки.

— Я не очень умею изображать чувства, — сказала миссис Доналдсон.

— В жизни, — осмелился спросить Баллантайн, — или только на занятиях? Вы все еще по нему горюете?

— По кому горюю? — удивилась миссис Доналдсон.

— По мистеру Доналдсону.

— А-аа, — сказала миссис Доналдсон. — Наверное.

— Быть может... — его рука все еще лежала на спине миссис Доналдсон, — ...вы согласитесь как-нибудь со мной поужинать? Это вас отвлечет.

— Что он так долго собирался? — сказала Делия. — Надеюсь, ты согласилась?

Миссис Доналдсон согласилась, причем чуть ли не с радостью, поскольку приглашение свидетельствовало о том, что даже если о ее эскападе с Лорой и Энди кто-то и знает, то ушей доктора Баллантайна слухи не коснулись.

Однако она ошибалась. Баллантайн, спросив как-то студентку, видела ли она когда-нибудь мертвое тело, и услышав в ответ "только хомяка", взял в морг ее и еще пару студентов, которые смерть вблизи не видели, посмотреть на трупы. После чего счел своим долгом пригласить всю троицу выпить, прежде всего чтобы их приободрить, но также и потому, что близилось заседание аттестационной комиссии и ему хотелось получить побольше положительных отзывов от студентов.

Встреча была довольно чопорная ("Розмари, скажите, а чем вас так привлекает пищеварительный тракт — ведь обычно на этом поле работают мужчины?"), но пропасть этому дню не дал Найджел, еще один будущий хирург, сказавший, что простата — это зона роста ("Шутка! Ха-ха-ха"), и поведавший, не удаляясь от выбранной им темы, несколько забавных историй о половых отношениях у стариков. Как раз во время этого довольно вульгарного рассказа Локвуд, до той поры молчавший и думавший о том, не напишет ли Баллантайн в своем отзыве, что у Локвуда проблемы с общением, понял, что пора и ему внести вклад, и поделился слухами о миссис Доналдсон.

Оба его соученика об этом уже знали, только Розмари отказывалась верить, но Найджел клялся и божился, что Лора ему сама об этом рассказала. Баллантайн заявил, что это в любом случае не их дело, и предложил побеседовать о чем-нибудь более достойном. Последовало молчание.

— Вы лучше ответьте, — сказал Баллантайн, — как вы относитесь к новой концепции поликлиники?

Баллантайн не выказал никакого интереса к этой щекотливой теме ("Миссис Доналдсон — настоящий профессионал"), хотя и мечтал узнать подробности. История его нисколько не шокировала и даже вдохновила. Свою заинтересованность

миссис Доналдсон он демонстрировал довольно неуклюже, но явно. А дальнейших шагов не предпринимал потому, что вообще бывал робок с женщинами, а уж перед всегда уверенной в себе миссис Доналдсон и вовсе тушевался. Он немного побаивался миссис Доналдсон. Теперь страх прошел. Оказалось, что она ничем не отличается от остальных. Он словно получил индульгенцию. И твердо решил пригласить ее на ужин.

Миссис Доналдсон успокоилась насчет Баллантайна, однако была абсолютно уверена, что ее тайна известна и мисс Бекинсейл, и всем прочим. Так что спросила напрямик Делию, которая, как выяснилось, давно была в курсе.

— Это нечестно! — сказала Делия. — Я на десять лет тебя моложе. Секс с юнцами, ужин с руководителем... Ну чем я хуже?

— Секса не было, — уточнила миссис Доналдсон.

— А что же было?

Она все рассказала, поняв, что именно этого ей и не хватало, и обе то и дело хохотали как безумные.

Да, миссис Доналдсон немного подредактировала действительность, умолчав о ночах, проведенных у стены, но, хоть она и рассказала о своем приключении, оно не потеряло очарования, а даже наоборот, и поэтому, вернувшись вечером домой, она тут же полезла в мусорное ведро и отыскала среди чайных пакетиков и помидорной кожицы скомканный листок, который оставил Олли.

Вскоре новые жильцы переехали, плата была внесена за две недели вперед, но ни о каких иных условиях оплаты или вариантах решения вопроса в случае неуплаты речи не было.

Вели они себя скромнее, чем Энди с Лорой, например, почти не заходили на кухню — Олли, похоже, питался в основном пиццей на вынос.

Гвен, как и можно было предположить, была недовольна.

— Она вообще разговаривает? Я уже дважды заходила, и она оба раза тут же исчезала наверху. Он вполне разговорчив, только что это за дурацкая шляпа? Какие-то они богемные.

— Они вполне тихие, — ответила ей мать. — Я иногда даже не знаю, дома они или нет.

— Ну, хоть в чем-то лучше предыдущих. А на кого он учится?

— Кажется, на модельера.

— На модельера? Ну, тогда ты должна благодарить бога, что он не гей.

— В этом нет ничего предосудительного, — сдержанно сказала миссис Доналдсон. — Я как-то изображала в больнице лесбиянку.

— Это еще зачем? — простонала Гвен.

"Для смеха, — хотелось ответить миссис Доналдсон. — Или во искупление того, что подарила миру такое безрадостное создание, как ты".

Однако, хоть на дочь ей было в целом наплевать, она понимала, что разозлилась она прежде всего потому, что Гвен была права.

Чем, она, собственно, занималась в больнице? И зачем предоставила этим двум ребятишкам крышу над головой?

Все это было непристойно. Она хоть и храбрилась, но на самом деле это была не она. Но именно потому она это и делала — потому что это была не она.

Как только новые жильцы заселились, все ее тайные мотивы полезли наружу — она опять заняла свой пост у стены. В основном ее бдения были тщетны — из соседней комнаты не доносилось практически ни звука, стояла такая тишина, что однажды миссис Доналдсон пять минут прислушивалась к какому-то стуку, пока не поняла, что это бьется ее сердце. Изредка слышался сдавленный стон, по-видимому, Джеральдины, но стон тоски или восторга, разобрать не получалось — возможно, причиной стона была просто скука.

Миссис Доналдсон со своей стороны начала беспокоиться — а вдруг намек, брошенный Олли в самом начале, вовсе не был намеком? Вдруг она неправильно поняла? Или же это был такой прием — так вставляют в дверной проем ногу, чтобы дверь не захлопнули, — а теперь, когда они заселились, тема закрыта? Так или иначе, но сама она этот разговор завести не могла и вскоре стала думать, что выставила себя на посмешище не один раз, а два.

Впрочем, контакты были — может, и не столь значительные. Как-то вечером. столкнувшись с ней на кухне, Олли сказал:

— А можно, я вас как-нибудь нарисую? Правда, я даже вашего имени не знаю.

— Джейн, — ответила миссис Доналдсон. — Ну, если хотите... Нарисуете? А как? Когда вы хотите этим заняться?

— Если вы не против, можно прямо сейчас... Джейн.

Она села за кухонный стол, а он сделал рисунок — получилось очень похоже — и еще несколько набросков. Он рисовал, высунув кончик языка — как маленький мальчик, который очень старается.

— У художников давно существует традиция рисовать своих квартирных хозяек. Вы знали про это?

— Нет, — ответила миссис Доналдсон, которой по-прежнему не нравился статус квартирной хозяйки.

— Миссис Маунтер, например, — сказал Олли, продолжая рисовать. — Она была квартирной хозяйкой художника Гарольда Гилмана. И кстати, дамой в возрасте.

В этот момент в кухню зашла Джералдина и тут же вышла.

— На сегодня достаточно, — сказал Олли. — А вы мне еще попозируете?

— Вы бы как хотели? — спросил Олли.

Они с Джералдиной сидели рядышком на кровати, он держал ее за руку. Вид у нее был несчастный.

— Может, я вас позову, когда мы будем готовы?

Миссис Доналдсон направилась к двери, и тут Олли спросил:

— А вы не раздеваетесь?

— Да нет, — сказала миссис Доналдсон. — По-моему, так проще, вы как считаете?

— Согласен.

Они явно уже обсуждали этот вопрос.

— Джерри боялась, вдруг вы захотите присоединиться.

— Я? — удивилась миссис Доналдсон. — Нет, что вы! Я просто... — Она хотела сказать "муха на стене", но получилось бы слишком похоже на правду. — Я просто наблюдаю.

Так долго ожидаемое предложение поступило час назад. Они весь вечер сидели у себя в комнате, и, услышав голос Джералдины, миссис Доналдсон решила, что они ссорятся. Но когда она готовила себе на кухне тосты с яичницей, туда зашел Олли. Она угостила его и предложила сделать тост и для Джералдины, но выяснилось, что та яиц не ест.

Она мыла посуду, Олли вытирал, и тут Олли спросил:

— А как насчет сегодня? Да, за комнату мы заплатили, но это можно считать авансом. Энди с Лорой ведь так делали?

Миссис Доналдсон ответила, что делали, не упомянув о том, что это было лишь однажды. И пока Олли заваривал Джералдине ромашковый чай, поднялась наверх.

Когда оба уже забрались в кровать, Олли позвал ее, и миссис Доналдсон, войдя, села на табурет у туалетного столика.

Оба не торопились начинать. Юноша сидел, прислонившись к спинке кровати, прикрывшись ниже пупка простыней. Джералдина же лежала, укутавшись до подбородка, и смущенно косилась на миссис Доналдсон.

— Как дела в кафе? — спросила миссис Доналдсон. — Там подают только органическое?

— В кафе все прекрасно, — ответил Олли. — И еда там вся органическая, правда, милая?

Джералдина кивнула.

— Кроме хлеба, — сказала она.

— Кроме хлеба, — повторил молодой человек. — Он цельнозерновой, но не органический. Миссис Доналдсон, а каким был ваш муж?

— Бывший муж, — шепнула Джеральдина.

— Почему? Они же не были разведены.

— Он умер, — снова шепотом, словно это было что-то постыдное, сказала девушка.

— Я знаю, что умер, — сказал Олли, — но не стал от этого бывшим. — Он улыбнулся миссис Доналдсон и одними губами произнес "Извините". — Вам, наверное, не хочется о нем говорить.

Миссис Доналдсон этого действительно не хотелось, особенно при таких обстоятельствах, но она лишь улыбнулась — мол, не имеет значения.

— Вы долго с ним прожили?

— Двадцать пять лет. — На самом деле — тридцать.

— Здорово!

Он чуть приспустил простыню, а девушка, воспользовавшись этим, укрыла своим концом и лицо.

— Джерри немного смущается.

— Это вполне понятно, — сказала миссис Доналдсон. — Я тоже.

— Слышишь, Джерри? Миссис Доналдсон тоже смущается.

Он выпростал ногу и погладил ступней колено миссис Доналдсон. Пальцы у него были крепкие, сильные, как у взрослого — в отличие от лица, и мизинец длинный — не то что недомерок миссис Доналдсон. Она хотела было погладить его ступню, но Джеральдина вдруг повернулась и обняла его, отчего простыня сползла.

— Ого! — воскликнул Олли, прикрыл свои чресла и рассмеялся. — Не знаю, зачем я это сделал, — сказал он. — Учитывая обстоятельства. — И убрал руку.

Миссис Доналдсон улыбнулась и постаралась не выказывать излишнего интереса, однако отметила, что возбужден он куда больше, чем хотел показать.

— Теперь твоя очередь, — сказал он и освободил от простыни и свою подругу. Она уткнулась лицом ему в грудь, а он стал гладить ее по спине, приговаривая: — Расслабься, радость моя, расслабься.

— Вам правда это удобно? — спросила миссис Доналдсон.

Он успокаивающе кивнул и стал ласкать Джеральдину более основательно — целовал плечи, гладил по спине.

— Вы не против, если мы просто продолжим?

Миссис Доналдсон помотала головой, он показал ей большой палец и занялся девушкой вплотную.

— Вот как она любит, — сказал Олли.

— Нет, не люблю!

— Вчера тебе нравилось.

— Ей не нужны твои комментарии.

— А может, нужны? — сказал Олли. — Вам нужны мои комментарии? Вот сейчас я собираюсь засунуть руку моей девушке между ног.

Она вскрикнула, впрочем, как заметила миссис Доналдсон, от удовольствия.

Лора иногда дарила миссис Доналдсон веселой улыбкой и даже подмигивала ей поверх эндиного плеча, Джералдина же, сосредоточившаяся на поставленной задаче, была не в настроении проявлять любезность. Она даже ни разу не взглянула на пожилую зрительницу, и, если бы не реплики Олли, миссис Доналдсон чувствовала бы себя нежеланной гостьей. Но Олли всячески старался вовлечь ее в происходящее, например, из вежливости отводил в сторону колено Джералдины, чтобы предоставить зрительнице лучший обзор. А поставив Джералдину на четвереньки, потянулся к ней, пожал руку и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Вот это мне больше всего нравится.

Когда через довольно продолжительное время дело подошло к концу, он не был таким уж беззаботным: Олли был серьезен и сосредоточен, а Джералдина сотрясалась в рыданиях и даже издала отчаянный протяжный стон — именно такой миссис Доналдсон слышала несколько раз через стену.

Действо закончилось, Джералдина тут же направилась в ванную, а Олли остался лежать на кровати.

— Прошу прощенья, — сказал он. — Надо было таблетку сначала принять, она бы лучше расслабилась. Ну, и как вам? — спросил он, усмехнувшись.

— Очень мило, — вежливо ответила миссис Доналдсон. — Мне понравилось. Спасибо большое.

— Не уверен, что это стоило таких денег, — сказал молодой человек. — Мне бы хотелось больше самозабвенности. Которая обычно возникает, ну, знаете, один на один.

— Это вполне понятно, — сказала миссис Доналдсон.

Он натянул на себя простыню.

— А как по сравнению с Энди и Лорой?

— Мне кажется, — сказала миссис Доналдсон, — они занимались этим и раньше. Я имею в виду при зрителях.

— Да? У нас это в первый раз, как вы, наверное, догадались. Мы очень неуклюжие?

— Ну что вы! — сказала миссис Доналдсон. — Это и было самое трогательное. Все так... непосредственно.

— Я про Энди хотел спросить. Если сравнить... Вы же понимаете, о чем я?

— О, практически то же самое, — сказала она, покривив душой. А потом услышала, как говорит дальше: — Для сравнения мне надо увидеть их рядом.

— Не заводитесь!

Тут очень вовремя вернулась из ванной Джералдина, миссис Доналдсон пожелала им спокойной ночи и вернулась к себе в комнату, скорее довольная своей нахальной репликой.

Но в остальном событие не показалось ей особенно увлекательным, не было ощущения авантюры, на которое она рассчитывала. Возможно, все это утратило новизну.

Она проснулась под утро, и ей показалось, что девушка плачет.

Через несколько (ничем не примечательных) недель у миссис Доналдсон было утреннее занятие. Она теперь работала буквально с утра до ночи, но поскольку все диагнозы и симптомы она уже изучила, подготовка ее нисколько не утомляла, и она почти всегда знала, что сказать и как себя вести.

Начался новый семестр, шли занятия с первым курсом, миссис Доналдсон мало кого из студентов знала, а Баллантайна, который мог бы помочь, рядом не было. Начальные этапы обучения его всегда интересовали мало. Да, общее невежество обучающихся давало ему бесчисленные поводы для издевательств, которым он был бы рад предаваться, но, начав некогда демонстрировать свое превосходство, он предположил (и совершенно справедливо), что эта сторона его натуры нравится миссис Доналдсон меньше всего. Так что, не рассчитывая на собственную сдержанность, он предпочитал не посещать занятия новичков, тем более, когда — как сегодня — пациентов изображали опытные члены команды. Здесь были Терри с ущемлением грыжи и с очередной возможностью выставить на всеобщее обозрение свои оранжевые трусы, Делия с болью в груди, что могло указывать на сердечный приступ, но должно было оказаться несварением желудка, и миссис Доналдсон с целым букетом смазанных симптомов, которые, по ее мнению, указывали на рак.

В это утро миссис Доналдсон не чувствовала себя на высоте, а перед самым выходом из дома ее даже вырвало. Она приняла пару таблеток, но действие их уже заканчивалось. С Терри и Делией разобрались быстро, и вот уже она лежала на каталке в больничном халате, над ней склонились два студента, а ей было совсем не по себе, у нее даже начались боли в животе.

Внезапно миссис Доналдсон начала бить дрожь, причем такая сильная, словно бедняжку подключили к какому-то агрегату.

— Это мышечная ригидность, — сказала девушка.

— Как это у нее так получается? — сказал юноша. — Поразительно. Посмотри, у нее даже пот выступил.

— Ты не волнуйся, — сказала девушка. — Это, наверное, и есть самая искусная. Мне кто-то из третьекурсников рассказывал. Так, уважаемая, что вас беспокоит? — спросила она, склонившись над каталкой.

— Я заболела, — сказала миссис Доналдсон, стуча зубами. — Меня сегодня утром вырвало. Позовите кого-нибудь. Позовите доктора Баллантайна.

— Всему свое время. Мы вас для начала осмотрим.

Юноша начал неумело ее щупать.

— Постарайтесь по возможности не дергаться.

Он нажал ей на живот так, что она вскрикнула, а он отдернул руку, словно его укусили.

— Черт подери! Не надо так уж переигрывать.

Миссис Доналдсон оставила свою папку на стуле, и девушка, чтобы ускорить процесс, заглянула в нее, чтобы понять, что именно должен обозначать этот букет симптомов.

Сразу многое прояснилось.

— Беспокоиться не о чем, — сказала она. — Это все психосоматика. — И неожиданно заорала миссис Доналдсон прямо в ухо: — У вас нет рака! Это не рак!

— Мне холодно, — прошелестела пациентка. — Можно мне одеяло? Вызовите кого-нибудь на помощь.

— Мы вам и поможем, — сказал юноша. — Видно, она всегда так. Бесподобно.

Миссис Доналдсон трясется от холода, а в животе у нее полыхает пламя. Она смутно припоминает, что когда-то изображала нечто похожее. Напрягшись, она делает девушке знак склониться поближе.

— Думаю... думаю, у меня приступ аппендицита.

— Да? Так это же прекрасно. Хорошо, что не рак.

— Помогите мне.

— Время идет, — сообщил юноша. — Через пять минут я должен быть на обходе. Дорогуша, можете прекращать выступление. Мы все уяснили. Господи, теперь она якобы без сознания. Знаете, мы от вас уходим.

Студенты направляются к двери, но тут девушка возвращается и шепчет миссис Доналдсон на ухо:

— Это не рак. Не рак....

Баллантайн, никуда особенно не торопясь, шел по коридору и столкнулся с мечущейся в истерике Делией, которая за-

шла позвать подругу пить кофе и обнаружила ее на каталке, без сознания и в полном одиночестве.

— Вы — жертва собственной репутации, — сказал Баллантайн, пришедший на следующий день в палату ее навестить. — Но вы оказались совершенно правы. Это аппендицит. Они должны были догадаться по ригидности мышц, да и боль была в хрестоматийном месте. Им нет прощения.

Баллантайн успел несколько раз поужинать с миссис Доналдсон, но даже до нее не дотронулся. А теперь, поскольку она была если не больной уже, то хотя бы выздоравливающей, он счел себя вправе погладить ее по руке — в терапевтических целях.

— Это я во всем виноват. Я должен был быть там. И все же, им это пойдет на пользу — в самом начале карьеры они чуть не уморили пациента. Сегодня утром я обсуждал этот случай на занятиях и сказал...

Баллантайн воспользовался своим положением врача, а миссис Доналдсон воспользовалась положением больной — она, изобразив усталость, прикрыла глаза.

— Вы утомились, — сказал Баллантайн, нехотя отпустил ее руку и перешел на традиционный докторский тон, который он всегда передразнивал, если так начинали говорить студенты. — Постарайтесь отдохнуть. Скоро мы отправим вас домой.

Едва он ушел, явился посетитель поинтереснее — в лице Олли. Он принес букет цветов из сада — две ветки душистого горошка, одуванчик, бирючина и голубиное перо, — который поставил в стакан для полоскания рта и тут же стал рисовать, присев на краешек ее кровати. Он тоже взял ее за руку, и она обрадовалась, что он без Джералдины, которая — миссис Доналдсон это нисколько не удивило — терпеть не могла больниц.

Олли хотел посмотреть шрам и, узнав, что шрам сейчас под повязкой, огорчился — а то бы он и его нарисовал.

— Ничего, — успокоил он миссис Доналдсон, — у нас еще будет время.

И, пообещав содержать дом в порядке, он ушел.

Затем пришла Гвен, и, хотя о недобросовестности студентов ей не сказали ни слова, она с удвоенной энергией принялась уговаривать мать найти другую работу или лучше даже вообще не работать. Ее речи перемежались рыданиями, поскольку, подчеркнула она, прийти сюда ей было особенно тяжело, потому что в последний раз она была здесь, когда умирал отец. Это она пыталась донести до матери, но, как позже рассказывала равнодушно внимавшему ей мужу: “Мама выгля-

дела очень усталой. Пока я там была, она почти все время спала. Да, тут и понимаешь, что она не всегда будет с нами".

Миссис Доналдсон, когда вернулась домой выздоравливать, прежде всего решила не поддаваться искушению и прекратить ночные бдения. После первой и неудачной ночи вероятность, что приглашение повторится, была ничтожна, да и необходимости не было, поскольку Олли заплатил за комнату вовремя и полностью.

Наверное, получив урок бренности жизни, она должна была обратить свои мысли к более достойным вещам, но этого не случилось. Больше всего ее выводила из себя Джеральдина. Ее робость и невыразительность раздражали миссис Доналдсон хотя бы потому, что в ночных дежурствах не было никакого интереса. Да, она порой возвращалась на свой пост, но это увлекало ее все меньше, и однажды она даже задремала посреди действа, которое никак не заканчивалось, а поскольку она знала, что закончится оно протяжным меланхоличным стоном Джеральдины, то предпочла лечь в кровать. К тому же, напомнила она себе, она ведь только что перенесла операцию.

То, что некогда, пусть и недолго, было столь захватывающим, превратилось в рутину — такую же, какой это было при жизни мистера Доналдсона, когда она сама была непосредственной участницей. Ей эти ощущения не нравились — она считала их приметой возраста. Нравственность к этому не имела никакого отношения.

Впрочем, это означало, что она охотно избавится от дежурств у стены, и, когда Джеральдине пришлось уехать в Галифакс к сестре, миссис Доналдсон была рада возможности пораньше лечь спать и почитать на ночь.

В тот вечер она ужинала с доктором Баллантайном, или с Дунканом — так ей было позволено его называть. Он говорил о своей жизни и работе, а когда подали кофе, предложил ей выйти за него замуж.

Она ожидала этого, и, хотя не могла ответить немедленно, сказала заранее заготовленную фразу: мол, она польщена и благодарна, но предложение столь внезапно, что ей бы хотелось все обдумать.

Он был воодушевлен ее неоднозначным ответом и, памятуя об историях про ее взаимоотношения с жильцами, решился на следующий шаг — положил руку ей между ног и предложил, чтобы ей было легче принять решение, провести вместе ночь.

Это также не было неожиданностью, и первым средством защиты был ее недавно удаленный аппендикс и необходимость беречь недавно продырявленную брюшную полость.

Эти сомнения он рассеял, прочитав пространную лекцию о способностях организма восстанавливаться и напомнив, что, помимо вагинально-пенисуального контакта, удовольствие можно получить и другими способами, которые не требуют нагрузки на данную группу мышц.

Этого хода она не предвидела, но на занятиях со студентами научилась реагировать быстро и ответила, что таким доводам трудно противостоять и она согласилась бы, не будь этот день особым, ведь сегодня (вдохновенно солгала она) годовщина смерти ее покойного мужа. И из уважения к памяти Сирила она попросила... Дункана отложить их интимную встречу.

Дункан накрыл ее ладонь своей.

— То, что вы сейчас сказали, вызывает только огромное уважение. Разумеется, мы подождем. Мы должны подождать.

Ложь была безобидной, однако, вернувшись домой и улегшись спать пораньше, она подумала, что, случись это в романе, все непременно бы раскрылось: упомяни он об этом при Гвен, правда вышла бы наружу.

Подумала она и о браке. Ей пришлось бы пойти на серьезные уступки. Она уже пошла на уступки, когда вышла за мистера Доналдсона, впрочем, уступать-то было особенно нечего. Брак с доктором Баллантайном тоже подразумевал уступки, но на сей раз было что терять.

Она читала на ночь и уже собиралась выключить свет, но тут в дверь тихонько постучали.

Это был Олли, в одной футболке.

— Я хотел спросить, не загляните ли вы ко мне?

— Так Джералдины же нету.

— Нету. Ей пришлось поехать в Галифакс. У нее сестра заболела. Придется ей там пробыть неделю, а то и две.

Он ждал.

— Так что скажете?

— К тому же, — ответила миссис Доналдсон, — за комнату вы заплатили. В пятницу.

— Ага. Этот момент я упустил, так что скажете?

Она отложила книгу и взглянула на него поверх очков.

— Ну, не знаю...

— Да? А почему?

— Я как раз на самом конце главы. Но если вы согласны пару минут подождать, я приду.

— Правда?

— Да, — сказала миссис Доналдсон и поправила очки. — Не вопрос.

Мишель Турнье

Зеркало идей

Перевод с французского и вступление Марии Липко

Лови отраженья

"Человеку нужно две ноги, чтобы ходить, и две руки, чтобы как следует ухватиться". Это очевидное утверждение послужило отправной точкой для "Зеркала идей" — небольшого философского трактата, автор которого предлагает познавать мир при помощи... зеркала.

Согласно Турнье, человеческая мысль опирается на конечное число ключевых понятий, при этом у каждого из них есть пара, своего рода антидвойник, ничуть не лучше и не хуже "оригинала". Противопоставление внутри такой пары поможет если не разгадать, то хотя бы приоткрыть сущность обоих понятий, убежден Турнье. Так, торс быка проступает отчетливее на фоне лошадиного крупа. Благодаря вилке мы прозреваем скрытую в ложке материнскую нежность. "Лунность" луны заметнее всего при ярком солнечном свете и т. д. Таким образом, Турнье разбивает на пары и рассматривает более сотни понятий, двигаясь от конкретных к абстрактным. Но чем конкретней предмет, тем неожиданней выводы, к которым приходит Турнье... Философия на пустом месте? Нет. Ведь зеркало только кажется плоским.

Вы играли в детстве в галерею зеркал? Берешь ручное зеркальце (приученное, привыкшее к рукам — верти им и так, и сяк) и подносишь к на-

© Mercure de France, 1994, 1996
© Мария Липко. Перевод, вступление, 2013

стенному (к тому, что лишь терпит неволю, заключенное в раму). И в зеркальной глуби, насколько хватает глаз, выстраивается галерея — зеркало в зеркале в зеркале... Ловишь маленьким зеркалом большое (или большим — маленькое?), и все глубже становится ребристая глотка зеркального Левиафана. Считаешь по ребрам-ободкам — еще одно, и еще, — а когда зеркалам наконец надоест отражаться, маленькое, так и не решив вечный спор (кто первый начал), плеснет напоследок хвостом и уйдет на дно.

Такая же галерея зеркал видится мне и у Турнье. Или, лучше сказать, галерея отзвуков: сам позвал — сам ответил. "Зеркало идей" насыщено цитатами, отсылками, аллюзиями; автор то и дело обращается к Бергсону и Башляру, перефразирует Понжа, приводит Бодлера и Валери, в ход идут пословицы и афоризмы — а между делом нет-нет да и покажется сам Турнье. Вначале под своим настоящим именем (первый, отчетливый, отзвук), затем под псевдонимами (эхо звучит слабее — для тех, кто знает) и наконец — прикрывшись глаголами (почти беззвучное **tourn**ent au**tour**). Та самая плеснувшая хвостом рыбка: отражение — или только кажется?

Читатель Турнье невольно становится ловцом отражений. Приходится быть настороже. Уже в первом эссе соседствуют — в виде цитат — два совершенно несовместимых Маркса — тот, который Карл, и тот, который американский актер-комик, Граучо. Чуть дальше Турнье, будто бы оговариваясь, путает chat-qui-pêche и chat-qui-pelote (улицу Кота-рыболова с Домом кошки, играющей в мяч). Затем, убедившись, что читатель расслабился, погружает в Иордан сначала Бегемота, затем Христа. Да-да, а зеркало-то кривое...

В этом зеркале искажается сама идея трактата. Ведь что такое трактат, если не научное сочинение? Вот и Турнье, якобы следуя традициям жанра, дает определения, разносит по разрядам, составляет списки характеристик (вилка — колющий инструмент, лошадь — загибаем пальцы — умеет лягаться, скакать, тащить телегу). Но — врет, врет, да и оборвется, ввернув в сухую "научную" фразу такое словцо... Взять хотя бы ту же лошадь, которая, согласно Турнье, — "единственное млекопитающее, которое даже испражняется... с чувством". С чувством — потому что лошадь для этого задирает хвост (а она всегда задирает хвост, когда на взводе). С чувством — потому что лошадь почти человек и способна чувствовать. С чувством — потому что от души: конские яблоки являются не по одному и не по два, а сразу горкой. Эдакая пародия на красочный слог натуралиста Бюффона.

Смешно, но над этой фразой (над смыслом оригинала и переводом) на "фабрике переводчиков" в Арле ломали головы восемь человек. И это только на семинаре, а сколько людей было вовлечено в орбиту... Рассуждения о навозе не прошли мне даром. На публичные чтения переводов Турнье не приехал, но послал мне весточку — вполне в своем духе.

В одной из своих книг Турнье писал: "Как приятно, когда тебя читают руками — трогают слова, нашаривают знаки препинания, пробуют на ощупь глаголы, берут двумя пальцами эпитет, гладят всю фразу... Трогают

слова". И вот пожалуйста: на самом патетическом пассаже надо мной пролетает стайка галок и орошает меня сами знаете чем. По каменным стенам отвесно падают тени (надеюсь, в птичий Аид), и паршивки скрываются из виду. Встряхиваю папку — не конские ябдоки, конечно, но намек понят — и продолжаю читать в буквальном смысле слова наощупь. Нет, Турнье не откажешь в чувстве юмора.

Что ж, и я, в свою очередь, не удержалась от шутки и написала на автора трактата пастиш, противопоставив, в духе Турнье, два близких с виду, но таких различных по сути плода — вишню и черешню.

Вишня и черешня
Пастиш

Если человека, знакомого с трудами Мичурина, но никогда не видевшего ни черешни, ни вишни, угостить их плодами, он наверняка скажет, что черешня — это культурная форма вишни: нет сомнений, садоводы изрядно потрудились, чтобы получить такую сочную и сладкую мякоть. Но оказывается, как раз вишня произошла от черешни, а не наоборот. Полагают, что черешня была известна уже за восемь тысяч лет до нашей эры. В природе она растет крупным деревом, ее стволы бывают выше сосен. Быть может, за это черешню и прозвали "птичьей вишней": только птицы могут добраться до ягод, растущих на такой высоте.

Если стройная и статная черешня — подлинное украшение сада, то вишня, по определению Бунина, — дерево некрасивое, корявое, с мелкой листвой и мелкими же листочками. Она гораздо ниже черешни, но зато и неприхотливей — выдерживает сорокаградусные морозы, тогда как черешня растет только в южных областях. Под стать дереву и плоды: кисловатые у вишни, сладкие, а то и приторные — у черешни. Вишня оставляет во рту терпкое, почти горькое послевкусие. Поэтому сад из чеховской пьесы — вишневый и только виш-не-вый, и никак не *Cerisaie*[1].

Несмотря на то что слово "черешня" ведет свою историю от города Керасунда, где древние римляне впервые обнаружили плоды этого дерева (ставшие называться cerasi, или керасундскими плодами), в нем так и видится "черешок", на котором держится ягода. Черешню в роток, черешок — за порог. Еще прозрачней кажется этимология "вишни", ягоды которой "висят" на ветках наливными подвесками. Для милого дружка — даже вишенку с ушка.

1. Так во Франции переводят название чеховской пьесы: "Черешневый сад".

Дон Жуан и Казанова

ОБРАЗЫ двух великих соблазнителей западной культуры. Дон Жуан родом из классической Испании, Казанова – из романтической Венеции, двух совершенно разных миров. Когда Тирсо де Молина писал в 1630 году свою незатейливую комедию, он и не подозревал, что творит один из величайших мифов современности. Дон Жуан сойдет со страниц "Севильского озорника" и шагнет в другие комедии, оперы, романы. Мифическим персонажам тесно в родной колыбели: они обретают такой размах и глубину, какие их автору и не снились. Судьбу Дон Жуана позднее разделили Робинзон Крузо и Вертер.

Секс для Дон Жуана – это анархическая сила, бросающая вызов порядку, общественному, нравственному, а главное, религиозному. Комедии, где появляется этот персонаж, напоминают псовую охоту: Дон Жуан играет там роль оленя, за которым мчится свора женщин, благородных отцов, обманутых мужей и кредиторов. Заканчивается этот гон на кладбище, где знаменитого самца окружают с победным кличем и предают смерти.

И все же катастрофы бы не случилось, не беги Дон Жуан ей навстречу. Подавая милостыню с условием, что нищий хоть немного побогохульствует, Дон Жуан выказывает свою веру, подобно революционерам, топтавшим святые облатки. Похожая мысль не пришла бы в голову подлинному безбожнику. И когда в конце Дон Жуан принимает пожатье каменной десницы, которая увлечет его в преисподнюю, этот символический жест означает согласие.

Ничто лучше не раскрывает природу Дон Жуана, чем его взгляд на женщину. Считается, что он не любит женщин, презирает их. Он смотрит на них как на дичь, и реестр его любовных побед, которым ведет счет слуга Лепорелло, не что иное, как охотничьи трофеи. Дон Жуан бессмертен: по его стопам идет шпана с окраин, чей излюбленный спорт – "снимать девчонок". Но для Дон Жуана секс неотделим от религии. Женщина – великая искусительница, и мужчина обрекает себя на погибель, не в силах устоять перед ее прелестями.

Если Дон Жуан богат и знатен, то у Казановы нет ни титула, ни денег, и в деле обольщения он полагается лишь на собственные чары. Он даже не красавец – но женщины не могут ему противиться, ведь они с самого начала знают, что Казанова любит их и телом, и душой. Odore di femmina – запах женщины, воспетый в опере Моцарта, – скорее обратит в бегство героя Тирсо де Молины, который легко примет его за гарь адской се-

ры. Зато Казанова вдыхает его полной грудью, ибо для него это запах самой жизни. И будь он хоть трижды авантюрист, бродяга, игрок, шулер, неисправимый ветреник, его все равно любят, ведь и он любит женщину целиком, со всем ее естеством.

Самый яркий эпизод из жизни Казановы не нашел отражения в его "Мемуарах", а может, его и не было вовсе. Известно, что в 1786 году Моцарт встречался в Праге с либреттистом Лоренцо да Понте, уроженцем Венеции, чтобы начать работу над оперой, которую они должны были поставить в следующем году. В то же время записи, найденные в бумагах Казановы, наводят на мысль, что и он был с ними в Праге в роли консультанта. И уж, конечно, его заслуга, что от оперы Моцарта так и веет счастьем (это drama giocoso, веселая драма), и пресловутый odore di femmina — его рук дело.

ЦИТАТА

В полифонии Моцарта так и слышится сталь, нечто чрезвычайно твердое и гибкое за совершенной плавностью. Так, в конце первого действия Дон Жуан сгибает шпагу, показывая, что не отступит перед хором жалоб, сожалений и угроз.

Пьер Жан Жув

Бык и лошадь

БЫК — это бог мужественности. Пасифая, жена критского царя Миноса, воспылала неудержимой страстью к белому быку. Великий умелец Дедал соорудил для нее медную корову, и Пасифая забралась в коровье нутро, чтобы чудовищный любовник смог покрыть ее, не раздавив. От этих утех родился Минотавр, получеловек-полубык. В каждой женщине дремлет Пасифая.

У быка выдаются не только гениталии, но и плечи. В них вся его сила. От плеча идет удар рогом, на плечи ложится вся тяжесть ярма. А вот круп у быка хилый, вяловатый. Когда бык разворачивается, осью поворота служат передние ноги, тогда как задние лишь послушно описывают вокруг них дугу.

Самке быка отводится еще более значимое место в мировой мифологии. Она воплощение материнства, прирожденная кормилица. Корова = мать + природа. Вот почему, если смерть быка на корриде обставляют торжественно, как жертвенный ритуал, то забой коровы на бойне, напротив, отдает

не столько злодейством, сколько гнусностью. Только волу — в котором, в отличие от быка или коровы, нет ни мужского, ни материнского начал, — положено быть на бойне.

Вся суть лошади — в крупе. Пышный зад и длинная грива превращают ее в богиню женственности. Все в ней идет от крупа, лягается ли она, пускается вскачь или трогает с места телегу. А навоз? Ведь лошадь — единственное млекопитающее, которое возвело испражнение в ранг действа. Кроме того, в животном мире только у лошади есть ягодицы, и это сближает ее с человеком, как ни одно другое животное. Чтобы развернуться, лошадь вертится вокруг собственного крупа, переступая передними ногами. Ее резвость вошла в пословицу, ее главное оружие — быстрый бег. В португальской корриде тореро сражаются верхом, и просто диву даешься, глядя, как лошади увертываются от бычьих рогов в тесном пространстве арены.

Осел и вол — конь и бык для бедных. Осел олицетворяет собой смирение, безмолвную мудрость и тихую преданность. Но и осел берет свое, если ему предлагают покрыть кобылу. От случки осла с кобылицей рождается мул — животное, как известно, неприхотливое и выносливое, но не способное к размножению. От случки жеребца с ослицей рождается лошак. Но скрещивать их не рекомендуется: ведь если кобыле ничего не стоит родить осленка, то ослица, которая произвела на свет жеребенка, — настоящая мать-героиня.

Вол и осел при Вифлеемских яслях символизируют бедность. Кони волхвов, напротив, свидетельствуют о богатстве хозяев, и везут они золото, ладан и мирру. Бык во времена Иисуса был священным животным митраизма — религиозного культа, который в Средиземноморье долгое время соперничал с христианством.

ЦИТАТЫ

Бык, говорит еще Сендер в "Нанси"[1], — единственное животное, которое бросается на идущий локомотив.

Серж Костер *На правах проезжающего*

— Ну, милая, посмотрим, кто кого.

Теплые отношения, связавшие командира и его лошадь, не знали противоестественных излияний, слюнявых нежностей и

1. Рамон Хосе Сендер (1901–1982) — испанский писатель. По-видимому, речь идет о "Послесловии к Нанси: под знаком быка". (*Здесь и далее – прим. перев.*)

прочих проявлений карикатурной любви, царящей между старыми девами и их пекинесами, на которых хозяйки выплескивают помои не растраченных в молодости чувств. Это был прежде всего бой, из которого — и кобыла это знала — ей не выйти победительницей; впрочем, ей даже хотелось проиграть; она пробовала проказничать, пускалась на разные уловки, впадала в ярость и к концу схватки приходила в состояние какой-то полуобморочной покорности и полной истомы, которое доставляло удовольствие им обоим.

Поль Моран *Миледи*

Кошка и собака

КОШКА и собака — самые домашние из всех животных, иными словами, больше других привязанные к дому. Но привязаны они по-разному.

Говорят, что кошка — это комнатный тигр, хищник в миниатюре. Конечно, она далеко не так послушна хозяйской воле, как собака, и куда правильнее было бы звать кошку не домашней, а прирученной. В чем разница между животными домашними и прирученными? Первые появляются на свет в доме. Вторые рождаются на воле, и лишь позднее их приводят жить в дом. Известно, что кошки предпочитают котиться на улице и только затем перетаскивают детенышей в человеческое жилье.

Независимость кошки от человека проявляется в сотне мелочей, скажем, в ее равнодушии к сахару и сладостям, по которым сходят с ума собаки, — но главное, кошка отказывается усваивать навыки, полезные человеку. Жан Кокто говорил, что кошки нравятся ему больше собак, потому что никто еще не видел кошки-ищейки. Как, впрочем, и кошки-пастуха, кошки-поводыря, кошки охотничьей, цирковой, упряжной и т. д. Кошка будто гордится своей бесполезностью, что ничуть не мешает ей претендовать на лучшее место у очага, в обход собаки. Кошка — это украшение, излишек.

А еще это одиночка. Она избегает своих собратьев, тогда как собака, напротив, жаждет общества себе подобных.

Собака страдает от чрезмерной преданности человеку. Хозяин порой позорит своего питомца, принуждая его ко всяким низостям. Хуже того: заводчики будто нарочно плодят уродов, пуская в ход все премудрости генетики, чтобы вывес-

ти породу почудовищней. После такс — из-за своих крошечных лапок больше похожих на змей — и бульдогов — которые не дышат, а задыхаются — человек выдумал немецких собак-пастухов с низко посаженным задом, левреток, вечно трясущихся, как в лихорадке, лысых собак и т. п. Судя по всему, изъяны эти служат лишь для того, чтобы вызывать у хозяев регулярные приступы сострадания — было бы кого жалеть и опекать.

Люди делятся на кошатников и собачников — редко в ком сочетаются оба пристрастия. Так и видишь, как собака скачет перед дверью — поскорей бы открыли, и вперед, завоевывать улицу. Не человек выгуливает собаку, а собака человека. Он же под предлогом прогулки с питомцем сует нос во все углы и подворотни — рядом с домом, в поле, в окрестном лесу. Благодаря острому нюху — которого нет у кошки — собака улавливает запахи на расстоянии, но человек будто присвоил себе собачий нос.

В отличие от собаки, кошка превращает хозяина в домоседа: как заманчиво прикорнуть под лампой или у камелька. Она приглашает не к дреме, а к медитации. Кошка гнушается ненужной суетой — не потому что ленива, а потому что мудра. Собака сначала делает, потом думает, кошка — наоборот.

ЦИТАТА

Псу живому лучше, нежели мертвому льву.

Книга Экклесиаста

Охота и рыбная ловля

ОХОТА и рыбная ловля наравне с собирательством служили первобытному человеку единственными источниками пропитания. Собирательство сменилось земледелием, охота — скотоводством. И только рыбная ловля по-прежнему остается промыслом, поскольку моря покрывают 70,8 % земной поверхности. Но и она переживает сегодня упадок. Уже установлены квоты на вылов рыбы, а значит, теперь человеку не миновать рыбоводства.

Но мы продолжаем охотиться и рыбачить спорта ради, причем занятия эти привлекают людей совершенно разного склада. Мало в ком уживаются рыбак и охотник. В охоте есть агрессивность, которая тем заметней, чем ближе развязка

ритуального действа. Псовая охота с ее древним церемониалом составляет привилегию аристократов и даже королей. Король непременно охотник и никогда — рыбак. Рожки доезжачих, рев гончей стаи и красные одежды ловчих превращают псовую охоту в жестокое, но роскошное зрелище. Не отстает от псовой и ружейная охота, которой придают зрелищности треск и пальба. Охотник — это деятель, живущий сиюминутным. Он бравирует своей мужской силой и мнит себя королем леса.

Ловле рыбы, напротив, сопутствует тайна и тишина. Никто не знает, что там, в глубине, что творится под зеркалом вод. Бывают собаки охотничьи, но нет собак-рыболовов, хотя некоторые породы обожают купаться. Но ни лабрадор, ни ньюфаундленд не поплывут ловить рыбу, даром что искусные пловцы. Природа порой бывает жестока. Она устроила так, что кошка — большая охотница до рыбы — испытывает непреодолимое отвращение к воде. Никто еще не видывал, чтобы кот удил рыбу, — что бы там ни говорило название прославленной Бальзаком парижской улочки[1]. Словно желая окончательно отделить охоту от рыбалки, человек не охотится на морских птиц. Они питаются рыбой, и мясо у них несъедобное.

Охотник гордится своим столом, на котором лежит не простецкое мясо, а благородная дичь. Место говядины, крольчатины, курятины, свинины на нем занимает жаркое из оленя, зайца, фазана и кабана. Дичина отдает чем-то терпким и резким, переходящим в душок, когда мясо выдерживается. Улов же, напротив, должен быть только первой свежести.

Рыбак склонен предаваться мечтам и медитации мистического толка. Его царство исполнено сумрака и глубины. Это созерцатель, живущий переживаниями. Заметим, что ветхозаветный Исав, страстный охотник, уступил своему братублизнецу Иакову дар первородства, обменяв его на миску простой чечевичной похлебки. В Евангелиях пруд пруди рыб и связанных с рыбной ловлей сюжетов, но ни один из текстов не упоминает охоту. Апостолов называют "ловцами человеков", ведь, проповедуя слово Божье, они точно забрасывают невод, чтобы собрать и спасти себе подобных. Кроме того, рыба некогда была условным знаком, по которому отличали друг друга первые христиане, а также акронимом Христа.

1. Речь идет об Улице кота, удящего рыбу, — выходящей на Сену узенькой улочке, название которой, по-видимому, произошло от вывески, изображавшей этого самого кота-рыболова. Но автор поддразнивает читателя, устраивает ловушку для мнимого всезнайки: на самом деле, известный роман Бальзака называется "Дом кошки, играющей в мяч".

Но вдруг на другой стороне долины показались олень, лань и с ними их детеныш — теленок.

Олень был весь черный, огромного росту, с шестнадцатью отростками на рогах и белой бородою; лань, бледно-желтая, цвету осеннего листа, щипала траву, а пятнистый детеныш, не останавливая ее, на ходу сосал ее вымя.

Снова натянулась и завыла тетива самострела... Теленок тотчас был убит. Тогда мать, подняв глаза к небу, затосковала громким, раздирающим, человеческим голосом. Юлиан, в бешенстве, выстрелом прямо в грудь повалил ее на землю.

Старый олень все это видел и прыгнул к нему навстречу. Юлиан пустил в него свою последнюю стрелу. Она вонзилась ему в лоб и осталась на месте. Старый олень словно не почувствовал ее; перешагнув через трупы, он все приближался и, казалось, готовился ринуться на Юлиана и вскинуть его на рога. Юлиан в невыразимом страхе попятился назад. Но дивное животное остановилось — и, сверкая глазами, торжественно, как патриарх, как судия, между тем как вдали звякал колокол, — трижды провозгласило:

— Проклят! проклят! проклят! Придет день — и ты, свирепый человек, умертвишь отца и мать[1]!

Гюстав Флобер *Легенда о святом Юлиане Милостивом*

Ванна и душ

В своих сокровенных отношениях с водой мы должны выбирать между священными образами двух гигантов, двух мифических толстокожих — Бегемота и Ганеши.

В восторженном описании Бегемота, которое дает нам Книга Иова, нетрудно узнать гиппопотама. Он водится в глубине болот, под кровом тенистых ив. Он спит среди лотосов и тростника. Ему не страшен разлив реки, хотя бы воды Иордана устремились к ноздрям его.

Ганеша, бог с головой слона, поливает себя водой из хобота, чтобы вымыться и освежиться. Это некое активное начало, к которому надлежит взывать перед всяким делом. У ног Ганеши — крыса, самое неутомимое из животных. Ганеша и

1. Перевод И. С. Тургенева.

Бегемот противоположны друг другу, как противоположны действие и мечта или душ и ванна.

Вы за душ или за ванну? Мы не преувеличим, сказав, что в этом выборе раскрывается характер человека.

Так, говорите, за ванну? Допустим. Вы избрали горизонтальное положение. Вы лежите неподвижно, в мечтах, отдавшись теплой, душистой, пенной — и, стало быть, мутной, а то и вовсе непрозрачной — воде. Вы закрываете глаза. Но берегитесь! Вы беззащитны, уязвимы, открыты всем напастям. Шарлотта Корде заколола Марата, когда он принимал ванну. Если бы Марат мылся под душем, он бы сумел постоять за себя!

Более того: ваше развитие пошло вспять. Вы снова зародыш, плавающий в околоплодных водах. Ванна — это мамин живот, теплый уголок, укромный и уютный. При мысли, что оттуда придется выходить, вы испытываете тревогу — и все оттягиваете эти роды, которые выбросят вас, дрожащего, голого, мокрого, на холодный и твердый кафель пола.

И наоборот, в душе человек моется стоя. Прозрачная вода хлещет его по плечам и гонит навстречу новому дню с его трудами и заботами. Он энергично скоблит себя куском мыла, растирается, как спортсмен на разминке. Ему интересно собственное тело. Он не прочь поглядеть на себя в зеркало.

В идеале душ — это горный поток, рожденный в белизне вечных снегов, водопад, срывающийся со скалы в долину. Реклама минеральных вод охотно играет на этой мифической силе и чистоте. Испил такой воды — и точно промылся весь, окрестил себя изнутри. Ведь бегущая из-под душа чистая вода обретает значение крестильной. Иоанн Креститель крестил Иисуса в водах Иордана — но, как показывает иконография, не погружением, а омовением. Под душем грешник смывает с себя скверну и возвращает своему телу первородную невинность. Именно за чистотой — со всем ее нравственным ореолом — и гонится человек, вставая под душ; для купальщика, принимающего ванну, это дело десятое.

Вы, конечно, уже и сами догадались: с точки зрения политики, душ находится слева, ванна — справа.

ЦИТАТА

Слоны

Краснеющий песок, пылающий от века,
Как мертвый океан, на древнем ложе спит;
Волнообразными извивами закрыт
Медяный горизонт: там область Человека.

Ни звука; все молчит. Пресыщенные львы
Попрятались в горах лениво по пещерам;
И близ высоких пальм, так памятных пантерам,
Жирафы воду пьют и мнут ковер травы.

И птица не мелькнет, прорезав воздух сонный,
В котором царствует диск солнца, весь в огне.
Лишь иногда боа, разнеженный во сне
Лучами жгучими, блеснет спиной червленой.

Но вот, пока все спит под твердью огневой,
В глухой пустынности, — пески, холмы овраги, —
Громадные слоны, неспешные бродяги,
Бредут среди песков к своей стране родной.

Как скалы темные, на сини вырастая,
Они идут вперед, взметая красный прах,
И, чтоб не утерять свой верный путь в песках,
Уверенной пятой уступы дюн ломая.

Вожак испытанный идет вперед. Как ствол
Столетний дерева, его в морщинах кожа,
Его спина на склон большой горы похожа,
Его спокойный шаг неспешен и тяжел.

Не медля, не спеша, как патриарх любимый,
Он к цели избранной товарищей ведет;
И, длинной рытвиной свой означая ход,
Идут за вожаком гиганты-пилигримы.

Их сжаты хоботы меж двух клыков больших;
Их уши подняты, но их глаза закрыты...
Роями жадными вокруг жужжат москиты,
Летящие на дым от испарений их.

Но что им трудный путь, что голод, жажда, раны,
Что эти жгучие, как пламя, небеса!
В пути им грезятся далекие леса
И финиковых пальм покинутые страны.

Родимая земля! В водах большой реки
Там грузно плавают с мычаньем бегемоты,
Туда на водопой, в час зноя и дремоты,
Спускались и они, ломая тростники...

И вот, с неспешностью и полны упованья,
Как черная черта на фоне золотом,
Слоны идут... И вновь недвижно все кругом,
Едва в пустой дали их гаснут очертанья.

Леконт де Лиль[1]

Ива и ольха

ЛЮБАЯ растительность в точности отражает среду, которую населяет, — вернее говоря, обводненность этой среды. В странах, обильных теплыми водами, произрастают сочные травы, в пустынях — колючие кустарники, в холодных и влажных регионах — мхи.

Что ольха, что ива растут близ воды, но во́ды эти совсем не схожи по духу. Ольха — древо мертвых и печальных вод. Ольха, чернеющая в тумане, — вот единственная вертикаль северных равнин. Ее время года — осень, рыба — карп, немой обитатель илистых заводей. Она отдает предпочтение торфяным и болотистым почвам. Ольховая кора — если прибавить к ней железные квасцы — дает черный краситель, который используют в шляпном деле. Из ольхи получается лучший древесный уголь. Кора ольхи — известное вяжущее средство.

Ольха вошла в поэзию и музыку благодаря Гёте и Шуберту. Но все началось с недоразумения. Иоганн Готфрид Гердер, собиратель скандинавских преданий, переложил на немецкий язык легенду о короле эльфов, крадущем детей. Своим содержанием этот "Elfenkönig"[2], пожалуй, и не привлек бы внимания Гёте. Но поэт случайно прочел "Erlenkönig" (ольховый король), и его воображение разгорелось при мысли об этом зловещем дереве. Гёте посвятил ему свою знаменитую балладу, которую спустя несколько лет положил на музыку Шуберт.

В отличие от ольхи, ива купает корни в прозрачных реках. Это древо живых и певучих вод. Его время года — весна, рыба — форель, которой Шуберт посвятил один из своих самых известных квартетов. Тем не менее ива тоже по-своему связана со смертью. Вошло в традицию сажать над могилой плакучую иву. Но в том, как сбегают вниз ее легкие ветви, видишь скорее тихую, светлую грусть. Воплощением такой смерти

1. Перевод С. Великовского.
2. "Король Эльфов" (*нем.*).

можно назвать Офелию (из шекспировского "Гамлета"). Отчаявшись, она бросается в реку, но смерть ее благозвучна, благоуханна: над водой струится тихий напев, по воде несет теченьем цветы.

Ива подарила человеку лекарство на все случаи жизни, секрет которого до сих пор ставит медицину в тупик: это ацетилсалициловая кислота, больше известная как аспирин.

ЦИТАТА

Лесной царь[1]

Кто поздний верховый под ветром ночным?
То едет отец с малюткой своим.
Он мальчика верною обнял рукой,
Его прижимает и греет собой.

– Сынок мой, что жмёшься ты, взоры вперя?
– Отец, иль не видишь ночного царя?
Лесного царя, что в короне, с хвостом?
– Сынок, то полоска в тумане густом.

"Ребёнок милый, пойдём за мной:
Мы чудные игры затеем с тобой.
Долина цветами пестро́ поросла,
Одежд золотых моя мать припасла".

– Отец мой, отец, или ты не слыхал,
Что́ шепотом царь мне лесной обещал?
– Не бойся, мой мальчик, покоен будь ты:
То ветер сухие тревожит листы.

"Иди же, прелестный малютка, скорей:
Я дам тебе в няньки моих дочерей, –
Мои дочери станут ночною порой
Плясать и, баюкая, петь над тобой".

– Отец мой, отец, иль не видишь и сам
Лесного царя дочерей ты вот там?
– Сынок мой, сынок, я давно разглядел:
То ряд старых ветел во мраке так бел.

1. В оригинале – "Ольховый король". Перевод А. Фета.

"Люблю тебя, сердцу ты мил моему;
Коль сам не пойдёшь, я насильно возьму".
— Отец мой, отец, вот меня он схватил, —
Лесной царь, я чувствую, мне повредил!

Отцу стало страшно, он гонит коня,
Он мальчика держит, что дышит, стеня, —
Насилу достиг он двора своего...
Ребёнок был мёртв на руках у него.

Гёте

Соль и сахар

У соли и сахара много общего. Что в солонке, что в сахарнице — белый порошок, почти одинаковый с виду. Их не употребляют в чистом виде, но только в составе приправленной ими пищи. Соль и сахар сохраняют еду от порчи и служат для заготовок: первая — мяса и рыбы (солонина), второй — плодов и ягод (варенье).

Можно прибавить, что у этих приправ четко разграничено происхождение: у соли — это море и соляные копи (соль морская и каменная), у сахара — сахарный тростник и свекла. Каменная соль тысячелетиями служила предметом торговли, ради которой африканский континент бороздили бесконечные караваны верблюдов. Что же до морской соли, нужно уточнить следующее: на океанских солеварнях из литра воды получают двадцать пять граммов соли, на средиземноморских — тридцать. Хотя соль и нельзя назвать пищей (она не содержит ни одной калории), без нее не обходится ни один живой организм. Нехватка соли вызывает серьезные заболевания и особый солевой голод, крайне настойчивый.

Долгое время основным источником сладости в западной пищевой культуре был мед. Сахар получил широкое распространение лишь в XVI веке, когда сахарный тростник начали массово разводить в тропической Америке. Занимались этим чернокожие рабы, о чем, кстати говоря, и по сей день напоминает коричневый цвет тростникового сахара. Когда в ответ на континентальную блокаду англичане развернули контрблокаду, Наполеон распорядился наладить повсеместное производство сахарной свеклы (1811), благо Франц Ахард, немецкий физик французского происхождения, открыл метод ее промышленной переработки. Свекловичный сахар белого цвета.

Если соль — символ мудрости, которую принято соотносить со зрелыми годами, то сахар, особенно в виде конфет и сладостей, отсылает нас к детству. От самого слова "кондитерская" так и веет детским простодушием Кандида. Этим и объясняется, почему на континенте с утра едят совсем не то, что в англосаксонских странах. Английский завтрак — это завтрак взрослого человека, которому надо как следует подкрепиться перед долгим рабочим днем; в его меню входит ветчина, яичница с беконом, селедка и т. д. В Европе же человек, вставший утром с постели, подобен младенцу: он только что явился на свет. Новый день всякий раз возвращает его в раннее детство. А раз так, то и первый прием пищи должен быть детским и состоять из молока и шоколада, варенья и меда, бриошей и круассанов. Не хватает только соски.

Диетологи сходятся во мнении, что в среднем человек злоупотребляет как сахаром, так и солью, поглощая их сверх суточной нормы. Эта несдержанность — штрих к психологическому портрету современника, который не приемлет зрелости и "уходит в безответственность", детскую (сахар) и одновременно старческую (соль).

ЦИТАТА

Сахар был бы слишком дорог, если бы растение, из которого он получается, не возделывалось рабами. Люди, о которых идет речь, черны от головы до пят, и нос у них до такой степени приплюснут, что жалеть их почти невозможно. Нельзя себе представить, чтобы бог — существо очень мудрое — вложил душу, и при том хорошую, в совсем черное тело[1].

Монтескье *О духе законов, 1748*

Вилка и ложка

На первый взгляд, вилка — буквально говоря, маленькие вилы — похожа на кисть руки. Но это лишь видимость, ведь у каждого из пальцев руки свой характер, все они обладают хватательной способностью, а главное, к

1. Перевод А. Горнфельд.

четырем пальцам, смотрящим в одном направлении, прибавляется пятый, стоящий особняком, — большой. Как много значит для человека этот пятый палец, способный противостоять четырем остальным. Поль Валери видел в нем символ разумного сознания. У вилки же большого пальца не хватает, так что это, если угодно, ручка, но с четырьмя одинаковыми пальцами, лишенная способности хватать.

На самом деле, вилка предназначена для того, чтобы накалывать твердую пищу. Это колющий прибор. Но если ее перевернуть, то окажется, что вилкой можно еще и подбирать небольшие кусочки, вроде как ложкой, только решетчатой, а можно — давить их в пюре на дне тарелки.

Напрасно этимологи уверяют нас, что слово *cuiller* (ложка) происходит от латинского *cochlea*, обозначающего раковину улитки, — его близость с *cueillir* (собирать) настолько очевидна, что не выбросишь из головы. В ложке и вправду есть какая-то собранность (*recueillement*), погруженность в себя...

Ложка неотделима от вечернего супа. Суп — это хлеб, который макают в овощной бульон, когда вся семья собирается за столом после трудового дня. Ложки принимаются за работу. Если суп густой, ложка стоит. Если обжигающий — его шумно втягивают с ложки вместе с холодным воздухом.

В вилке есть что-то дьявольское. Сатану нередко изображают с вилами в руках, которыми он, видимо, подталкивает грешников в пекло. Если ложку придумали вегетарианцы, то вилка, напротив, служит символом мясоедения. В старину во Франции держали харчевни под названием "По воле вилки". Это означало, что за один су можно было наудачу ткнуть вилкой в котел — что наколешь, то и твое.

Ложка, в отличие от вилки, бесхитростная, ей не промахнешься. Она плавно скользит по глади супа, снимает пенку — беззлобно. Ее округлость, вогнутость, плавность вызывают в памяти образ матери, которая терпеливо и ласково кормит кашкой свое дитя — ложечку за маму, ложечку за папу.

У вилки и у ложки есть свой сочельник. Ложка символизирует долгую и светлую ночь перед Рождеством. На вилке держится короткое и шумное новогоднее застолье.

ЦИТАТА

Не хвались, зачерпнув, а хвались, проглотив.

Средневековая пословица

Подвал и чердак

В каждом правильном доме есть подвал и есть чердак. В этих пограничных пространствах одинаково темно, но темнота в них совсем разная. В подвал свет сочится сквозь узенькое окошко, из сада или с улицы; это свет земной, земляной, почти не знающий живых солнечных лучей — нечистый, рассеянный, приглушенный. А вот чердачное окно открывается прямо в небо, в синеву, облака, луну, звезды.

И все же подвал — это место жизни, а чердак — место смерти. Чердаки всегда похожи на небесные балконы, с которых, как писал Бодлер, давно умершие годы склоняются в робронах полинялых. На чердаке пахнет пылью и увядшими цветами. Там можно найти детскую коляску, покалеченных кукол, дырявые соломенные шляпы, пожелтевшую книгу с картинками, газеты, прославляющие бесконечно далекую современность. На чердаке бывают страшные перепады температуры: летом тут можно спечься, зимой — околеть. Осторожней ворошите нутро дремлющих здесь чемоданов и сундуков: не разбудить бы ненароком постыдную семейную тайну.

Если лестница, которая поднимается на чердак, сухо поскрипывает под ногой, деревянная, легкая, то от той, что спускается в погреб, холодной, каменной, влажной, тянет плесенью и жирной землей. Там круглый год держится постоянная температура, и зимой как будто тепло, а летом прохладно. Чердак обращен к прошлому, его дело — хранить и помнить, а в погребе зреет грядущее время года. Под сводом покачивается косица лука-шалота, в бутылках, разложенных по ячейкам стеллажа, выдерживается вино. В углу мрачно поблескивают заготовленные на зиму угольные брикеты. Напротив высится тусклая груда картошки. На полках выстроились банки с вареньем и пьяной вишней. В погребе нередко можно увидеть столярную или гончарную мастерскую, в которой отец семейства проводит воскресные дни.

...Те, кто пережил войну, до сих пор помнят, что только в подвале можно было укрыться от бомбежек. А те, кому во время Освобождения было двадцать, танцевали в подвальных кабачках Сен-Жермен-де-Пре.

Да, каждый погреб таит в себе обещание сокрытых чудес. Здесь берет начало живой корень дома. А на чердаке парят его воспоминания, его поэзия. Символ погреба — крыса, са-

мое живучее из млекопитающих, тогда как символ чердака — сова, птица Минервы, богини мудрости.

ЦИТАТА

В десять лет мы искали приюта под стропилами чердака. Мертвые птицы, разверстое нутро сундуков, затейливые платья: будто попал за кулисы жизни.

Антуан де Сент-Экзюпери *Южный почтовый*

Вода и огонь

И вода, и огонь тесно, но каждый по-своему, связаны с жизнью. Мы чувствуем — и наука это подтверждает, — что любая жизнь берет начало в воде. Из моря вышли млекопитающие, и ребенок появляется на свет в околоплодных водах. Даже болота кишат микроорганизмами.

А на пламя мы глядим, как зачарованные, потому что оно доказывает наличие души. Жизнь идет от воды, но огонь и есть сама жизнь: жар, пыл, а чуть дунешь — и нет ее. В блуждающем огоньке — зыбком, неверном мерцании над черными водами болот — нам чудится весточка живой души.

Человек, будто бы из жестокости или извращенности, упорно сводит этих двух врагов. Мало того что он ставит на огонь котел, чтобы вскипятить воду, — так он еще и тушит вечером костер, выливая на угли ведро воды. Что уж говорить о пожарном, само дело которого — стравливать гидру и дракона, направляя струю воды в очаг пожара. И тут надо вспомнить безнадежно горькую испанскую пословицу: "Не выйти огню сухим из воды". Горькую — потому что огонь олицетворяет здесь воодушевление, пылкую предприимчивость, юношеский задор, а вода — уступки действительности, печальные и тягостные.

Но человеческому гению мало было противопоставить огонь и воду. Он сумел свести их к единому элементу, получив спирт, который иногда называют огненной водой. Спирт — это сразу и вода, и огонь. Правда, к некоторым он поворачивается лишь одной из сторон. Так, по словам Гастона Башляра, Э. Т. А. Гофман и Эдгар По были пьяницами, оба искали вдохновения на дне бутылки. Но "гофмановский алкоголь пламенеет; он отмечен чисто качественным, чисто мужским знаком огня. Алкоголь Эдгара По топит, приносит забвение и смерть;

он отмечен чисто количественным, женским знаком воды. Гений Эдгара По связан со спящими, мертвыми водами, с прудом, в котором отражается дом Ашеров"[1].

ЦИТАТА

О воде

Ниже меня, всегда ниже меня, расположена вода. Я всегда гляжу на нее опустив глаза. Как на почву, как на часть почвы, как на видоизменение почвы.

Она светлая и блестящая, аморфная и свежая, пассивная и настойчивая в своей единственной слабости — подчиняться весу; располагая особыми средствами, чтобы потворствовать этой слабости: буравя, лавируя, размывая, сочась.

Внутри нее самой эта слабость также дает о себе знать: она без конца обрушивается, ежеминутно отказывается от своей формы, все стремится себя унизить, распластаться по земле, как труп, как монахи некоторых орденов. Еще ниже — таков, кажется, ее девиз: обратное высокому[2].

Франсис Понж *На стороне вещей*

История и география

ИСТОРИЯ и география. Иными словами, время и пространство, но не пустых и абстрактных сфер: время, где теснятся события, пространство, загроможденное деревьями и домами.

По размышлении странным покажется, что эти две отрасли знаний и исследований традиционно вверяют одному и тому же учителю. Разве можно одновременно и в равной степени интересоваться историей и географией? Не идет ли речь о противоположных, и даже несовместимых, вкусах — или одно, или другое? Историк — гуманист в самом широком смысле слова. Ему важны люди, и только люди, в особенности "великие". Для географа же предметом изучения может стать пустыня, девственный лес или коралловый архипелаг. В его ведении находятся флора, фауна и полезные ископаемые.

1. Гастон Башляр. Психоанализ огня. — М.: Прогресс, 1993. Перевод Н. Кисловой. "Дом Ашеров" — новелла Эдгара По, действие которой происходит на фоне зловещего озера.
2. Перевод Д. Кротовой.

Это профессиональное разделение наблюдается и в искусстве. Есть художники-истористы — занимавшие вплоть до прошлого, XIX, века вершину академической иерархии, — и есть пейзажисты. Последние, долгое время прозябавшие в тени истористов, взяли реванш с приходом импрессионизма, перевернувшего представление о живописи, так что в XX веке почти не видно исторических полотен. Почти — ибо знаменитая "Герника" Пикассо, бесспорно, подпадает под этот низложенный жанр. И все-таки нельзя не обратить внимания, что бедствия войны 39—45-х годов, определившие тему стольких произведений литературы, практически не попали на стены музеев и галерей. Отметим, что портрет и обнаженную натуру можно было бы причислить к историческому жанру (как детали больших полотен), а натюрморт отнести к искусству пейзажа.

Тот же самый "ключ" подходит и к литературе. Театр, от Шекспира до Виктора Гюго, безмерно обязан истории. Главное место здесь отводится историческому роману — жанру, представленному как Вальтером Скоттом, так и Арагоном, и Сартром. Но достоинство этих великих примеров еще и в том, что от них мы, отталкиваясь от противного, обращаемся к произведениям, где пейзажи играют более важную роль, чем события. Так, "историческому роману" Александра Дюма можно противопоставить "географический роман" Жюля Верна или Карла Мая. Самая блестящая разновидность такого рода географического романа — литература экзотическая, во Франции связанная с именами, скажем, Пьера Лоти, Клода Фаррера или Поля Морана. Этой бродяжьей, исследовательской жилке можно противопоставить — внутри того же "географического" жанра — вдохновение оседлого толка, которое почерпнуто из неисчерпаемых рудников одного уголка земли. Этим славятся писатели-регионалисты, такие, как Жан де ля Варанд, выходец из Нормандии, бургундец Анри Венсено, овернец Анри Пурра, бретонец Пьер-Жакез Элиас, уроженец Прованса Анри Боско — а еще Жан Жионо и даже Франсуа Мориак, чье творчество никак не вместить в тесноватые рамки "регионального". Прибавим сюда самого чистого представителя жанра Жюльена Грака, в чьих произведениях, даже самых далеких от его собственной жизни, нет-нет да и сказывается учитель географии, которую он преподавал под именем Луи Пуарье, сохранившим привкус спелого плода[1]. Вот сколько писателей, у которых земля и берега, леса и воды, дождь и свет такие же персонажи, как мужчины и женщины.

1. Луи Пуарье (*франц.* poirier — грушевое дерево) — настоящее имя писателя, творившего под псевдонимом Жюльен Грак.

Писатель-географ не живет вне времени, отнюдь нет. Но временное пространство, которое его окружает, не то же, что у историка. Историческое время — это необратимая последовательность непредсказуемых и почти всегда трагических событий, самое рядовое — война, абсолютное зло. А географическое время, напротив, вписывается в круговорот времен года. Конечно, и погода иной раз выкинет коленце наперекор всем прогнозам. Но даже дожди, грозы, туманы и короткие просветы по большей части приходят и уходят, послушные череде времен года, которые окрашивают их в характерные цвета — в розовое весной, в зелень летом, в золото осенью, в белое зимой.

Не пойти ли и дальше, позволив себе сказать, что вдохновение "географического" толка — исполненное, в оседлой своей версии, любви к родному краю, а в версии кочевой исследовательского пыла — оптимистично по своей сути? Тогда как исторический роман, "вдохновленный" бесчинствами властей предержащих, рисует мир мрачными красками.

Эти замечания общего плана не только проливают свет на многие произведения литературы, но и подсказывают, как выделить в ней противоположности. Так, фигуры двух немецких писателей, принадлежащих к одному и тому же поколению — речь о Томасе Манне (1875—1955) и Германе Гессе (1877—1962), — проясняются, если соотнести их друг с другом и противопоставить, как историю с географией. Линейное и разрушительное, размеченное пунктиром катастрофических событий, время задает структуру всему творчеству Томаса Манна — от "Будденброков", хроники распада одной богатой и уважаемой семьи из Любека, до "Доктора Фаустуса", отразившего на своих страницах бурную эпоху 33—45-х годов. Сама длительность жизни опустошает, поскольку героя романа Адриана Леверкюна на протяжении всех его дней сопровождает сифилис — болезнь, скрытое развитие, а затем и проявление которой определяет ритм его существования, сначала обострив его природный дар, а затем превратив в безумца. Сложно придать течению времени более трагическое звучание. Искусство, в котором проявляется гений Адриана, — музыка, в особенности, музыка додекафоническая, к которой Томаса Манна приобщил в Калифорнии собрат по изгнанию Теодор Адорно, то есть музыка абстрактная, безжизненная, сухая.

Что же до отношений Томаса Манна с местами, где прошла его жизнь, нельзя не заметить, что они всегда носят случайный характер, вернее, определяются факторами, никак не связанными с тем или иным уголком земли, — семейными обстоятельствами или превратностями истории. И Мюнхен, и Калифорнию, да наконец, и Кильхберг на берегу цюрихско-

го озера он выбрал только потому, что его подталкивали события; его не заботил дух этих мест.

Но есть и другие писатели, которые, казалось бы, к этому духу прислушиваются, если не сказать даже, принюхиваются, из года в год подыскивая себе местечко, которое устраивало бы их во всем. С этой точки зрения нет ничего показательней, чем скитания Фридриха Ницше по Италии и Швейцарии. Стеная, он ищет воздуха[1], где было бы лучше его телу и душе. Даже местная пища имеет для него большое значение. То же и с Германом Гессе, который постоянно пребывал в поисках лучшей земли, где бы он мог обосноваться. Но толкает их к перемене мест отнюдь не зов бродяжьей души. Наоборот, это домоседы, приглядывающие себе уголок, чтобы окончательно пустить корни. Но скитания могут затянуться до конца дней, окажись вдруг, что это уголок, которого нигде нет, — этимологический перевод слова УТОПИЯ. Верно, таков и был жребий Фридриха Ницше. Что же до Германа Гессе, его последний шедевр, "Игра в бисер", действие которого происходит в вымышленной стране, — самая что ни на есть типичная утопия.

ЦИТАТА

Географические очертания рисует Бог, а историю пишет кровавыми буквами Дьявол.

Ангелюс Шуазельский[2]

Солнце и луна

ВОСХОД, расцвет, зенит, закат — за несколько часов солнце проходит основные этапы жизни, не по-земному короткой и пышной. Но этот путь — который так много значит для нас в повседневной жизни — всего лишь иллюзия, поскольку со времен "революции Коперника" (1543)

1. Отсылка к известной максиме Паскаля: "Я могу согласиться лишь с теми, кто ищет, стеная".
2. Вымышленное лицо. По словам самого Турнье, когда его посещают особо возвышенные мысли, он вкладывает их в уста некоего монаха Ангелюса Шуазельского. Шуазель — деревушка во Франции, в которой проживает Турнье.

нам известно, что вращается как раз земля, а солнце остается неподвижным. Теория, можно сказать, провальная, ведь мы, вопреки Копернику, по-прежнему видим, как солнце восходит и заходит — явление несомненное, с которым эта теория ничего не может поделать. Правдоподобие придает некоторым иллюзиям такую стойкость, что любые доводы оказываются бессильны.

Хотя луна движется по небу, как и солнце, ее траекторию мы будто не замечаем. Нам хочется луны неподвижной. Правда и то, что все наши ночи, даже самые светлые, заняты сном — где уж тут уследить за ходом луны.

Бывают ночи безлунные, которые, как ни парадоксально, мы зовем новолунием. Но не бывает дней без солнца. Даже когда его скрывают облака, мы знаем, что оно там, раз стоит день.

Загадочная власть луны проявляется в приливах и отливах. Луна тянет на себя необъятное водное покрывало — это отлив, затем отпускает его — и это прилив. Объяснения, которые дают этому феномену ученые, настолько туманны, что становится понятно: ничего им непонятно. Впрочем, так всегда — если уж в деле усматривают влияние луны, значит, ничего тут не понять. Как, например, в поведении людей, именуемых лунатиками. Или в происхождении белесоватых пятен, невесть откуда берущихся на коврах и паласах, — так называемых лунных отметин.

Солнце же, напротив, — олицетворенный рассудок, равновесие, архитектура. Потому-то Людовик XIV и захотел сделаться Королем-Солнцем. Очевидно, что солнце мужского пола, а луна — женского, и есть что-то ненормальное в том, что немецкий язык распределил их иначе. И все же бог солнца Аполлон и богиня луны Диана не муж и жена, а брат и сестра. Обоим претит брачный союз: луне мешает ее девственная холодность, солнцу — его самодовлеющая полнота.

"Луна — это солнце статуй", — написал Жан Кокто. Он мог бы написать проще: луна — это статуя солнца. А солнечные ванны — мода на которые не сдает позиций, как ни осуждай нас доктора, — принимают для того, чтобы превратить тело в свою собственную статую из золотистой бронзы — статую, отлитую солнцем.

ЦИТАТА

Слава — солнце мертвых.

Бальзак

Серое и цветное

СОВРЕМЕННАЯ физика безоговорочно приняла теорию Ньютона о природе света и цвета. Свет происходит от солнца — небесного тела, температура которого примерно шесть тысяч градусов. Это "белый свет".

Ньютон учит, что проходя сквозь призму, этот свет обнаруживает свою сложную природу, совокупность световых волн, дающих — по увеличению длины — фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый и красный цвета. Со стороны длинных волн — за границей красного — располагаются инфракрасные лучи, невидимые, но дающие тепло. Со стороны коротких волн — за фиолетовым — располагаются лучи ультрафиолетовые; они также невидимы, зато запечатлеваются на фотопленке.

Гёте всю жизнь оспаривал теорию Ньютона, согласно которой все цвета уже содержатся в бесцветном луче и выходят из него как бы разъятыми. Для Гёте свет изначально един и неделим. Это кажется ему очевидным, безусловным, нормальным, едва ли не нравственным. Мысль о том, что белый свет получается в результате смешения всех цветов, приводит его в ужас.

Но откуда тогда берутся цвета? Они — плод воздействия на свет внешнего мира. Свет порождает их, проходя сквозь "мутную среду" — и такой средой может быть воздух поднебесья (дающий синеву), воды моря (рождающие серо-зеленый цвет) или углы хрустальной призмы (распускающей радугу).

Стало быть, семь цветов как семь скорбей света, или — в начальной стадии — как семь смертных грехов, которые смущают покой детской души, по сути своей чистой и цельной.

Точка зрения Гёте наглядно проявляется в том, какую пленку, цветную или черно-белую, выбирают себе сегодня фотографы. Конечно, на огромном рынке любительской фотографии безраздельно царит первая. Но это туристические и семейные снимки без претензии на творчество. Цвет лишь удачно скрадывает их убожество.

Великие же творцы, мастера фотоискусства — Картье-Брессон, Кертеш, Лартиг, Уэстон, Брассай, Дуано и другие, напротив, признают только черно-белую фотографию. Пора, впрочем, отказаться от этого термина: почему черно-белая, если в ней нет ни черного, ни белого? Она состоит из оттенков серого, от самого светлого до самого темного. Перед нами пепельный гризайль — вот откуда и четкость, и глубина.

Эти серые снимки доносят до нас действительность чистую, первозданную, как ее вылепил Бог в семь дней творения мира. Они позволяют увидеть самую суть вещей.

Вот что можно прибавить: серый снимок ближе к действительности, чем цветной, потому что действительность серая. Мир вокруг нас сам по себе бесцветен. Его расцвечивают художники, и если нам кажется, что мы видим все в цвете, то лишь потому, что мы слишком много ходили по выставкам картин и галереям. С тех пор к нам крепко-накрепко пристали цветообразующие очки.

ЦИТАТА

Гласные

"А" черный, белый "Е", "И" красный, "У" зеленый,
"О" голубой — цвета причудливой загадки:
"А" — черный полог мух, которым в полдень сладки
Миазмы трупные и воздух воспаленный.

Заливы млечной мглы, "Е" — белые палатки,
Льды, белые цари, сад, небом окропленный;
"И" — пламень пурпура, вкус яростно соленый —
Вкус крови на губах, как после жаркой схватки.

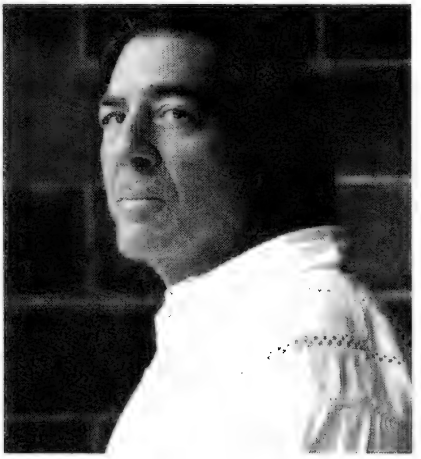
"У" — трепетная гладь, божественное море,
Покой бескрайних нив, покой в усталом взоре
Алхимика, чей лоб морщины бороздят;

"О" — резкий горний горн, сигнал миров нетленных,
Молчанье ангелов, безмолвие вселенных;
"О" — лучезарнейшей Омеги вечный взгляд![1]

Артюр Рембо

1. Перевод В. Микушевича.

Дагоберто Гилб



Поселок "Ивушка"

Перевод с английского Андрея Светлова

НИЧЕГО не оставалось, как обратиться за помощью: с работой никак, остановиться больше не у кого, а насчет денег — лучше не думать. Самое неприятное — начнутся расспросы, хотя вроде бы скрывать от тети Мэгги было нечего. Не знаю, но почему-то меня это не радовало. Или просто стыдно просить у женщины. А может, из-за ма и всех этих историй: никого лучше ма для меня нет, и я ей во всем доверяю. В общем, я был наслышан о Мэгги — в чем только она ни была замешана и чего только ни вытворяла, но всегда оказывалась в выигрыше благодаря своей внешности: кавалеры чуть не дрались, чтобы исполнить всякую ее прихоть. Даже сейчас, когда ей должно быть под пятьдесят, никто бы не дал ей столько. Наверное, не каждая женщина, которой за тридцать, выглядит лучше ее. А может, ма не хотела говорить правду о возрасте Мэгги? Потому что — как бы это сказать?.. — пусть ма и не такая красавица, но зато никто так не умеет готовить. Похоже, тетя

© Dagoberto Gilb, 2008
© Андрей Светлов. Перевод, 2013
Редакция благодарит автора за любезно предоставленную возможность безвозмездной публикации рассказа на страницах журнала.

намного моложе. Нисколько бы не удивился, что так оно и есть. Видел своими глазами.

Я б ее даже не узнал, если б не сидел за столом у нее на кухне. Последний раз, когда я ее видел, мне было не больше пятнадцати. Она приезжала к нам в Эль-Пасо несколько раз, но мало ли какие родственники могут нагрянуть в гости. Я на домашних делах не зацикливался и, даже когда мы целовались при встрече и на прощанье, можно сказать, не видел ее и не слышал. В общем, как все подростки. Теперь я мужчина, у меня есть жена, ребенок и еще один на подходе. И, как всякий нормальный мужчина, я видел, что моя тетя — женщина, это нельзя было не заметить.

— Возьмусь за что угодно, — сказал я ей, — главное, чтобы дело было стоящее. — Я рассказал ей о трех местах, где работал. Два раза устраивался на стройку, но там мне совсем не нравилось, и я уходил где-то через неделю, а последний раз — в ресторан, потому что не было ничего другого, но, оказалось, там надо торчать целый день и не оставалось времени подыскать что-нибудь получше.

— Подождем, пока приедет Джим: он тебе что-нибудь присоветует, Гильермо. Скоро он должен вернуться. — Она говорила о муже. Его не было уже недели две, а то и больше, он уехал в Чикаго, а еще у него были какие-то дела в Бразилии. Я не стал спрашивать, что за дела, чем он вообще занимается. Фамилия у него — язык сломаешь. Хотя ма всегда злилась за это на отца, но он называл его зажравшимся габачьим[1] сыном Заблудовского[2] — телевизионщика этого, чиланго[3], который сидит в своем Мехико и горя не знает. Сердилась она и за его сальные шуточки в адрес Мэгги, хотя не он один отпускал такие. Наверное, у тети Мэгги было еще как минимум две фамилии, ведь до этого она выходила замуж не меньше двух раз. Ее собственная фамилия — Сантамария, и по этому поводу отец тоже подмигивал с ехидной улыбкой.

— Билли, — сказал я ей. — Все меня зовут Билли.

— Гильермо — намного лучше, — заявила тетя. — Это имя зрелого, уверенного в себе мужчины. — На руках и в ушах у нее были драгоценности, и они иногда позвякивали — будто от ветерка, который развевал ее длинные черные волосы.

1 Габачо (букв. зобастый) — уничижительное прозвище белых североамериканцев на сленге мексиканцев и американцев мексиканского происхождения. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

2. Хакобо́ (Якуб) Заблудовский-Кравец — один из наиболее известных и авторитетных журналистов, радио- и телеведущих Мексики. Родился в Мехико, в семье польских евреев, покинувших родину в середине 20-х гг.

3. Название жителей Мехико и его предместий на мексиканском сленге; имеет негативный оттенок.

По мне, так Билли гораздо лучше. Не люблю я все эти официальные имена, как в документах. И не хочу, чтобы, услышав Гильермо, люди думали, будто я только что перешел границу. Пускай думают, что я американец, что я родился и вырос в Америке. Вот дядя — весь в татуировках, всем своим видом показывает, что он настоящий чоло[1], и называет себя не иначе, как Мемо; мне лично это не нужно. И потом, разве сама она не Мэгги? Но в гостях спорить невежливо, и я промолчал.

Она пила вино. Наливала его из здоровенной бутыли; их тут было навалом — всяких, какие встречаются в барах: целый стеллаж и еще полным-полно на столе и на стойке. Я уже ответил: "Спасибо, не надо". (Я просто не знал, как его пьют.) И дело было не только в вине: у Мэгги была не кухня, а прямо тебе хозяйственный отдел гипермаркета. Полный набор медных кастрюль и сковородок и еще столько же не медных, все развешаны над плитой; еще один стеллаж, с бокалами для вина. Куча всяких приспособлений. А уж техники... Блендер, даже два. Кухонный комбайн. Тостер, какие бывают в кафе. Печь для выпечки хлеба. Паста-машина. Еще, еще, еще!.. Несколько деревянных подставок с ножами, полотенца без счету, а на рабочих столах такая прорва пластиковых и стеклянных бутылок с тем, другим, третьим, что остается только гадать: чем же заняты шкафчики? Выше, на полках во всю стену, мексиканские горшки и блюда. На столе рядом со мной — букет из разных цветов. Очень красивый и совсем как живой, я ошибся — стал его нюхать, и она объяснила. На столе и рядом на полу — кипа нечитаных глянцевых журналов, половина на испанском, два одинаковых, но один из Америки, а другой — из Мексики или Испании, а может, откуда-то еще, откуда мне знать.

— Ну, тогда пива?

— Да, спасибо.

Она открыла одну часть серебристого холодильника. Он был набит под завязку, казалось, все из него вот-вот вывалится на пол. Пока она рылась, мне хотелось встать и помочь ей вынимать эти запасы, а может, и подержать, что нужно... Наконец, она нашла зеленую бутылку, а открывалку и искать не пришлось — похоже, это она знала точно. Дала мне то и другое, а я, как дурак, уставился на бутылку и таращился невесть сколько. Сверху на ней была фольга, и я так и не понял, на каком языке название.

— Джим его обожает. Считает лучшим.

1. Презрительное название мексиканцев низкого сословия и, в частности, иммигрантов из Мексики, связанных с гангстерскими организациями Юго-Запада США (непременный атрибут этой субкультуры — татуировки черной тушью с каллиграфией и рисунками).

Я перестал глазеть на бутылку и отпил глоток. Вкус был какой-то странный.

— Ух ты! И впрямь классное! Спасибо.

— Ах да, надо сказать тебе о Лорене.

Я потягивал заморское пиво и только кивнул.

— Она тоже гостит у меня. Внизу. Я собиралась поместить там тебя, но она приехала раньше. У нее сейчас неприятности. Мы с ней подруги.

— Да ладно, ничего, — ответил я. — Я и так перед вами в долгу.

— Мы же родные. Ты — сын моей сестры. Значит, все равно что мой.

Моя комната была наверху, и я поднялся по лестнице с ковровой дорожкой. Наверняка там жила девчонка — лет двенадцати или около того. Мне стало как-то неловко. Мэгги сказала, что это детская, и извинилась за беспорядок. Я ответил: пустяки, мне это не важно. Мне и вправду было не важно. Хотя все в этой комнате было девчачьим: две большие коробки, забитые более мелкими коробками с куклами — одни в своих коробках, другие не в своих, — и еще куклы на полках, лицом вниз или на боку, ящички для вязания, старинная швейная машина, баночки с косметикой, пудреницы, всякие там кисточки, чтобы красить лицо, губная помада — это все в коробках из-под обуви, наваленных одна на другую, — и фотографии по всей комнате, тоже в обувных коробках, но также и горками на полу. Я долго думал, куда бы поставить чемодан, и нашел место только в центре комнаты. На стенах были обои. Старомодные: на розовом фоне темно-красные розы; такие, по-моему, больше подходят дамам в возрасте. Кровать она назвала как-то по-мудреному. Вроде бы это не просто кровать, на ней можно еще и сидеть, как на диване. А по мне, кровать как кровать, с кучей подушек, девчачьих подушек, и покрывалом с оборками. Здорово! Я был счастлив. Будет, где спать. К тому же телевизор, стоит на полу, вроде бы не работает и вообще, вроде его здесь и не должно быть — но оказался в порядке. Я подумал, что рядом еще одна спальня, но дверь туда была закрыта, и я не смог заглянуть. Еще была ванная и, прямо напротив меня, широченная двойная дверь, в хозяйскую спальню. Одна половинка была открыта. Я увидел огромную комнату, наверное, как номер люкс в шикарном отеле. Даже кровать "королевского размера" тут не казалась слишком большой. Между ней и всякими комодами и зеркалами оставалось еще море свободного места. Да нет, получше, чем в отеле.

Утром я встал пораньше. Решил одеться во все самое лучшее. Надел белую рубашку с галстуком. Без пиджака. Было, конечно,

нежарко, но не так уж и холодно. Да и все равно пиджака у меня не было. Дом тети Мэгги находился в коттеджном поселке, который назывался "Поселок 'Ивушка'". Уж не знаю, почему я так много думал об этом месте даже еще до того, как туда въехал, когда оно было всего только надписью на дорожных указателях. Я повернул. И увидел ее наяву — эмблему на бетонной ограде при въезде в поселок; она будто вспыхнула перед глазами и засела у меня в голове, стоило потом подумать о тете Мэгги, как я видел зеленое дерево со свисающими вниз ветвями и это название. Ее дом стоял рядом с автострадой. Это удобно, когда торопишься на работу и надо поскорее на нее вырулить, что, наверное, и делают жители поселка. У нас, конечно, есть автострады в Эль-Пасо, но ничего общего с этой, проходящей так близко к домам. Даже утром, а может, особенно по утрам, шум от нее был страшный. Я просто не мог поверить, что так бывает. Даже остановился на секунду. Но смотреть было не на что: ничего не видно. Автострада проходила за домами на другой стороне дороги. Невозможно было увидеть ни автомобилей, ни грузовиков, ни мотоциклов. Но я их слышал. Звуки пролетали как призраки — я б и хотел их увидеть, да не мог. Так что я сел в машину, опустил стекла и присоединился к общему шуму — как будто тоже спешил на работу; проехал мимо знака "Поселок 'Ивушка'" и — вперед, в мир работы.

Судя по количеству объявлений в газете, работы было полно — и в самой Санта-Ане, и в окрестностях. Стройки мелькали одна за другой, но по пути было столько автосалонов, что я все для себя решил, причем окончательно. Я просто мечтал стать менеджером по продаже автомобилей. Мой школьный приятель в Эль-Пасо, который жил от меня через пару кварталов, прямо около Форт-бульвара, говорил, что, когда выберется отсюда, начнет продавать автомобили, и рассказывал о своем знакомом, который прилично зарабатывает и работой очень доволен. Перед тем как уехать из Эль-Пасо, я попробовал разузнать его новый адрес. Его растила бабушка, но, когда я зашел к ним домой, ее уже там не было. Люди, которые жили там вместо нее, сказали, что купили дом уже после того, как она умерла, и совершенно не в курсе, где он теперь. Я считал, что он молодец, здорово придумал. Правда, особого ума здесь не надо, все знают, что за работа — продавать машины. Штука в том, что ты работаешь в одиночку, все зависит от тебя самого. А после тех работ, которые я перепробовал, эта показалось мне еще более классной. Так что я начал останавливаться у автосалонов на Харбор-бульваре — заходил в офис, пожимал руки, говорил, что ищу работу менеджера по продаже автомобилей. Конечно, заполнял анкеты, а в двух местах даже прошел собеседование. Я думал, что умение говорить по-испански — ценное качество. Во всяком случае, в двух

местах. В одном продавали подержанные машины, в другом — новые. В салоне новых даже поинтересовались, есть ли у меня пиджак, еще лучше — пара. Я сказал, есть. По-моему, ему не понравилась моя белая рубашка или мой галстук — что-то такое мелькнуло в его глазах, — поэтому я решил, что, если он позвонит, подыщу себе что-нибудь посолиднее. Деньги возьму в долг. Я был уверен, что с этим салоном не промахнулся.

Я не знал, стоит ли возвращаться к тете Мэгги так рано. Не знал, понравится ли ей, что я, к примеру, не искал работу до вечера. Но, с другой стороны, я совершенно не знал, куда еще податься. Как-то я две недели жил у друга; я тогда не работал, а они с женой работали, и, когда они уходили, я мог спокойно смотреть телевизор. Есть ли у тети Мэгги какой-нибудь распорядок дня или нет, я тоже не знал. У меня был свой ключ, но дверь была открыта. В смысле не заперта. Все равно я решил позвонить.

— Открыто! — крикнула тетя Мэгги.

Я шагнул вперед и распахнул дверь.

— Чего это ты надумал звонить?! Просто входи — и все! Ведь ты тут живешь!

Я кивнул и пробормотал что-то типа: спасибо, хорошо. Они были за столом, на столе — та же бутыль вина. Или другая, точно такая же. Впрочем, на них было трудно смотреть. За ними было большое окно, и прямо в него светило солнце. Я боялся, не покажусь ли им смешным, но к столу подошел.

— Ну, как у нас дела? — спросила тетя Мэгги. На ней был купальник. Настоящая чичона[1] — нельзя было этого не отметить, особенно когда она в одном купальнике. Перед глазами опять всплыл знак "Ивушка", мимо которого я только что проехал. Мне стало как-то не по себе.

— Лучше не бывает, — ответил я. — В одном месте дело уж точно решенное.

— ¡Qué bueno![2] — воскликнула тетя Мэгги.

— А что это за место? — спросила вторая женщина. Я знал, что это Лорена.

— Ох, — сказала тетя Мэгги, — это Лорена.

Я пожал руку и представился: Билли.

— Гильермо, — поправила тетя Мэгги.

— Что там нужно делать? — спросила Лорена.

Тетя Мэгги засмеялась:

— Подумать только, а я даже не спросила. — Вслед за ней рассмеялась и Лорена. Почему-то им это смешным показалось: они пили и хихикали.

1. Букв. филейная часть, а в переносном смысле "пышечка".
2. Вот здорово! (*исп.*)

— Тебе налить? — спросила Лорена. Кроме стеллажа, на стойке рядом со столом стояло несколько чистых бокалов; она протянула руку, взяла один и налила мне.

— Он вина не пьет, — сказала ей тетя Мэгги.

— Извини, не знала, — сказала Лорена.

— Да нет, выпью.

Кажется, это ее обрадовало. Я отхлебнул немного. Нет, не нравится мне вино.

— Ну так расскажи нам, — продолжала Лорена, — что за работа?

— Менеджер по продаже автомобилей.

Мне показалось, они чуть не прыснули. Похоже на то. Впрочем, смеяться не стали.

— И это именно то, что ты искал? — спросила Лорена.

— Ну-у... по крайней мере, там хорошо платят. — Я даже хотел было рассказать ей о своем друге из Эль-Пасо. Вино мне совсем не нравилось, но я выпил еще.

— Вот и отлично, — сказала тетя Мэгги. — Думаю, они нашли парня, что надо.

Мы чокнулись и выпили. Тетя Мэгги налила Лорене, а потом себе.

— Уверена, ты проголодался, — сказала тетя Мэгги.

— Я проголодалась, — сказала Лорена. — Что бы нам такое придумать?

— У нас столько всего, — ответила Мэгги.

Что верно, то верно: не кухня, а продуктовый склад.

— А давайте закажем. Китайскую? Итальянскую? Может, каждому по подлодке[1]?

— Ням-ням! — сказала Лорена.

Мы стали думать, с чем лучше взять, пока тетя Мэгги не объявила, что закажет три вида, а потом мы между собой поделимся. Она подошла к телефону — заказать сэндвичи.

— А ты? — спросил я Лорену. — Ты чем занимаешься?

Она не сразу ответила.

— Я борюсь за права женщин. Борюсь против распутных мужей.

Мэгги, все еще на телефоне, сделала ей знак глазами и помотала головой.

Я решил не расспрашивать.

Лорена тоже была в купальнике, но сверху был махровый халат. Купальник открытый, бикини: иногда халат распахивался, и я увидел. Надо думать, вся фигура у нее была в порядке. Она го-

1. Подлодками американцы называют огромные сэндвичи из французских батонов с самой разнообразной начинкой.

ворила с акцентом. Я все не мог догадаться с каким. Вполне мог быть мексиканским, но если она знает испанский, то они и разговаривали бы по-испански. Глаза светло-карие и в то же время зеленые. Волосы — каштановые с желтыми прядками. Наверно, крашеные. Я подумал, что они у нее должны быть темно-каштановые. Лет, наверное, столько же, сколько и мне, плюс-минус.

Положив трубку, тетя Мэгги залпом допила вино и встала, Лорена сделала то же самое. Это было уж слишком — я опустил взгляд и стал смотреть в окно на просторный внутренний дворик. Я слышал, как Мэгги достает тарелки из шкафчика и ставит на стол. Слышал, как Лорена идет к раковине за тряпкой, как возвращается к столу и протирает его. На обратном пути обе меня задевали. Просто я сидел на стуле, который стоял у них на дороге, но я на него сел, не раздумывая, когда пришел. Пожалуй, надо подвинуться.

— Может, лучше дать тебе пиво к сэндвичу? — спросила Лорена. — Раз вино не нравится.

Я решил, что нехорошо отвечать и смотреть в сторону. Она оказалась совсем рядом, халат почти ничего не закрывал, и она стояла, а я сидел. Трудно было удержать взгляд, чтоб не бегал.

— Да нет... — ответил я, — не стоит. Раз уж начал... — Я допил вино, и тогда она перегнулась через меня, взяла бутыль и налила мне полный бокал. В бутыли почти ничего не осталось, и она вылила остатки в свой. От нее шло такое тепло...

— Открой еще, если надо, — сказала Мэгги. — Вот эту. — Она протянула Лорене бутылку поменьше и огляделась, ища штопор. Лорена нашла его и дала мне вместе с бутылкой.

Правду сказать, я даже не знал, как им пользоваться. У него, кроме винта, были еще какие-то прибамбасы. Не знаю, смотрели они на меня или нет, но я вытащил пробку, как умел.

— А вы, что ли, ходили на пляж? — спросил я. У всех уже было налито, так что я поставил бутылку на стол.

— Тут неподалеку бассейн — у Паулы, соседки, — сказала Мэгги. — Не хочешь искупнуться? Я приглядываю за ним, пока их семья в отъезде.

— Чудесный бассейн! — воскликнула Лорена. — Там вообще все так цивильненько. Обязательно сходи.

В ожидании заказа тетя Мэгги начала прибираться на кухне.

— И откуда здесь всегда такой беспорядок? — сказала она.

Лорена села за стол, поглядела на меня, отпила вина и вздохнула.

— Ты ведь не меньше меня хочешь есть? — спросила она.

Я стал думать, как лучше ответить.

— Да расслабься ты, не стесняйся! Просто скажи: да.

— Ну, да...

— Да! Да! Да! — сказала Мэгги, не отходя от раковины. — Мы говорим: да!

— Да! — повторила Лорена еще громче. Обе рассмеялись. Потом Лорена встала со стула, обвила меня руками и крепко прижалась: — Может, тебе наскучила компания двух напившихся теток?

— Что она там такое говорит? — спросила тетя Мэгги с другого конца кухни.

— Я просто поинтересовалась, не заскучал ли он в компании двух поддатых девиц.

— Заскучал? Да какой мужик с нами заскучает?! Если не дурак выпить. Верно говорю, Гильермо? И только попробуй сказать "нет"!

Обе смотрели на меня и хохотали. Я заставил себя рассмеяться вместе с ними, но что делать дальше, не знал. По крайней мере, не сидел молча, хотя этого явно было недостаточно. Я выпил еще вина, стараясь не обращать внимания на вкус, и почувствовал, как оно ударяет в голову. Я все думал о том, до чего же теплая была Лорена, когда меня обнимала, и все еще чувствовал ее груди, прижавшиеся ко мне... приставшие, как тот знак...

В дверь позвонили. Я оглянулся посмотреть, а тетя Мэгги крикнула: "Открыто!" Это был паренек-разносчик, а в руках у него — белый пакет. Дверь была открыта настежь, но это не он ее открыл, она и так была открыта. Ну, конечно, это я забыл закрыть.

Мэгги выглянула в гостиную и сказала ему: "Заходи, заходи!" Потом вернулась на кухню и вышла в другую дверь. "Не могу найти кошелек!" — крикнула она откуда-то издалека.

Парень подошел к столу. Лорена взяла у него пакет и стала доставать подводные лодки. Ее халат совсем распахнулся. Я постоял с минуту, а потом сел; свой стул я, впрочем, подвинул и освободил проход. Парень молчал. Тупо смотрел в одну точку. О чем он, интересно, думает, глядя на них в купальниках? Или, может, ему это привычнее?

Лорена вдруг крикнула: "Он здесь, Мэгги! Нашла!" Она держала кошелек, который валялся в углу.

— Ой, я такая растеряша... — сказала тетя Мэгги, входя в кухню. Она открыла кошелек, и деньги выскочили из него, как чертик из табакерки. Полетели в разные стороны фонтаном мятых зеленых бумажек. Тетя ахнула, воскликнула: "¡Ay, Dios![1]" и вытаращила глаза, как будто кошелек натворил невесть что. Лорена подобрала деньги, я тоже помогал, и, когда тетя Мэгги начала отсчитывать купюры ("Сколько я должна?" — спросила

1. "О Боже!" (*исп.*)

она у разносчика), я уже складывал свои в аккуратную стопку. Собирался то же самое сделать с кучей, наваленной Лореной на столе, но не стал. Купюры были всех достоинств, и я подумал, что неплохо бы разложить их по стоимости, но тоже не стал. Парень ушел, и тетя Мэгги, недолго думая, запихала всё в кошелек и защелкнула его.

Я был уверен, что скоро меня возьмут в один из автосалонов. Конечно, я оставил анкеты и в других местах, но внутреннее чувство подсказывало, что, скорее всего, это будет один из тех, куда я заходил в первый день и где мной, похоже, заинтересовались. Я даже старался прикинуть, где больше платят — в салоне подержанных или новых автомобилей. У меня не было достаточно сведений ни о том, ни о другом, так что я просто размышлял об этом. В чем я не сомневался, так это в том, что для работы с новыми машинами нужна одежда поприличнее. Может, даже костюм. Ну хотя бы пара стильных пиджаков и брюк. В любом случае, несколько белых рубашек. Конечно же, галстуки. Я окончательно в этом убедился, когда зашел в оба места еще раз, чтобы напомнить о себе и сказать, что не изменил своих планов, что уже настроился на эту работу и готов приступить хоть сейчас. Думаю, я им нравился, но, как мне показалось, и там, и там заметили, что на мне та же белая рубашка с галстуком. Нельзя являться к ним снова в этой рубашке и в этом галстуке, так что на случай, если они позвонят, у меня должно быть готово что-то другое, неважно что. И я зашел в магазин и купил себе рубашку и галстук. Конечно, не самые дорогие, но денег почти не осталось. Плохо. Мне ведь нужна не одна рубашка. И еще много чего. Кое-что могут прислать из дома. Родители. Жена, Сьюзи, живет у своих родителей, моих суэгрос[1]. Зато нам не надо платить за жилье.

На этот раз я вернулся поздно. Немало, значит, проехал, раз уже наступил вечер. Застрял в общем потоке на автостраде, из которого не знал, как выбраться. К тому же пришлось останавливаться у нескольких магазинов, чтобы найти подходящую рубашку и галстук, пока не наткнулся на торговый пассаж. И еще заправляться понадобилось. Потом я заехал в "Закусывай на колесах", взял большой стакан газировки, припарковался и постоял какое-то время. Ну вот. Опять надо просить у родителей. По-любому у матушки. Она даже не скажет отцу.

Приятно было так сидеть. Хотелось побыть одному. Я даже выключил радио. Наверное, просидел довольно долго. Подумал, неплохо бы заглянуть в бар, но ведь тогда придется брать пиво.

1. В переводе с испанского — тесть с тещей.

Да и у тети Мэгги этого добра хоть залейся. Мне хотелось домой, но я старался об этом не думать. Начинало темнеть. Когда я подъехал к воротам, знак "Поселок 'Ивушка'" уже был освещен.

— Ну как, определился с работой? — спросила тетя Мэгги.

— Нет. Пока еще нет.

— Сегодня ты припозднился. Я уж решила, тебя взяли.

Лорена вышла на кухню из своей комнаты. Видно, ей тоже было интересно.

— Ужинать будешь? — спросила Мэгги.

— Ты что-то купил? — встряла Лорена. В руке у меня был пакет с покупками. — Можно, я посмотрю? — сказала она и схватила пакет.

— Там только рубашка и галстук.

Она и без меня знала, потому что вынула их, не успел я ответить. Похоже, они ей не особо понравились.

— Конечно, как же без ужина. Давай-ка, садись. — Тетя Мэгги села за обеденный стол. Чего только на нем не было! Не только бутылки с вином и бокалы, но и стопка сложенных полотенец, гора женского нижнего белья всех цветов, верх и низ, и даже полная сумка с продуктами, еще не разобранная. — Лорена, можешь покормить его той китайской едой? Кажется, ее еще много.

— Конечно, могу, — сказала Лорена. — Что, мне трудно? — Она стала неуверенно бродить по кухне, как будто там было темно и ничего не видно, хотя горели даже яркие лампочки в потолке. — А где она?

Везде было столько всего!

— Где-то там. Посмотри получше. Может, я сунула в холодильник. Точно не помню.

Лорена открыла холодильник, заглянула в него и стала все перекладывать.

— Наверное, где-то сзади, — объявила она. — Больше негде.

— Что с тобой, Гильермо? ¿Todo está bien?[1]

Видать, у меня была кислая физиономия. Ко всему прочему — снова назвали Гильермо.

— Да все нормально. Наверное, я просто устал.

Лорена пыталась подобраться к микроволновке. Для этого ей пришлось отодвигать кучу вещей.

— Надо выложить на тарелку, — сказала Мэгги. — В таких коробках есть проволока.

— Знаю. Уже выложила.

Мэгги удивленно оглядывала кавардак на столе, будто это не она устроила.

1. У тебя все хорошо? (*исп.*)

— Может, тебе нужно что-нибудь постирать?

— Да, да! Я как раз собирался спросить.

Она взяла галстук, который я только что купил. Он тоже лежал на столе.

— Может, тебе нужны еще галстуки? У Джима их полно. Думаю, можно найти и рубашки, которые тебе подойдут.

Я не верил своим ушам!

— Было бы здорово, tía[1], — сказал я.

На столе совсем не было места, и тетя Мэгги попросила Лорену унести наверх полотенца, нижнее белье и мои рубашку и галстук. Китайская еда тоже была объедение. Ничего подобного раньше не пробовал.

Когда я проснулся, никак не мог решить, что делать дальше. Я уже обошел все салоны новых и все салоны старых автомобилей, и в самой Санта-Ане и во всех пригородах к северу, югу, востоку и западу от нее. Проехал столько улиц, столько всяких жилых районов, все они были на одно лицо, как и коттеджные поселки, которые почему-то не назывались "Поселок 'Ивушка'", хотя вполне могли бы. А сколько разных ресторанов, куда можно зайти — или просто подъехать к окошку — и взять что захочешь. Сколько магазинов, где можно накупить всего, чего душа пожелает, сколько заправок, где можно залить бензин любых марок...

Я надевал свою новую рубашку, галстук, который дала тетя Мэгги, и даже пиджак, который я пообещал потом вернуть, и опять, уже в третий раз, заезжал в те два салона и еще в один, где меня вроде тоже хотели взять, но никто так и не позвонил. Моя добрая матушка прислала мне денег: срочный перевод "Вестерн юнион" — не вопрос. Не хотелось мне этого. А она была рада выслать. Жуть как неприятно. Она не хотела, чтобы я чем-то был обязан Мэгги. Наверное, завидовала сестре и не хотела, чтобы тетя Мэгги думала, будто ей живется хуже. До чего же неприятно просить... но что мне оставалось делать? Я нисколько не сомневался, что уж в том салоне подержанных авто, уж тот парень точно хочет взять меня на работу. Потому что я говорю по-испански. Сам он по-испански не говорит, и ни один из его менеджеров тоже. Он сказал, это очень важно, потому что к ним часто заходят выходцы из Мексики, с которыми проще объясняться по-испански. Прямо так и сказал. Он называл меня Гильермо, и я уже начал думать, как здорово, что меня берут. Но не тут-то было: он так и не позвонил, и из другого места тоже не позвонили, хотя там тоже казалось, что все уже решено.

1. Тетя (*исп.*).

Да-а, странно все-таки жить в розовой девчачьей комнате. Первое время, чтоб не показаться невоспитанным, я ничего не передвигал, старался ничего не трогать, не менять. Все эти розовые, красные и белые подушечки так и валялись на кровати, когда я ложился спать. Потом я сдвинул их в угол, потом аккуратно спустил на пол. Хотя парочку все же оставил — под ноги, под голову. Телевизор в конце концов поднял с пола и поставил на столик от швейной машины. Как-то я стал открывать всякие там пудреницы — в одной коробке их была целая куча. Я глядел ся в зеркальца, и вдруг мне стало смешно. А если бы кто-нибудь меня сейчас увидел? Вот была бы потеха! Интересно, как это выглядит — когда пялишься на себя в зеркало, намазывая блеском губы? Я посмотрел на свои. Смехота! Коробки я раздвинул и освободил место для своего чемодана. Но все делал аккуратно. Во всяком случае, старался.

Мои вещи были свалены на полу темной кучей и портили весь вид. Особенно носки. Я разлил духи или одеколон, в общем, что-то типа того, и от них провоняла вся комната. Я испугался, что испортил ковер. Но, к счастью, никаких пятен не осталось. Тетя Мэгги тоже ничего не сказала. Поначалу этот запах мне не особо нравился, потом вроде принюхался. Но теперь меня уже от него мутит, особенно когда я сплю — так и свербит в носу. Я надеялся, что он быстро выветрится, но, похоже, этого никогда не случится. Я даже стал бояться, что сам пропах и моя одежда тоже, так что один раз, перед тем как выйти из дома, я зашел в спальню тети Мэгги, когда ее там не было, и взял себе один из мужских дезодорантов Джима. Заметил пару флаконов на его комоде, еще когда мы с ней подбирали мне галстуки и рубашки. Запах духов из моей комнаты мне осточертел — что же еще оставалось делать?

Проснулся я, значит, идти никуда не хотелось, так что я опять заснул и проспал почти до полудня. Ни разу еще не оставался дома так поздно. Когда я проснулся во второй раз, где-то через пару часов, мне захотелось в туалет. Открыл свою дверь — и двери напротив тоже были открыты. На этот раз обе. Тетя Мэгги стояла возле своей роскошной кровати совсем голая, сушила волосы и смотрелась в высокое зеркало, которое я не видел, оно было за умывальниками. Она не слышала, как я открываю дверь — в спальне играло радио, — и я ее закрыл. Правда, не до конца. Оставил щель, через которую было все видно. Боже мой! Да моя тетя — настоящая "Подружка года"[1]! Я совершенно

1. "Подружка года" — модель, ежегодно выбираемая журналом "Плейбой" в качестве "подружки плейбоя" из двенадцати "Подружек месяца".

обалдел. Вот уж не думал... С ума сойти! Я не мог оторвать от нее взгляд, хотя и знал, что поступаю, как какой-нибудь извращенец, а даже если не так, все равно это очень плохо. И все же смотрел, мне хотелось смотреть еще и еще. Она обернула волосы полотенцем, села на кровать, надела трусики. Потом встала и принялась прилаживать лифчик, поправляла всякие там кружавчики, но что-то ей, видно, не понравилось, и она его сняла, а потом подошла к комоду, покопалась в ящике и выбрала другой. В этом она уже осталась и пошла к умывальникам и зеркалам. Я закрыл дверь и, наверно, с минуту переводил дух и мотал головой. Не знаю, что со мной случилось, почему я подглядывал за собственной тетей, так долго и так бессовестно. Ничего себе пожилая женщина! Хотя я и понимал, что поступил гадко, а она даже не знает, и от этого мне должно быть особенно стыдно, но... наверное, именно потому, что она не знает, мне было даже немножко приятно. Намного лучше, чем раньше. Намного. На этот раз я открыл дверь с шумом. Шкаф возле ванной, в котором лежало белье, оказался открытым, так что я взял полотенце и хлопнул дверцей, потом громко закрыл дверь в ванную и даже принял душ. Когда вышел, я увидел, что одну из дверей спальни она закрыла, хотя вторую, как обычно, оставила открытой. Я услышал ее внизу: работал телевизор, и она разговаривала с Лореной.

Я увидал этого парня, когда он красил дом неподалеку от въезда в поселок, и он сказал, мол, да, будет здорово, если я ему помогу. Так мы с Гейбом стали напарниками. Это был дом его матери, и она собиралась его продавать, а маляр он был такой же, как я, но, пока мы работали, одна, а потом еще одна женщина из поселка остановились и спросили, не хотим ли мы еще поработать. Мы переглянулись и ответили: конечно, хотим. Гейб назвал цену (ну и заломил! — подумал я), и мы договорились работать на равных. Мы старались как можно быстрее добить работу у его матери и такой задали темп, что сами себе удивлялись. Вообще-то дом был одноэтажный, и почти все получилось сделать краскопультом, а кистью и валиком — процентов пять, не больше. На все про все потребовалось три дня, и теперь было понятно, что на следующий дом уйдет не больше двух, потому что мы уже знали, как чего делается, и у нас было все, что нужно — спецовка, ну и все такое прочее. На двухэтажный дом мы тоже согласились, хотя ясно было, что придется где-то найти раздвижную лестницу или, может, подмости, но мы прикинули, что дело того стоит. Конечно, на этом особо не разбогатеешь, но все же какой-никакой приработок, а там, того и гляди, еще что-нибудь подвернется. Я даже рассказал об этом Сьюзи, чтоб она поменьше беспокоилась, как я тут один. Обычно я не рассказывал ей ничего плохого: расстроится сама и расстроит родителей. Они не

хотели, чтобы их дочь и внуки уезжали из Эль-Пасо. Я сказал, что мы уже точно договорились еще насчет пары домов, а потом я найду постоянную работу. Я от этой идеи не отказываюсь. Просто надо подождать, пока не предложат больше, чем я сейчас зарабатываю.

В субботу мы с Гейбом выпили по паре бутылочек пива, я вернулся к тете Мэгги уставшим и сразу же завалился спать. Проснулся ночью, часа в три. Хотелось есть. У тети я никогда не открывал холодильник без разрешения — ведь это не мой дом, — но живот подводило от голода. Я спустился в кухню и включил эти яркие лампочки, а когда открыл холодильник, в нем загорелся свет, так что общий можно было выключить. Я заглянул внутрь. Там было столько всего — запутаешься. Для кого, к примеру, набирать столько пикулей? Ни разу еще не видел, чтобы тетя Мэгги или Лорена достали хоть одну банку. А горчица?! Кто бы знал, что бывает столько марок горчицы! Сальса[1] в банках, полно разных видов, наверняка все испорченные, вряд ли тетя к ним хоть раз притронулась. Пришлось выставлять всю эту снедь на пол. Я старался запомнить, как все разложено, и не шуметь. Полно чего-то в фольге, а что внутри, не поймешь. Вот тут, наверно, говядина — жаль, что просроченная, — а здесь, скорее всего, цыпленок, хотя очень уж маленький и тоже с душком. Попалась ветчина, и я решил, что это самое то. Стал заглядывать в пластиковые емкости и нашел чили[2], который подошел бы к тамале[3], не будь они твердые как камень. Потом нашел контейнер с домашней лапшой. Она была в белом соусе и тоже хорошая. Я было начал убирать все обратно, но тут меня здорово напугала Лорена — появилась в огроменной футболке.

— Я удивилась, откуда на кухне свет, и встала посмотреть, — сказала она.

— Я вроде старался не шуметь.

— Да не шумел, не шумел, успокойся, — сказала она. — Просто увидела: свет горит, а никого не слышно, и решила проверить.

— Извини.

— Ничего страшного. Нашел что-нибудь? У нее там целые залежи.

— Что? Ну, да. Типа того.

1. Острый и пряный соус из смеси овощей или фруктов с добавлением перца чили.
2. Острый соус из сладкого болгарского перца и жгучего перца, помидоров, лука и специй.
3. Лепешки из кукурузной муки, готовятся на пару или варятся в воде завернутыми в листья кукурузы или пальмы. Начинка — куриный или мясной фарш, сыр, овощи, перец чили, фрукты и пр.

— Потому что она ничего не ест. Попробует кусочек и — "хватит". А потом это тухнет в холодильнике. Но в любом случае хватает все, что ни увидит... И что ты там откопал?

— Да вот — лапша.

— О! Это ее собственное произведение. Она даже купила себе паста-машину. Сказала: "Джим обожает пасту", — Лорена повертела головой и закатила глаза. — Купила, значит, и както мы сделали пасту. Можно подумать, она когда-нибудь еще будет ее делать!.. А получилось неплохо. Мы поели немного прямо тогда — вернее, я поела. Уж и забыла, что она осталась. Хотя сама и убрала в холодильник. Естественно, меня не преминули об этом попросить.

Я стоял и раздумывал: начинать или не начинать есть, надо, наверно, предложить Лорене, — но она будто прочитала мои мысли.

— Бери вилку, ешь и хватит раздумывать! Она давно про нее забыла, а если и помнит, ей это без разницы.

— Вкусная, — сказал я.

— Свежая. Сыр тоже свежий. Мэгги всегда берет самое дорогое.

Я плеснул на лапшу чили.

— Правильно! Пусть будет по-мексикански! — Она прямо нависала надо мной, как уже не раз бывало.

— А ты сама откуда?

— Отец у меня грек. Едва говорит по-английски. Мама из Мексики, но тоже наполовину гречанка. Выросла в ресторане, в Мехико, а потом приехала сюда учиться и так тут и осталась.

— Греки... Никогда бы не подумал.

— Давай-ка присядем. Бери все с собой.

Она имела в виду не стол на кухне, она имела в виду свою комнатушку, где был диванчик. Я сел. Она зажгла свечу и села рядом. Гораздо ближе, чем я ожидал. Мне очень понравился чили, — не меньше, чем сама лапша, — и я решил съесть ее до конца, и подлил побольше соуса. Лорена усмехнулась.

— Почему ты никогда не спускаешься — поболтать со мной или посмотреть что-нибудь по телику?

— Ну... не знаю... Это ведь тетин дом. — Она пододвинулась ближе, и, честно говоря, это было приятно. — Я женат. Мы ждем ребенка, и у нас уже есть дочка.

— Я тоже замужем, — сказала она. — И все еще люблю своего мужа, черт бы его драл.

Я ел. Она придвинулась еще ближе, а потом прислонилась. От пламени свечи по стенам прыгали тени. Я доел и поставил посуду на столик. Лорена ко мне прижалась. Я почувствовал

ее тепло и обнял рукой за плечи, а она поцеловала меня в шею. От этого по спине побежали мурашки. А она все целовала меня и прижималась крепче и крепче, и я ее целовал, от футболки прямо било теплом, и я чувствовал ее под этой футболкой, и нельзя было остановиться...

Гейб вроде как стал хуже ко мне относиться. Сказал, что за второй дом мы примемся через неделю. Я с гордостью послал матушке и Сьюзи деньги за дом, который мы только что кончили, потому что рассчитывал скоро получить за следующий. К тому же была договоренность насчет третьего и еще кое-что намечалось: несколько человек спрашивали про цены и сроки. Гейб был себе на уме и ничего о себе не рассказывал. Я начал задумываться. Я даже не знал, где он живет, и он ни разу не спросил, где живу я, где живет моя тетя, хотя бы — на какой улице. Я только знал, где дом его матери. И всегда как-то так получалось, что я рассказывал ему больше, чем он мне. И еще я переживал из-за того, что рассказал ему про Лорену — сразу же после той ночи. Лучше бы не рассказывал. Вряд ли он был особо шокирован, или осуждал, или вроде того. Но что-то там затаил. Именно в то утро я заметил, что день складывается хуже некуда. Я-то вел себя как обычно, а он — как настоящий эгоист, но мне не хотелось ничего выяснять. Дошло до того, что он надолго оставил меня одного, а когда вернулся, даже не потрудился объяснить, где пропадал. Поневоле пришлось задуматься, что буду делать, если потеряю эту работу. Номера клиентов были у него. Грузовик был его. Я только и надеялся, что хозяин очередного дома, который надо было покрасить, подъедет еще раз и я договорюсь с ним сам.

— Мы тут малость поцапались с твоей тетей, — сообщила Лорена, когда я вернулся. Тетя Мэгги даже не выглянула. — Она слишком много пьет и становится сущей стервой.

— Но ведь ты пьешь не меньше.

— Возможно. Но я не пытаюсь все время командовать ею, как она — мной. Она, видите ли, никуда не может пойти одна. Все время просит меня сделать то, что самой делать неохота... Таскает с собой по магазинам и каждый раз покупает мне какую-нибудь дребедень. А потом всем своим видом показывает, что это ее раздражает. Будто я ее о чем-то просила! Больно надо! Можно подумать, без этого я не проживу!

У меня и так настроение было паршивое, а тут еще тетя Мэгги подбавила, не успел я войти. Похоже, она выхлебала целую бутылку. И будто специально меня поджидала, хотя, вообще-то, мне еще рано было возвращаться.

— Я была вынуждена попросить Лорену покинуть мой дом, — объявила она. — Это возмутительно!

— А что такое?

— Да она как с цепи сорвалась! Столько гадостей мне наговорила... Я все еще не могу успокоиться. — Она отпила большой глоток из бокала.

— А-а, вы, значит, поругались, когда пили?

— Что ты этим хочешь сказать? — она вскочила. — Еще не хватало, чтоб и ты начал меня критиковать! — У нее в руке был бокал, она поставила его на стол и стала ходить по кухне.

— Простите, — сказал я. — Я не это имел в виду.

Она не хотела ничего слушать. Я поднялся наверх, в свою розовую спальню. И зачем мне все это нужно? Я даже не спросил про ужин, хотя просто умирал с голоду. В первый раз за все время она не предложила мне поесть. Видно, я был наказан. Собрался было пойти и взять чего-нибудь сам. Решил извиниться, но услышал, как она зашла к себе в спальню. И стала кому-то звонить. Я вконец разозлился. Вокруг одно издевательство! У всех этих людей есть все — вещи, работа, вообще все. А я, как идиот, торчу в какой-то розовой спальне. Не-ет, надо отсюда убираться! Хорошо хоть Лорена уехала. Гора с плеч. Хотелось позвонить Сьюзи. Хотелось, чтобы она сказала, что очень по мне скучает, а у дочурки все хорошо. Хотелось поговорить с ней об этой работе, об этом Гейбе, который меня злит. Хотя... не мог я ей этого рассказать. Никому не хотел рассказывать, потому что совсем растерялся: столько на меня всего навалилось. Такого я себе и представить не мог. Забить на все и вернуться в Эль-Пасо. Можно будет сказать, что мне здесь не понравилось. Да мне и впрямь не нравится. Меня тут все только бесит, да и устал я колесить в поисках работы и тратить последние деньги на бензин. Нужно сказать тете Мэгги все как есть. Пожалуй, так и сделаю.

Я зашел в закусочную и взял себе чикенбургер с халапеньо[1], картошку фри и какой-то безвкусный чай со льдом. Я звонил и звонил этому Гейбу, но он не брал трубку и, похоже, не собирался. Ничего у меня не выходит! Перепробовал все, что мог, хватит, возвращаюсь в Эль-Пасо. Я сел в машину и вернулся в поселок "Ивушка". На кухне был включен телевизор. Я заглянул в тот угол, тетя Мэгги даже не подняла глаза. Как будто не слышала, что я вошел, хотя, конечно же, слышала. Я поднялся в розовую комнату и решил тоже включить телевизор, пока буду укладывать вещи, но вместо этого стал просматривать фотографии, которые у нее валялись по всей комнате, а я их сложил в пустую коробку от куклы и задвинул под кровать. На снимках столько людей, которых я ни разу не видел, — и нико-

1. Разновидность перца чили зеленого цвета.

го из моей семьи: ни ма, ни отца. Главное, ма! А ведь она целыми днями только о Мэгги и говорила! Даже если ей и завидовала, всегда восхищалась сестрой, считала ее идеалом и мечтала жить такой же жизнью. Я даже не знал, стоит ли рассказывать об этом ма, когда вернусь. Столько фотографий, столько разных людей, столько каких-то семей, а из нашей — никого. И где она их только нашла?

Тут я услышал, как машина Мэгги выезжает из гаража: открылись и закрылись автоматические ворота. Ее комната была как раз над гаражом, так что я побежал посмотреть из окна — да, это была она. Было уже поздно и совсем темно, но она оставила свет возле кровати, и там я увидел такое... никто, уверен, такого еще не видел. Целая куча денег! Купюры не в пачках, а просто навалены горой мятых бумажек. И каждая бумажка смята по-своему, не так, как другие. А горка немаленькая — наверно, с рождественский пирог... нет, пожалуй, свадебный. Огромная — и в высоту, и в ширину. Поначалу я просто глазел на эту кучу, даже когда подошел поближе. Боялся случайно задеть. Деньги лежали у самого края кровати, поэтому я опустился на колени, как будто собирался молиться, но на самом деле только хотел рассмотреть поближе. Темно ведь было. Я все не мог поверить глазам. Купюры только стодолларовые. Невозможно было представить, сколько стодолларовых купюр в такой куче. Я, если б и захотел, не сумел бы сосчитать. Наверное, от нервов: она ведь не знает, что я здесь. А может, ошалел от такой кучи денег. Я стал высматривать, нет ли купюр помельче, — похоже, что не было, я ни одной не увидел. Она небось и не знает, сколько их здесь, разве такое сочтешь. Сотни сотен. Видно хранила их в продуктовой сумке, а потом вывалила на кровать. Я протянул руку и подцепил одну — аккуратно, с самого верха. Все не мог поверить, что она настоящая: разве у кого-нибудь может быть их столько, да еще в таком виде? Потом призадумался. И решился. Взял пять бумажек. Ведь она все равно не узнает! Куча осталась точно такой же, как раньше. Все равно, как если б я взял пять одноцентовых монеток из доверху заполненной банки. Я вернулся в розовую комнату. Первым делом собрал шмотье, покидал в кучу и стал укладывать чемодан. Я и так уже хотел уехать, просто у меня не было денег. А раз у нее их зашибись сколько... ну давай же, двигай! Никогда я еще не был в такой растерянности, мысли разбегались, уж не знаю, как долго я их собирал. Нет, нельзя вот так от нее убегать. Надо подождать день-другой, но при первой возможности сказать ей, что я решил вернуться домой, раз все равно здесь ничего не выходит. Может, послезавтра. Не знаю, сколько прошло времени. Я боялся, что она вернется с минуты на минуту. Нет, не могу я так поступить. Деньги уже бы-

ли расправлены, но я снова смял три бумажки, бросился обратно и... куча нисколько не изменилась — что с ними, что без них. Я надеялся, что теперь мне станет легче, — и, действительно, немного полегчало. Деньги на бензин, сказал я себе. Их хватит до самого Эль-Пасо и, значит, не придется просить взаймы. Вроде, успокоился — но ненадолго. До "Поселка 'Ивушка'" я не делал ничего подобного. Я старался мыслить логически. Все равно она не узнает. Никогда не узнает...

Заработали автоматические ворота. Вот и все. Думать теперь нечего. Я закрыл дверь розовой комнаты, включил телевизор и сел на кровать, как будто это был диван. Телевизор я не смотрел и не слушал, а прислушивался, что делает она. Сначала мне показалось, что она в кухне. Потом — на лестнице. И вдруг она постучала в дверь.

Я вскочил и одновременно крикнул: "Да, да!"

Она заговорила не сразу:

— И правда, у меня их столько... Свихнуться можно, верно?

Я даже не понял, о чем она. В руке у меня почему-то была ее кукла.

— Это она случайно упала с полки, а я, видать, плохо ее положил обратно. — Я бросил куклу на кровать.

— Ну-у, видно, ты ей понравился, — пошутила тетя Мэгги.

Я опустил голову, больше от стыда, чем от смущения. Посмотрел на куклу, как будто пожалел, что так нехорошо с ней обошелся.

— Должна перед тобой извиниться, — сказала тетя Мэгги.

— За что?

— За сегодня. Я была вся на нервах из-за Лорены.

— Понимаю. Как же иначе. Жаль, что так получилось.

— Закрыть или оставить открытой? — Это она про дверь спальни.

— Да можно закрыть.

Дверь уже почти закрылась, но тетя снова ее открыла.

— Ах, да, — сказала она. — Кажется, у меня для тебя хорошие новости. Сообщение на автоответчике. Какой-то мужчина спрашивал Гильермо.

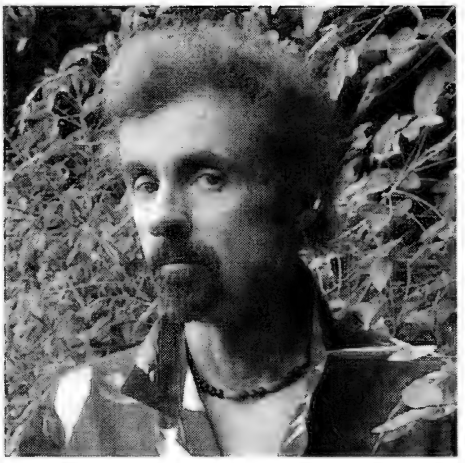
— Это из автосалона, — сказал я. — Из одного из них.

— Будем надеяться. Ты знаешь, как пользоваться автоответчиком?

— Как-нибудь разберусь.

— Ну, тогда спокойной ночи, — сказала она и закрыла дверь.

Томас Корагессан Бойл



Пепельный понедельник

Перевод с английского Андрея Светлова

Ему всегда нравился запах бензина. Запах этот напоминал время, когда он был еще маленький — лет семь или восемь — и в их жизни появился Грейди. Когда Грейди пришел к ним жить, он привез с собой на блестящем черном прицепе свой желтый "шеви-суперспорт" и поставил за гаражом в бурьяне. Прицеп он, должно быть, взял на один день напрокат, потому что утром его уже не было. Для Дилла тот первый вечер с Грейди словно куда-то провалился, как и все последующие вечера, и почти все дни, — все ухнуло в пустоту, в которой не было ничего, лишь там и сям иногда блеснут крупицы памяти. Хотя он помнит тот прицеп и Грейди — конечно же, он помнит Грейди, ведь Грейди был здесь, в этом доме, пока ему не исполнилось одиннадцать, — и помнит, как на следующее утро увидел его машину, стоящую на бетонных блоках, будто она пробила стену на скорости сто миль в час и приземлилась на ее обломки!.. И помнит этот запах бензина. От Грейди всегда пахло бензином — вместо одеколона.

© by T. Coraghessan Boyle
© Андрей Светлов. Перевод, 2013

Сейчас ему тринадцать, у него уже есть собственная машина, во всяком случае, станет его, когда ему будет достаточно лет, чтобы получить ученические права[1], и всякий раз, когда он пытается мысленно нарисовать портрет Грейди, когда старается вспомнить, каким Грейди был, ему удается увидеть его кепку — промасленную, в пестрых разводах бейсболку, на которой спереди в маленьком серебристом квадрате стоит номер 4 и еще звезда; под козырьком этой кепки он видит блестящие зеркальные очки Грейди, а под ними, там, где должен быть нос и рот, нет ничего: он может вспомнить только усы, они свисают над уголками губ, отчего лицо Грейди делается похожим на печальные лица, которыми Билли Боттомс, когда они были в пятом классе, изрисовывал все поверхности, какие только попадались под руку.

Итак, он стоял у себя во дворе, нюхал бензин, думал о Грейди и смотрел на свою отстойную тачку возле гаража, на том самом месте, где "суперспорт" на своих бетонных блоках врастал в землю, пока мать не распорядилась отбуксировать его на свалку металлолома. Стоял, ощущая в руке тяжесть канистры, повернув лицо к солнцу, чувствуя жаркое дыхание ветра, спускающегося вниз по каньону, и на долю секунды забыл, что́ он здесь делает, как будто улетучился из своей оболочки. Такое с ним случалось, постоянно случалось: этакий вид отсутствия, настолько привычный, что он и внимания не обращал. Это раздражало мать. Озадачивало учителей. Конечно, ему хотелось, чтобы этого не случалось, а если и случалось, то хотя бы не так часто, но он ничего не мог поделать. И решил, что просто он мечтатель. Именно так его называла мать. Мечтатель.

Из окна кухни зазвучал ее голос — пронзительный, обжигающий, как удар плеткой: "Дилл, ну чего ты стоишь как столб?.. Картошка почти готова! Я, кажется, просила тебя разжечь огонь и поставить мясо... ну-ка мигом!"

Его мать была учительницей. Отца не существовало. Бабушка умерла. Их дом, стоящий почти на самом верху каньона, со всех сторон окруженный выбеленными временем и солнцем валунами — торчат из земли, как большие пальцы на ногах сотни погребенных на склоне великанов, — принадлежал бабушке. И его говенная "тойота-камри" 97 года — передний бампер отсутствует, два крыла выдержали основательный ремонт, краска вспучилась от солнца и поблекла:

1. В Калифорнии минимальный возраст для получения ученических прав — пятнадцать с половиной лет. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

"золотой металлик" превратился в цвет свежего собачьего дерьма, — досталась ему тоже от бабушки. Но ведь ей — там, где она теперь, — уже не нужна машина. "А где это?" — спросил он у матери в тишине задней комнаты похоронного дома, когда им отдали прямоугольную картонную коробку, куда поместили бабушку, после того как сожгли. "Сам знаешь, — ответила мать. — Сам знаешь, где она теперь". А он сказал: "Да, знаю: в этой коробке".

Он немного волновался. В руке у него была канистра с бензином. Он — главный мужчина в доме. "Теперь ты у нас мужчина", — сказала ему мать. Тогда ему было одиннадцать, и лицо Грейди раздулось, как футбольный мяч, от всех этих криков: да пошел ты! сама пошла! — а потом Грейди хлопнул дверью и исчез с концами; с тех пор это его работа — разжигать огонь и жарить мясо. Каждый вечер. Даже зимой, когда ветер приносит дожди и становится холодно, и приходится надевать куртку с капюшоном и следить за огнем, стоя под козырьком крыши гаража. Он не возражал. Все равно у него нет более интересных занятий. И ему нравилось, как древесный уголь в один миг вспыхивает ярким шипящим пламенем; для этого он, не жалея, поливает уголь бензином, чтобы хорошенько пропитался, хотя мать категорически запрещает ему это делать ("Гриль может взорваться, и тебе это хорошо известно!"), но ведь у них нет разжигателя, до магазина идти далеко, вниз по извилистой дороге на дне каньона, и на прошлой неделе он уже туда ходил.

Гриль представлял собой старую железную газовую жаровню, похожую на вопросительный знак, у которого отвалилась точка. Баллон все еще висел сбоку, но уже давно пустовал, и они попросту наваливали брикеты поверх кусков доисторической пемзы, которые выглядели как обгорелые астероиды, прилетевшие из космоса; так и готовили. Дилл поставил канистру на землю и похлопал по переднему карману джинсов: коробок спичек был на месте. Потом приподнял и откинул назад железную крышку и уже потянулся к мешку с углем, но вовремя заметил, как под решеткой гриля что-то шевельнулось. Он вздрогнул, первой мыслью было: змеи в засуху спустились из чапараля[1], — но это была не змея, а крыса. Маленькое безмозглое серо-бурое существо с кошачьими усами уставило на него блестящий черный глаз из щели между прутьями. О чем она, интересно, думает? Что в гриле ей ничего не угрожает? Что

1. Чапараль — вид субтропической жестколистной кустарниковой растительности, распространен, в частности, на узкой полосе Тихоокеанского побережья Калифорнии.

тут можно спокойно построить гнездо? Он резко захлопнул крышку и услышал, как крыса заскреблась в пепле.

Он почувствовал дрожь возбуждения, от которого перехватило дыхание. Посмотрел через плечо, не наблюдает ли за ним через сетчатую дверь мать, мельком взглянул на белую оштукатуренную стену и сверкающие на солнце окна соседского дома — дома Писимуры, желтожопого Писимуры с его фальшивой большеротой улыбкой, после чего приоткрыл крышку гриля — достаточно, чтобы плеснуть немного бензина, — и снова захлопнул. Начал отсчитывать секунды: двадцать один, двадцать два... — и вот уже никаких звуков оттуда не слышно: одна тишина. И когда он чиркнул спичкой и кинул ее внутрь, то почувствовал себя так же, как бывало, когда он один в своей комнате смотрел по видику фильмы, которые прятал от матери, и у него сначала вставал и делался твердым, потом делался мягким, а потом опять вставал.

Сандзюро Исигуро стоял у венецианского окна и любовался тем, как свет просачивается сквозь зеленоватую листву бамбука, который он посадил вдоль дорожки, ведущей к двери их дома, и на склоне, примыкающем ко двору соседей. Эта разновидность, из-за вздутых междоузлий называемая "Животом Будды", идеально подходила для бедных почв и засушливого климата, и Сандзюро скупо подкармливал и поливал бамбук, чтобы вздутия были как можно больше. Конечно, он выращивал и другие виды: мраморный, золотой, золотисто-желобчатый — но "Живот Будды" был его любимцем, потому что отец Сандзюро ценил его больше других и он напоминал о родном доме. О сакурах, высаженных на восточной стороне сада, Сандзюро заботился меньше — очень уж это банально — и не посадил бы, если б не настояла Сэцуко. Раз уж они решили жить так далеко от дома, — "Шесть тысяч миль!" — без конца повторяла она, едва сдерживая рыдания, когда в Окутаме, вот уже почти десять лет назад, они укладывали вещи, погружали их на корабль и прощались с родными, — то ей хочется хотя бы превратить этот дом и этот выжженный солнцем двор во что-то красивое, что-то *японское*: в свой островок посреди кустарникового дуба и толокнянки. Сандзюро нанимал плотника, чтобы воздвигнуть *тории*[1], которые обрамляли бы ей вид на сакуры, и пару работников-мексиканцев — выкопать за ними маленький прудик, чтобы она могла

1. Ритуальные врата, устанавливаемые перед кумирнями, или святилищами, японской религии синто. Традиционно представляют собой выкрашенные в красный цвет ворота без створок, из двух столбов, соединенных наверху двумя перекладинами.

ближе к вечеру отдыхать возле него и наблюдать за кои[1], бороздящими гладь воды, цветами на круглых листьях кувшинок и носящимися в воздухе стрекозами, пока он, застряв в пробке, сидит замурованный в стальном склепе своей машины.

Из кухни доносился запах ужина — чеснок, зеленый лук, сезамовое масло. Сегодня возвращение из Пасадены было сущим кошмаром: дорога заняла почти два часа, хотя обычно на нее уходило не более получаса, но какой-то идиот врезался в зад другому идиоту, и целая вереница машин встала насмерть; автострада сузилась до одной полосы. Но сейчас наконец он у себя дома, освещение изумительное, воздух напоен ароматами стряпни Сэцуко, а в руке у него стакан с безукоризненно охлажденным "Оникороси". Сандзюро вспоминал пруд — старый пруд, который получился слишком мелким, так что еноты валялись в нем по ночам и лопали сасими из его кои, которые стоили ему целое состояние: он хотел вывести элитную породу, а его оклад в ЛРД[2] позволял ему приобретать все самое лучшее.

Еноты... Вот настоящее бедствие здешней жизни. Как и койоты, которые утащили кошку жены, когда Сэцуко стояла прямо перед домом, в десяти шагах от входа, и поливала бегонии. И та птица. Огромная, длинноногая — Сандзюро сказал бы, что это аист, если бы не свинцовый отлив перьев. Однажды он вышел еще на рассвете, чтобы не попасть в пробку, — в одной руке болтались ключи от машины, в другой он держал керамическую кружку с рисунком и термос с зеленым чаем, — и тут-то ее увидел: стоит в пруду, по колено в воде, а его белый, как мрамор, кои — платиновый огон — зажат промеж симметричных створок ее клюва, да так ловко, словно это не птица, а пара оживших палочек для еды, *хаси*, с ногами и крыльями. Такую он придумал метафору. Блеснув остроумием. И опробовал эту историю на коллегах: рассказал на работе во всех подробностях, начиная с похищения рыбы и кончая его неистовыми криками вдогонку перепуганной, стремительно взмывшей в небо — так он это описал — птице, живописуя детали, не забыв сообщить, что рыбка обошлась ему в шестнадцать сотен долларов, но это так, для смеха. Он даже позвонил Сэцуко с мобильника по дороге домой и ей тоже рассказал про *крылатые хаси*.

Внезапно его внимание привлекло какое-то движение во дворе у соседей, и он почувствовал легкий укол раздражения. Это был мальчишка, тот самый, что бросил ему оскорбление

1. Кои, или парчовые карпы — декоративные одомашненные подвиды карпа обыкновенного.
2. Лаборатория реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory, JPL) — научно-исследовательский центр НАСА в Калифорнии, занимается созданием и обслуживанием беспилотных космических кораблей.

прямо в лицо. Что он теперь задумал? Эта жаровня, этот ежевечерний ритуал — и почему его мать не может готовить в духовке, как все? Сейчас, кажется, не феодальные времена. И они, надо полагать, не пещерные люди. Он поднял стакан, коснулся носом его холодного края и медленно вдохнул аромат саке. Отпил глоток, снова глубоко втянул приятный запах, и это его успокоило. То был запах наслаждения, расслабления после трудного дня, элитарности, запах страны, где люди не допустили бы и мысли назвать соседа "гук желтожопый" и кричать ему "ёб твою мать" или что-то еще в том же духе. Сандзюро довольно хорошо понимал смысл второго выражения: речь шла о кровосмесительстве ну и об интересе ребенка к сексу родителей — от лица мужского пола не странно такое услышать. А вот "гук" для Сандзюро оставался загадкой. Когда он спросил, что́ означает это слово у своего сослуживца Колина Эндрюса, тот попытался увильнуть от ответа, но затем с притворно-участливым видом, который напускают на себя американцы, едва речь заходит о расовых проблемах, объяснил, что это уничижительное прозвище вьетнамцев, распространившееся в США в шестидесятые годы, во время войны во Вьетнаме. Однако такое объяснение еще больше сбило Сандзюро с толку. Как вообще этот мальчишка, даже если он умственно отсталый — а на сей счет у Сандзюро не было сомнений, — мог спутать его, японца, с какими-то худосочными недокормышами, с этой вьетнамской деревенщиной?!

Мгновенно вскипев от ярости, Сандзюро бросил через плечо жене:

— Он опять там, возле этой штуки.

В дверях кухни показалось лицо Сэцуко, круглое, как луна. Сандзюро заметил, что она по-новому уложила волосы: две крутые волны, поднимаясь от висков, высоким куполом венчали голову. Она выглядела почти как американка, как *гайдзин*[1]; Сандзюро не знал, нравится ему это или нет.

— Кто? — спросила она по-японски. Дома они всегда говорили на родном языке.

— Соседский мальчишка. Что называется, делинквент[2]. Дрянь такая... Ты только подумай: чтобы разогреть свои сосиски, или гамбургеры, или... не знаю, что там еще, он использует бензин!

Сэцуко глянула в окно, но со своего места ей было видно только небо да макушки бамбука, колышущиеся от ветерка.

1. Гайдзин (в переводе с японского — человек извне, чужак) — просторечное название иностранцев, преимущественно европейцев и американцев.
2. Юный правонарушитель, субъект с социальными отклонениями в поведении.

Сделай она пять шагов вперед, увидела бы, о чем говорил муж: мальчика, вертевшегося у заржавелой жаровни с красно-желтой канистрой и коробком спичек в руках, — но Сэцуко этого делать не стала.

— Тебе нравится моя прическа? — спросила она. — Сегодня я ходила в салон к госпоже Ямамура, и она предложила попробовать что-нибудь новенькое. Просто, чтобы изменить облик. Ну как, тебе нравится?

— Пожалуй, надо подарить им бутылку зажигательной жидкости... просто оставлю на крыльце. Если он будет и дальше это делать, можешь не сомневаться: спалит весь каньон!

— Ерунда. Стоит ли переживать из-за таких пустяков!

— Пустяки? Ты говоришь, это пустяки? Что ж, давай будем ждать, пока все твои сакуры не сгорят дотла, а в придачу и дом, и машины... Пока вся рыба не сварится в пруду, как в кастрюле у тебя на плите. Вот тогда и посмотрим, что это за пустяки!

Мальчик зажег спичку и, приоткрыв крышку, бросил внутрь. Послышался глухой хлопок, наружу вырвались высокие языки пламени, окружив крышку огнезубой короной, и втянулись обратно — но перед тем что-то еще, что-то непонятное, вылетело оттуда кометой и, упав на землю, понеслось зигзагами в огненном клубке.

Вот это было потрясно! Ничего похожего он никогда не видел! Крыса так и выстрелила из гриля, визжа, как тормоза "камри", — он еще не успел среагировать, а она уже каталась по земле, а потом, продолжая гореть, пыталась забиться в высокий бурьян за гаражом. Сухая трава занялась. Вмиг огонь разгорелся. А он бегал за крысой со смутным желанием проломить ей башку каблуком — или, может, посмотреть, сколько пройдет времени, прежде чем подохнет сама? — но тут появился этот Писимура, он летел вниз по склону с такой скоростью, как будто наглотался колес, и орал во всю глотку: "Ты с ума сошел? Совсем спятил?!"

Сорняки — в основном репейники и липучая трава, да несколько шаров перекати-поле — шипели и щелкали, как пистоны, огонь уже догорал, потому что у него больше не осталось пищи — только грязь и гравий. А крыса просто лежала, почерневшая и дымящаяся, как кусочек маршмэллоу[1], сорвавшийся с палочки и упавший на угли. Но Писимура — в домашнем халате и шлепках, с веерными граблями в руке — перескочил через из-

1. Аналог пастилы; изготавливается из кукурузного сиропа или сахара, желатина, декстрозы и ароматизаторов; распространенное лакомство — кусочки маршмэллоу, поджаренные на палочке на открытом огне.

городь и принялся стегать траву, точно в ней затаилось целое полчище гремучих змей. Дилл просто стоял и смотрел, а Писимура, ругаясь на своем языке, схватил шланг, который лежал у стены гаража, и окатывал водой все вокруг, будто и вправду случилось невесть что. Вдруг Дилл услышал, как у него за спиной хлопнула дверь, оглянулся, увидел, что мать бежит к ним босиком, и на секунду представил себе ее ноги с четкими глубокими следами от туфель чуть повыше пальцев, распухших и красных, — ведь она целый день на ногах. Она постоянно говорила: "Дилл, поднимись и принеси молоко". Или: "Я так устала, нет сил даже накрыть на стол, можешь это сделать сам?" И далее коронная фраза: "Я целый день на ногах!"

Лицо Писимуры перекосилось до неузнаваемости. Он стал похож на недоумка из фильма про ниндзя, на одного из десятка тысяч безымянных гримасничающих болванов, которые набрасываются на Джета Ли с толстенной доской или монтировкой только затем, чтобы получить под дых или по шее и растянуться на земле. "Видите?! — кричал Писимура. — Видите, что он делает? Ваш сын!.." Руки у него так дрожали, что он даже не мог как следует держать шланг: струя воды, ударяясь о стену гаража, растекалась по земле грязной лужей. В воздухе смердело горелой травой.

Прежде чем на лице у матери появилось выражение, похожее на Писимурино, и она успела воскликнуть: "Ну что ты тут опять натворил?" — Дилл отфутболил ногой лежащий в грязи камень, подбоченился и сказал: "Откуда я мог знать, что там крыса? Слышишь, мам: крыса. Крыса прямо у нас в гриле!"

Но она встала на сторону Писимуры, и оба они принялись костерить его на все лады. "Это же пороховая бочка!" — без конца повторял Писимура, и они все не унимались. Так что он пронзил мать презрительным взглядом и гордо удалился за угол гаража, и даже не удосужился ответить, хотя она три раза кряду выкрикнула его имя — самым визгливым голосом, на какой только была способна.

Он не остановился, пока не поравнялся с сараем, в котором Грейди держал своих шиншилл; обогнув сарай, толкнул дверь, висевшую на одной петле, и вошел в перегретый сумрак. Пусть сама жарит свои отбивные, вот что вертелось у него в голове. Пусть отдаст их своему Писимуре. Все равно она всегда за него. Почему бы ей просто не взять и не выйти за него замуж? Вот что он ей скажет потом, когда снова станет хорошим мальчиком, и готов будет вернуться домой, и поесть, что дадут, и выслушать все ее наставления по поводу домашней работы: "Выходи за своего Писимуру, раз ты его так любишь!"

Ему пришлось с минуту постоять в полумраке, вдыхая запах шиншилльего говна, — который, похоже, останется здесь навсегда, как и запах тряпок, в которые они заворачивали их мумии, — пока не улеглось сердцебиение. Он весь взмок от пота. Тут, наверное, было градусов на десять жарче, чем снаружи, но это ему не мешало. Он всегда сюда приходил, если бывал чем-то расстроен, если хотелось подумать или вспомнить, как все было, когда Грейди выращивал своих шиншилл и они трудились вдвоем, бок о бок, следя, чтобы в клетках было чисто и у всех зверьков достаточно еды и питья — у всех до единого. На одну шубу требуется от восьмидесяти до ста шкурок, и Грейди все время нудил насчет того, что нужно и дальше разводить шиншилл, иначе им никогда не получить прибыли. Это было его выражение: "получить прибыль". И Дилл хорошо помнил, как мать бросала эти слова обратно Грейди в лицо, потому что никакой прибыли он не получал, да и не мог получить: деньги на покупку самих зверьков и корма для них уходили как в прорву — это было ее выражение, — но эти расходы не шли ни в какое сравнение с тем, сколько они тратили на кондиционирование.

— Им нужна прохлада, — твердил свое Грейди.

— А о нас ты подумал? — говорила мать Дилла. — Мы должны обходиться без кондиционера — ты кидаешься на меня всякий раз, стоит мне только попробовать его включить, будто это какое-то преступление. Но Боже упаси, если твои драгоценные грызуны хотя бы минуту подышат обычным воздухом!

— Имей терпение, Глория, в любом бизнесе...

— Бизнесе? По-твоему, целый день околачиваться в кондиционируемом сарае — это значит заниматься бизнесом? Сколько шуб ты уже сшил, скажи? Сколько шкурок сумел продать? Сколько хотя бы содрал? Ну скажи, скажи!

Дилл всегда был на стороне Грейди и даже не сомневался в его правоте. Его мать ничего не знала. Шиншиллы живут в Южной Америке, высоко в горах, которые называются Анды, а там всегда прохладно и температура никогда не поднималась выше двадцати шести градусов, даже в самый жаркий день за всю историю. При двадцати шести шиншиллы умирают от теплового удара. А мать ничего этого не знала. Или не хотела знать. Но он, Дилл, знал. И знал, что им надо давать специальный гранулированный корм и маленькие кубики сена, но ни в коем случае не кормить капустой, кукурузой или салатом, потому что от этого у них в животе образуются газы, их раздувает, и они умирают. Как их убивают, он тоже знал. Грейди ему показал. Нужно вытащить шиншиллу из клетки за

хвост, а потом, держа одной рукой за голову, резко рвануть за задние лапы, чтобы сломать шею. Потом она какое-то время дергается. Потом снимаешь с нее шкурку. Грейди не нравилось их убивать — ведь они такие симпатичные, такие безобидные, — ему вообще не хотелось никого убивать, но бизнес есть бизнес, и приходилось с этим мириться.

Той осенью подули ветра Санта-Ана[1]. Учитель естествознания, мистер Шилдс, объяснил: когда во внутренней части материка образуется область высокого давления, а на побережье устанавливается область низкого давления, раскаленный воздух из пустынь засасывается в каньоны, где несется со скоростью сто миль в час и иссушает все в пыль. Но Дилл знал этот ветер не понаслышке, недаром по утрам на зубах у него скрипел песок и ноздри были обведены черной каемкой. И днем, когда он выходил во двор, весь мир был как пышущая жаром печь в закусочной "У Джованни", только выпекалась там не пицца, а полынь, листья сикомор вдоль русла высохшего ручья и ядовитое масло сумаха. Один раз, когда он возвращался из школы, ветер был такой силы, что даже качнул автобус, когда он из него выходил. Тут же лицо обожгло песком, как будто в него пальнули из дробовика, и кто-то — скорее всего, Билли Боттомс — сквозь скрип закрывающихся дверей прокричал: "Слабак!"

Он сразу отвернул голову, чтобы грязь не попадала в глаза. Двор, как из катапульт, обстреливали перекати-поле. Из мусорного бака, точно из спринклера, непрерывной струей вылетали клочья бумаги и пластиковые бутылки, и он уже почти слышал голос матери, заводящей старую песню насчет того, что кто-то совсем обленился и не соизволил потратить секунду своего драгоценного времени, чтобы получше закрепить крышку от енотов. Он глубже надвинул бейсболку — ту, что ему подарил Грейди, с серебристо-черным истребителем F-14 "Томкэт" на лбу, — подтянул повыше ранец, чтобы было легче спине, и зашагал вверх по дорожке к дому.

Первым делом он зашел на кухню, налил себе полный стакан рутбира[2] и осушил его махом — еще никогда в жизни не испытывал такой жажды, — затем снова наполнил стакан и теперь уже пил не спеша, ожидая, пока его сэндвич не отпыхтит свое в микроволновке. После он собирался заглянуть в са-

1. Ветер Санта-Ана — один из катабатических (падающих) ветров, плотных воздушных потоков, направленных вниз по склонам земной поверхности.
2. Рутбир, или корневое пиво (также известное под названием "Сассапарилла") — популярный в Северной Америке газированный напиток из коры сассафраса; производится двух видов: алкогольное и безалкогольное.

рай — посмотреть, как там дела у Грейди, — а пока, чтоб хоть чем-то себя занять на время обеда, включил стоявший на кухне телик. По всем каналам новости и больше ничего. Новости передавали потому, что вокруг все горело — от Малибу и долины Сан-Фернандо до Лос-Анджелеса и округа Ориндж. На каждом канале была женщина с микрофоном и вздыбленными от ветра волосами, стоящая перед горящим домом, а деревья вокруг полыхали, как факелы; переключаешь канал — меняется только цвет женщины: блондинка, черная, мексиканка, китаянка. Мистер Шилдс говорил им, что дикий огонь может настигнуть человека — не каждый успеет убежать — и что именно поэтому пожарные иногда погибают в огне, и домовладельцы тоже, вот почему нужно незамедлительно покинуть опасный район, если к вам зайдут полицейские и скажут, что это необходимо. Но никто учителю не поверил. Разве может огонь тебя догнать, если ты бежишь изо всех сил? Дилл подумал о Дейлоне Джеймсе, самом быстром бегуне в школе: когда они играют во флаг-футбол, никому не удается до него даже дотронуться, не то что сорвать флажок; ну а чтоб огонь был быстрее человека — это уж совсем ерунда. Но на экране теперь были вертолеты, камера скакала из стороны в сторону, а затем — уже только черные тучи дыма и, в разрывах между ними, языки пламени, из красных становящиеся оранжевыми, потом желтыми и снова красными.

Дилл представил себе, как несется что есть мочи по полю горящих кустов и деревьев, а сзади на него обрушивается целая стена огня, и, должно быть, на какое-то время отключился, потому что, когда снова взглянул на экран, там ничего не было и светодиодное табло на микроволновке тоже погасло. В ту же минуту в дом через заднюю дверь влетел Грейди и прохрипел: "Скорее! — Он часто и тяжело дышал, и лицо у него было такое, как будто он вовсе не Грейди, а обезумевший персонаж ужастика, которого схватило кошмарное чудище. — Бери весь лед, какой есть!.. Скорее! Скорее!"

Они выгребли из льдогенератора весь лед, покидали в два черных пластиковых пакета и выбежали во двор. Пакеты от ветра хрустели и рвались из рук, в глаза летел сор, дверь в сарай не хотела открываться, а когда наконец открылась, грохнула по облезлому косяку так, точно по ней ударил гигантский кулак. В сарае было еще прохладно, но кондиционер не работал: во всем каньоне вырубился свет, — и уже было заметно, что с шиншиллами что-то неладно. Вместе с Грейди они спустили на пол все четыре ряда клеток, поставили их по три штуки одна на другую, прокладывая газетами, чтобы помет не падал из верхней клетки в нижнюю, и накидали внутрь кубики

льда. Спустя полчаса температура в сарае поднялась уже до двадцати пяти градусов, и Грейди — глаза у него только что не выскакивали из орбит — сказал: "Я сгоняю вниз, за льдом. Ты оставайся здесь и... уж не знаю, футболку, что ли, сними и обмахивай их, чтобы хоть какой-нибудь ветерок... еще можно облить из шланга крышу и стены, понял?.. Чтобы стало чуть прохладнее. Нужно только продержаться, пока солнце сядет, тогда мы спасены".

Но не тут-то было. Хотя Грейди вернулся с полным багажником льда — упаковок тридцать, не меньше, — и они набросали в каждую клетку кучу одинаковых маленьких голубовато-прозрачных кубиков и сверху накинули влажные простыни, температура продолжала расти. Пока не стало слишком жарко. Пока шиншиллы, одна за другой, не получили тепловой удар. Первыми начали умирать серые, потом мозаичные и "черный бархат", которые стоили в два раза дороже. Грейди все оживлял и оживлял их мешочками со льдом, которые прикладывал им к голове и держал, пока они не приходили в себя; он метался от клетки к клетке, но электричества все не давали и лед таял, а солнце в тот день, казалось, вовсе не собиралось опускаться, потому что это было солнце из фантастических фильмов, громадное, жирное и красное, и оно желало лишь одного — испепелить все живое. К тому времени, когда мать вернулась из школы ("Извините, что так поздно, едва дождалась, когда закончится собрание"), шиншиллы были мертвы, все до одной, все двести семнадцать. И в сарае пахло так же, как пахнет сейчас. Ссаками. И говном. И смертью.

Они имели обыкновение устраивать это по пятницам, после работы: он и несколько его сослуживцев, которые управляли траекторией "Клаудсата" — спутника, регистрирующего данные об облачном покрове Земли на благо мирового сообщества метеорологов, не говоря уже о местных синоптиках. Собирались в Пасадене, в суси-баре, одном из излюбленных *гайдзинами* новомодных мест с непременной длинной овальной стойкой, внутри которой орудуют повара, и желобом с проточной водой, по которому курсирует флотилия маленьких деревянных лодочек: с них можно снимать сколько хочешь блюд, пока на столе не вырастет гора пустых тарелок — тогда мальчик-филиппинец сгребет их в свою пластиковую лохань. Но все это не настоящее. И невкусно, во всяком случае, не очень вкусно. Правда, по желанию можно сделать специальный заказ (Сандзюро неизменно так и поступал, полагаясь на рекомендации шеф-повара); ну а пиво и саке, разумеется, прибывали нескончаемым потоком. Сандзюро

уже выпил пару чашечек саке и раздумывал, не заказать ли пиво — или, лучше, разделить бутылочку с Колином, потому что пора переключаться на чай, чтобы взбодриться и потом спокойно сесть за руль. Сандзюро рассеяно оглядел бар, не задерживая взгляда ни на своих коллегах, ни на других посетителях, набившихся сюда с единственной целью: усердно поработать палочками, прихлебывая дешевое саке из маленьких фаянсовых чашечек, как будто совершали тем самым некий экзотический обряд, — и уставился в окно, где солнце решительно у всего отнимало цвет. Машины становились белыми, деревья — черными. Что он здесь делает?

Колин повернулся к нему и сказал:

— Верно говорю, Сандж?

Согласно заведенному порядку, сначала они потолковали о спорте — обычный аперитив к беседе, прежде чем перейти к женщинам и, неминуемо, к работе. Сандзюро терпеть не мог спорт. И терпеть не мог, когда его называли Сандж. Но ему нравился Колин, и Дик Вюрценгрейст, и Билл Чэнь, славные ребята, и нравилось сидеть тут с ними, несмотря на ощутимое действие саке на пустой, как правило, желудок — а может, именно *благодаря* этому.

— Что? — услышал он самого себя. — Чтó верно?

Лицо Колина нависало над полудюжиной тарелок, измазанных соевым соусом, и бутылкой "Асахи", на дне которой еще оставалось на два пальца пива. Колин смотрел на Сандзюро, осклабясь, осоловелыми глазами.

— "Ю. К."[1], — сказал он, — опережает "Станфорд" на тридцать пять очков! Представляешь? Вот я и говорю: каким же головотяпом надо быть, чтоб не поставить на то, что разрыв увеличится, — или я не прав?

Из-под полузакрытых век Дика Вюрценгрейста блеснул веселый огонек (Дик был пьян), а Билл Чэнь увлеченно беседовал с сидящей рядом женщиной о плюсах и минусах уличной парковки автомобилей, и каждому было понятно, что вопрос задан лишь хохмы ради: Сандзюро давно уже служил мишенью для подобных шуток. Все они мало что понимали, но Сандзюро тут любому мог дать фору: в спорте он ничего не смыслил.

— Да, — ответил он и хотел сверкнуть улыбкой, но сил не хватило. — Ты абсолютно прав.

Все расхохотались, но Сандзюро не обиделся — это был очередной пункт программы, — а потом принесли пиво, весе-

1. "Южная Каролина".

лье угасло, и Колин завел разговор о работе. Вернее, не столько о работе, сколько о сплетнях, роящихся вокруг работы: такой-то держит у себя в столе бутылку, а другой, только-только пройдя тест на марихуану (проба оказалась положительной), — сшиб оленя, едва выехав за ворота, и так далее и тому подобное. Сандзюро слушал молча. Он умел слушать. Но ему наскучили все эти слухи да пересуды, и, когда Колин прервался, чтобы подлить ему и себе пива, Сандзюро сказал:

— Помнишь, я рассказывал тебе о мальчишке? Который назвал меня гуком?

— Желтожопым гуком, — уточнил Колин.

— Ты, конечно же, знаешь, какие сейчас ветра, особенно в каньоне, и я ведь тебе говорил, что мать каждый вечер посылает его во двор разжигать гриль?

Колин кивнул. Глаза его напоминали объектив фотокамеры: зрачки сначала сужались, потом расширялись — *щелк*. Колин был пьян. Сандзюро не сомневался: опять придется вызывать его жену, чтобы отвезла супруга домой. Вскоре и ему надо будет отставить в сторону пиво и встряхнуться перед дорогой.

— Так вот, всю неделю он пользовался бензином, как будто они не могут позволить себе купить разжигатель, а вчера вечером, представь, у него эта штуковина чуть не взлетела на воздух.

Колин отрывисто хохотнул, но, кажется, тут же понял, что это вовсе не шутка, что Сандзюро и не думал шутить, ему не до смеха: он сильно встревожен, нервничает, почти на грани истерики и уже готов сообщить в полицию. Или в пожарную часть, размышлял Сандзюро. Начальнику пожарной команды. Должен же у пожарных быть начальник.

— А внутри, в гриле, была крыса, и он ее поджег!

— Крысу? Ты, наверное, шутишь, да?

— Какие тут могут быть шутки! Крыса, как огненный шар, перелетела через дорожку и прямо в бурьян за гаражом!

— Конечно, какие уж тут шутки, — ответил Колин, понимая, что от него ждут такого ответа. Но потом заулыбался: — Хочешь, угадаю, что было дальше? — сказал он. — Бурьян загорелся.

Сандзюро вдруг почувствовал полное бессилие, будто чьи-то невидимые руки засунули его в свинцовый панцирь, сдавливающий спину и грудь, а он не может сопротивляться. Он жил на самом верху каньона, далеко от города, в небезопасном месте, из-за Сэцуко, из-за того что она боялась американцев — чернокожих, мексиканцев, даже белых, — вообще всех, кто толпится на улицах Пасадены, и Альтадены, и любых дру-

гих городов. Пытаясь выучить язык, Сэцуко смотрела по телевизору новости и ужасалась. "Я не смогу жить в квартире! – упрямо повторяла она. – Я не смогу находиться рядом с такими людьми! Я хочу жить на природе. Я хочу жить там, где не опасно". Ради него ей пришлось переехать сюда, в эту страну, она пожертвовала собой в интересах его карьеры, вот и он ради нее пошел против своей воли, и они купили дом в самом конце дороги, на самом верху дикого каньона и старались сделать его похожим на дом в Митаке или Окутаме.

Сандзюро помолчал, глядя на Колина, всматриваясь в травянисто-зеленые заслонки его зрачков: Колин, его друг, его *амиго*, человек, который понимал его, как никто другой в их команде... – и вздохнул; вздох этот был глубже и тяжелее, и в нем было больше жалости к себе, чем бы хотелось Сандзюро. Потому что он никогда не проявлял своих эмоций. Японец не выставляет напоказ душевных переживаний, даже не намекает на них. Сандзюро опустил глаза. Придал лицу надлежащий вид.

– Да, – сказал он. – Именно это и произошло.

Так, сегодня у них будет курица, три острые итальянские колбаски (такие, как он любит) и кусок лосося, с которого еще не снята кожа и за который мать заплатила целых двенадцать долларов, потому что к ужину они ждут гостя. Учителя из маминой школы. "Его зовут Скотт, – сказала она. – Он вегетарианец".

Дилл с минуту переваривал информацию: гость к ужину, учитель, вегетарианец.

– И что же он ест? Шпинат? Брюссельскую капусту? Буррито с бобами?

Мать хлопотала у плиты. Ее полупустой бокал стоял между сотейником с зеленым горошком и кастрюлей, где варилась картошка для ее фирменного картофельного салата. Прямо по курсу был виден смазанный отпечаток губной помады на ближней стороне бокала, сквозь него проглядывали испорченные электронные часы и отсвечивающее оконце в хромированной рамке в дверце духовки, которая уже давно не работала, потому что от газового крана отвалилась ручка, и его уже было не открыть, даже плоскогубцами.

– Рыбу, – сказала мать, покосившись через плечо. – Он ест рыбу.

В тот день мать приехала домой сразу после работы, приняла душ, переоделась и пропылесосила ковер в салоне. Потом накрыла на стол и в центре поставила пустую вазу: "Он принесет цветы, вот увидишь. Он такой... очень внимательный", – после чего стала крошить зелень для салата и мыть картошку.

Дилл боялся, что она добавит: "Он тебе обязательно понравится", — но она этого не сказала, и он тоже ничего не сказал, хотя после ее пояснения насчет рыбы успел придумать, как, придав голосу едкий оттенок сарказма, спросит: "А-а, значит, это свидание?"

Хлопнувшая за ним дверь оборвала ее тираду: "Смотри, не сожги рыбу. И не пережарь..." Он вышел во двор с полным блюдом продуктов, спичками и пластиковой бутылкой в руках. Это была брызгалка с зажигательной жидкостью, утром каким-то чудодейственным образом появившаяся у них на пороге.

Ветер, который было стих, снова поднялся — гонял мусор, перекатывал листья через подъездную дорожку и, взметая вверх, засыпáл ими его говенную "тойоту", смешивая со вчерашними, и листьями с прошлой недели, и с позапрошлой. Дилл остановился на полпути к грилю и постоял, чувствуя ветер, вдыхая его запах, глядя, как солнце своими лучами пробивает дымку слой за слоем и как большой голый утес на верху каньона то расплывается, то снова из нее вылезает. Потом подошел к жаровне, поставил рядом блюдо с курятиной, сосисками и розовым жирным куском рыбы и поднял тяжелую железную крышку, немного надеясь, что там снова окажется крыса. Или змея. Змея даже лучше. Но, конечно, внутри никого не было. Это ведь не какая-нибудь крысиная ночлежка, а просто гриль. И внутри был только пепел — пепел и больше ничего.

Ветер перекинулся через гараж, и пепел ожил, вихрясь, вырвался наружу, прямо как песок в фильме "Мумия возвращается". Это было прикольно, и он не стал вмешиваться: пускай гриль себя очищает. И пока суд да дело, пока мясо лежало на своем блюде, а пластиковая емкость сжималась и разжималась у него в руке, холодя ладонь, сам он был в школе, прошлой зимой, и у Билли Боттомса, который никого не боялся, никогда не проявлял слабость, и вообще у него не было никаких недостатков, ни единого прыщика, ничего, — так вот, у Билли на лбу, прямо посередине, красовалось черное пятно, словно след от большого пальца. Странное дело: как будто Билли за ночь обратился в индуса, — и Дилл не мог удержаться от желания его подразнить. Нет, обзывать его он не стал. Подошел сзади, обхватил одной рукой за шею и, прежде чем Билли успел понять, что происходит, прижал большой палец к отпечатку и отпустил — палец остался черным. Кулак Билли заехал ему в висок, он ответил тем же, и их обоих оставили после уроков, и маме, когда истек срок наказания, пришлось его забирать, потому что последний автобус уже ушел, и это была еще одна беда на твою голову — часть наказания: чтобы за тобой приехала мать. Или отец.

Ее лицо точно застыло. Она не стала ничего спрашивать, во всяком случае поначалу. Она старалась быть великодушной, старалась завести пустяшный разговор, чтобы не набрасываться на него сразу, чтобы оба успели успокоиться, так что, когда они сели в машину, он просто сказал:

— У него было черное пятно на лбу. От пепла. Как у индусов, как в фильме "Индиана Джонс и Храм судьбы". Я просто хотел посмотреть, что это, вот и все.

— Только и всего? В моем классе у многих детей такие знаки. Понимаешь, есть особый день, Пепельная среда. — Она мельком глянула на него. — Они католики. У них такой обычай.

— Но мы — не католики, — сказал он. На стоянке оставалось всего семь машин. Он сосчитал.

— Нет, — она помотала головой, но лицо у нее оставалось застывшим.

— Получается, мы вообще никто?

Она сосредоточенно крутила руль, осторожно выводя со стоянки свою машину, свой "ниссан-сентра", который был немногим лучше его говенной "тойоты". Радио тихонько мурлыкало, слабый голосок напевал одну из тех незамысловатых песенок, которые она всегда слушала. Она опять помотала головой. Шумно вздохнула. Пожала плечами.

— Даже не знаю. Я, например, верю в Бога, если ты об этом. — Он ничего не сказал. — Твои бабушка с дедушкой — мои родители, я имею в виду, — были пресвитериане, но в церковь мы ходили редко. На Рождество, на Пасху. Наверное, просто потому, что так принято.

— И кем тогда нужно считать меня?

Она опять пожала плечами.

— Ты можешь быть, кем захочешь. А к чему все эти вопросы? Ты что, интересуешься религией?

— Не знаю.

— Что ж, тогда ты протестант. Вот и все. Просто протестант.

Он подложил в гриль еще брикетов, ветер сдувал черный прах — а вовсе не пепел — с маленьких сильно обгорелых камешков, совсем даже не похожих на древесный уголь. Потом он стал обрызгивать их прозрачной, с сухим запахом, жидкостью, не имевшей ничего общего с бензином с его сочным, густым, сладковатым ароматом, стараясь, чтобы они хорошенько пропитались, и думая о том, что у него все дни получаются пепельные: пепельный понедельник, пепельный вторник, даже суббота и воскресенье — пепельные. Захрустел

гравий; он поднял глаза и увидел, как к дому подъезжает машина. Открылась дверца, и мужчина, одних лет с его матерью, вылез навстречу ветру, с охапкой цветов и бутылкой — вероятно, вина, а может быть, виски. Дилл глянул на дом Писимуры — окна заливало вечернее солнце, и не было видно, следит за ним Писимура или нет, — и чиркнул спичкой.

Был понедельник, а Сэцуко ненавидела понедельники больше всего, потому что по понедельникам Сандзюро уходил на работу рано, чтобы подать пример остальным, выскальзывал из дому, когда еще было темно и маленькие ночные воришки — еноты, койоты и крысы — только-только разбегались по своим норам. Она просыпалась с первыми, едва уловимыми, проблесками света и лежала в тишине спальни, думая о своих родителях, о доме, в котором выросла, чувствуя себя деревом, которое срубили под корень. Это утро ничем не отличалось от остальных. Сэцуко проснулась, едва забрезжил рассвет, и долго лежала, глядя в потолок, пока предметы не обрели снова цвет; тогда она заставила себя подняться, спустилась в кухню и зажгла плиту под чайником. И только когда она осторожно дула уже на вторую чашку чаю и задумчиво смотрела в окно на зеленое густолесье бамбука, Сэцуко вспомнила, что сегодня не обычный день, сегодня день особый: *Сюбун-но хи*, осеннее равноденствие, в Японии праздник, хотя здесь он проходит незамеченным.

Сэцуко встрепенулась. Она сделает рисовые колобки *охаги* в сладкой бобовой пасте, — их кладут на могилы предков, отдавая дань уважения душам умерших, — наденет одно из своих лучших кимоно и воскурит благовония, а потом, когда Сандзюро вернется домой, они совершат безмолвный обряд, и ни он, ни она словом не упомянут, что могилы их предков находятся за шесть тысяч миль отсюда. Сэцуко думала обо всем этом, стоя под душем: о том, как это далеко, и о том, какую же длинную метелку ей нужно раздобыть, чтобы дочиста обмести могильные плиты, — затем поставила вариться рис и вышла в сад. Если бы Сэцуко была в Японии, она бы, по древнему обычаю, убрала могилы родителей цветами — красной *хиганбаной*, — но здесь самое похожее, что она смогла отыскать, была бугенвиллея, растущая вдоль изгороди.

Когда она спускалась по склону с ножницами в руках, ветер хозяйничал в зарослях бамбука, а снизу, навстречу ей, выростала крытая кéдровым гонтом крыша соседского дома. Там жил тот мальчишка; наклонившись, Сэцуко стала срезать ярко-красные плюмажи и класть на сгиб свободной руки, а увидев краем глаза у соседей во дворе жаровню, вспомнила позапрошлый — или это было позапозавчера? — вечер. Сандзюро был

вне себя. Он специально сделал крюк, чтобы купить пластиковую брызгалку с зажигательной жидкостью для этих людей, мальчика и его матери, хотел им помочь, а мальчишка этот стоит там и в открытую, глядя на их окна, с идиотской ухмылкой подкармливает огонь горючим, выплескивая длинные радужные струи, пока те сами не вспыхнули. Неблагодарный! Непочтительный! Дрянной мальчишка, делинквент, Сандзюро давно это говорил, и мать... мать и того хуже, а еще учительница! Плохие они люди, вот и все, ничуть не лучше бандитов, которых каждый вечер показывают в новостях, которые режут друг дружку, истошно вопя, посмотришь на таких, и руки опускаются от отчаяния.

Солнце будто обрушилось на Сэцуко. Ветер хлестал бамбук и швырял песок ей в лицо. Она пошла обратно, вверх по склону, порывы ветра раздували ее кимоно, гнули в разные стороны стебли бамбука, и они скрещивались в воздухе, как мечи. Всю поверхность пруда избороздила рябь, и кои судорожно, яркими всполохами метались в воде. Латунная горловина урны приняла охапку цветов, и Сэцуко опустилась на колени, чтобы составить букет. Но ветер разрушал композицию, тонкие, будто бумажные лепестки, разлетаясь, беспомощно ударялись в плотный строй бамбука вокруг пруда, и вскоре Сэцуко сдалась, решив, что приведет все в порядок, когда Сандзюро вернется домой. Думая о своей матери, она поставила конус благовоний в курильницу и поднесла к нему спичку; лицо керамического Будды осветилось, будто в глазницах вспыхнула жизнь.

Но этот ветер!.. Сэцуко встала и уже была на полпути к дому, как услыхала предостерегающее потрескивание в листьях, словно юбка облепивших нижние коленца бамбука. Она обернулась — так резко, что кимоно обвило ей ноги и она чуть не упала. Сэцуко еще могла остановить огонь, могла броситься стремглав к пруду, набрать ведро воды и выплеснуть ее в заросли бамбука, могла побежать в дом и вызвать службу спасения, но она этого не сделала. Ничего не сделала. Просто стояла, не шевелясь, и смотрела, как ветер подхватил пламя и понес его прочь от бамбука, во двор к соседям, покатил по склону все дальше и дальше от ее дома, от ее сада, от ее чайного прибора, от памяти о ее матери — чтобы внизу, на крыше соседского дома, разжечь огненный фонтан, запустить искрящийся фейерверк, очистительный, безгрешный, торжествующий.

Георг Кляйн

Будущее

Перевод с немецкого Анатолия Егоршева

Таких хороших шлемов у нас еще не было; их веса ты почти не ощущаешь. Шею ничто не сковывает, и ты можешь так нагнуть голову, что под черными полукружьями наколенников увидишь голенища своих сапог. Оптимально подогнанное забрало не запотевает даже тогда, когда твоя нога ступает в подземный гараж, который сочащаяся отовсюду вода и трубы отопления с допотопной изоляцией превратили в царство густого тумана. Но ты невольно проводишь левой перчаткой по прозрачному стеклу: никак не можешь отвыкнуть от шлемов старых образцов.

Больше всего нам нравится действовать в многоэтажных парковках, в фойе, холлах, столовых и в самых различных залах. Зайдя туда с соблюдением всех мер предосторожности, мы можем окинуть их взглядом за минуту-другую, а то и за десяток секунд. И тем не менее всякий раз кого-то или что-нибудь не заметишь. На днях, в заброшенном кинотеатре, прямо посреди рядов кресел, похожих на недвижные темно-красные волны, поднялась, оскалив зубы, овчарка. У ног ее на бархате сломанного сиденья лежали три голых, желтоватого цвета, еще слепых щенка. В то время как мы прочесывали зал, наш

© 1999 by Alexander Fest Verlag, Berlin
© Анатолий Егоршев. Перевод, 2013

командир с выражением абсолютного спокойствия на лице прошел мимо их мамаши так близко, что она, высунув морду над спинками кресел и щелкнув челюстями, оставила в упругой мякоти его налокотника четыре глубоких бороздки.

Собственно говоря, крупных животных тоже можно причислить к *вторичным обитателям* и нередко имеет смысл обратить на них особое внимание. В пустующем офисном здании, построенном в годы бума, мы однажды проследовали за подозрительно упитанной кошечкой до самого верхнего этажа. Дочиста вылизанная миска, к которой она вела нас с доверием и надеждой в зрачках, стояла у входа в нелегальный пошивочный цех. Окна еще не покрылись налетом пыли и свободно пропускали потоки солнечного света. Швейные машинки фабричного типа были привинчены к столам. Майки с эмблемой фирмы, изделия которой с превеликой охотой подделывают по всему миру, аккуратными стопками покоились в картонной транспортной таре. Только осклизлый нарост зеленоватой плесени в бумажном стаканчике для кофе свидетельствовал, что последний рабочий день закончился уже довольно давно.

Практика показывает: *вторичный обитатель* использует остатки ресурсов первичного пользования. Ему важно устроиться там, где есть основные средства к существованию: сухие помещения, тепло, свежий воздух, питьевая вода и свет. Организованные группы — банды или кланы — заботятся еще и о том, чтобы имелась элементарная сантехника, а также пути к отступлению на случай нашей атаки. Страх заставляет быть изобретательным, а порой — даже старательным. С неделю назад мы оказались перед шахтой лифта, внутри которой целых две искусно сплетенные веревочные лестницы перекрывали пространство в шесть этажей.

Вчера нам, как уже нередко случалось, помогло наше обоняние. Хотя новые шлемы можно в один прием сделать полностью герметичными и дышать через микроволоконный фильтр в подбороднике, вдыхаемый воздух тогда уже так чист, что учуять какую-нибудь гарь просто невозможно. Дым же — не только зимой, но и в другие времена года — прямо указывает на то, что подведомственное нам пустое здание оккупировано *вторичными обитателями*. Бывшая школа, которую мы решили обследовать по заявлению лицензированного сборщика металлолома, занимает семь приземистых зданий, пока еще нигде не поврежденных пожаром. На площадку между ними нас доставил действительно ультрабесшумный электробус. План расположения помещений, появившийся перед каждым бойцом на прозрачном экранчике в левом верхнем углу забрала, оказался верным. Мы осмотрели уже две трети

прежних учебных классов, когда в нос нам ударил запах горящего дерева.

Не думаю, что кто-нибудь слышал, как мы проникли в здание. Подошвы наших сапог изготовлены из пенопласта, который позволяет двигаться по любой поверхности почти беззвучно. Микрофоны в шлемах реагируют даже на шепот, сравнимый с дуновением ветерка. И все-таки нас заметили. Они уже выходили нам навстречу, распахивая двустворчатую дверь. Опустив стволы, мы отпрыгнули к правой стене, дабы избежать столкновения и дать им возможность уйти по достаточно широкому коридору. Потом, при просмотре видеопленки, выяснилось, что их было ровно две дюжины. Кроме четырех мальчиков, все остальные — молодые женщины. У всех за плечами черные нейлоновые рюкзаки. Лишь у одного из мальчиков пожитки еще болтались в руке. Девушка, которая вела беглецов, выкрикнула на тюркском языке команду, однако расшифровать ее полностью не удалось.

Раньше, когда я только начинал служить, мы обычно брали последнего — того, кто замыкал группу неслучайно. Сегодня начальство ограничивается сравнением видеоматериала с морфологическими признаками из базы данных. Внешность народов и племен Центральной Азии будто бы не меняется с течением времени, и уже по разрезу широко раскрытых глаз, высоте скул и изгибу губ можно судить о национальной принадлежности тех, кто только что был изгнан с подвластной нам территории. Не исключено, что такое мнение — не более чем бабушкины сказки. Как бы то ни было, статистика пополняется этим методом уже на следующий день после выдворения нежелательного люда.

Стоянка, покинутая из-за нашего появления, выглядела симпатично. На самодельной плите булькал то ли густой суп, то ли айнтопф; через дыру, аккуратно пробитую в кирпичной стене, дым уходил в лестничный пролет, откуда улетучивался, теряя всякий цвет. Спальный отсек состоял из кабин различной величины, отделенных друг от друга полотнищами, исконное назначение которых оставалось для меня какое-то время неясным. Пол был устлан синими матами, извлеченными, по всей видимости, из кладовки спортзала. Погасив огонь на плите с помощью сухой пены, мы, как обычно, принялись обследовать помещение на предмет наличия в нем оружия и опасных взрывчатых веществ, которые в бесчисленных вариантах изображены и описаны в наших учебниках, но, к счастью, почти никогда не встречаются нам в ходе повседневных акций.

Я шагал по жестким матам. Нагнулся, чтобы поднять оставленный спальный мешок и потрясти его. Взглянув затем вокруг

себя, я понял, чем бивак разделен на недоступные стороннему глазу клети и клетушки. Это были такие же большие географические карты и наглядные пособия, какие в первые годы моего школьного обучения иногда еще приносили в наши классы, зажав тяжелые свитки под мышкой, пожилые доброжелательные учителя. Верхнюю рейку тогда закрепляли в прорезях стоек. Здесь же, в общей спальне *вторичных обитателей*, они свисали на шнурах прямо с потолка: многочисленные, давно находящиеся в стадии распада государства Африки, лесные и луговые птицы здешнего края, красно-синие переплетения вен и артерий человека.

Проскользнув через очередную щель, я наткнулся на *забытого*. Он спал. Вспугнутые нами товарищи не успели или не захотели его толкнуть. Показывая, как всегда, образцовую выучку, бойцы нашего отряда продвигались вперед бесшумно. Мальчугана не разбудило даже шипенье огнетушителя. Он не достиг еще подросткового возраста и наверняка был любимцем клана. Шапка, уши которой прикрывали щеки, была сшита, скорее всего, из войлока. И покрой ее, столь же достоверный, как всякий исторический костюм, показался мне татарским или монгольским. Хищник, вытянувшийся в прыжке, — логотип фирмы, производящей спортивные товары, — был наклеен на войлок и лишь усиливал фольклористичное впечатление от головного убора. Мальчуган зашевелился. Он засопел, повернулся на бок и еще раз втянул в себя воздух с тем трудноописуемым блаженством, с каким это делают только спящие дети. Быть может, он почувствовал мой последний шаг, но колыхание довольно твердого мата было не настолько сильным, чтобы разбудить его.

Таких сапог у нас еще не было. Даже самая твердая поверхность ощущается благодаря их микропористым подошвам как листва, как снег, как слой пуха и пера. И в то же время ты уверен, что крепко связан с землей, что каждой клеточкой тела чувствуешь ее ширь: ты словно шагаешь по ней босиком. Я поднял голову в легком, почти невесомом шлеме. Обернулся и долго, с интересом, разглядывал карту с пестрым узором старых и новых федеральных земель последнего германского государства. Слегка тронул перчаткой то место, где мы, по идее, должны были находиться. А потом я и мои сапоги сделали очень широкий и очень осторожный шаг, чтобы беззвучно выскользнуть через ближайшую щель из алькова юного *вторичного сновидца*.

Ханиф Курейши

Мой сын – фанатик

Перевод с английского Александра Беляева

Отец стал тайком наведываться в комнату сына. Он просиживал там часами: пытался понять, что происходит. Его тревожило, что Али стал аккуратным, а в комнате вместо привычной мешанины из книг, одежды, бит для крикета и видеоигр воцарился порядок.

Поначалу Парвеза радовало, что сын перерос свои подростковые пристрастия. Но однажды рядом с мусорным баком в надорванном мешке он заметил уже не только старые игрушки, но и компьютерные диски, видеокассеты, новые книги и модную одежду, которую мальчик купил всего несколько месяцев назад. А еще Али, ничего не объясняя, расстался со своей девушкой-англичанкой, которая раньше часто приходила к ним в дом. И старые друзья перестали звонить.

По непонятным ему самому причинам Парвез не мог обсуждать с сыном это необычное поведение. Он поймал себя на мысли, что стал побаиваться: Али, хотя и был молчалив, мог ответить довольно резко.

Один раз Парвез все же попытался: ты-де больше не играешь на гитаре. Ответ был исчерпывающий, но странный: “Есть дела поважнее”.

© 1997 by Hanif Kureishi
© Александр Беляев. Перевод, 2013

И все-таки эта сыновняя эксцентричность казалась Парвезу несправедливой. Сам он знал нескольких эмигрантов, чьи сыновья, попав в Англию, пошли по кривой дорожке, поэтому и вкалывал ради Али с утра до ночи, потратил кучу денег, чтобы оплатить мальчику учебу на бухгалтера. Он обеспечил сыну хорошие костюмы, необходимые книги, компьютер. А теперь тот выбрасывает вещи!

Вслед за гитарой исчезли телевизор, видеомагнитофон и музыкальный центр, и вскоре комната почти совсем опустела. Сирые стены хранили пятна от снятых картинок.

Парвез нажил бессонницу. Он все чаще стал прикладываться к бутылке, даже на работе. Он чувствовал, что ситуацию надо обсудить с понимающим человеком.

Парвез уже двадцать лет работал таксистом, половину из них — в одной фирме. Большинство таксистов были, как и он, панджабцы. Работать они предпочитали в ночную смену: дороги пустые, заработки выше.

Отсыпались они днем — избегая жен, — а на работе вели совершенно мальчишескую жизнь: в каптерке играли в карты, устраивали розыгрыши, отпускали грубые шутки, рассказывали похабные истории, ели, обсуждали политику и личную жизнь.

Но с приятелями Парвез эту тему поднять не мог. Ему было стыдно. И еще он боялся: вдруг в том, что сын сбился с пути, обвинят его самого. Ведь сам он считал виноватыми тех отцов, чьи дети связывались с сомнительными девицами, прогуливали школу и вступали в банды.

Годами Парвез хвалился тем, каких успехов его сын достиг в крикете, плаванье и футболе, какой он хороший ученик: "отлично" почти по всем предметам. Чего еще желать? Чтобы нашел хорошую работу, женился на хорошей девушке. Парвез что, многого просит? Если бы так сложилось, он был бы вполне счастлив. Мечта "неплохо обосноваться" в Англии осуществилась бы. Что же он сделал не так?

Но однажды вечером — он и двое его друзей сидели в конторе в расшатанных креслах и смотрели фильм со Сталлоне — он уже не смог промолчать.

— Не понимаю! — крикнул он. — Из комнаты у него все исчезает. Меня он больше не слушает. Мы всегда были как братья, а не как отец с сыном. Что с ним такое? Зачем он меня мучает?

И Парвез закрыл лицо руками. Пока он таким образом исповедовался, таксисты качали головами и понимающе переглядывались. По этим озабоченным взглядам Парвез понял: сослуживцам ситуация ясна.

— Объясните же, в чем дело, — потребовал он.

В ответ он услышал чуть ли не ликование. Они-де догадывались, что что-то не так. Теперь все ясно, Али стал наркоманом: вещи он продает, чтобы расплатиться за наркоту. Именно поэтому из комнаты все пропадает.

— Так что же делать?

Друзья проинструктировали Парвеза: скрупулезно наблюдай за ним, будь с ним как можно строже. Упустишь момент — парень сойдет с ума, передознется, а то и прибьет кого-нибудь.

К немалому своему облегчению в машине он обнаружил Беттину. Последние пассажиры — это обычно или местные шишки, или проститутки. Последних таксисты хорошо знали, так как часто подвозили к клиентам. А когда у них кончалась смена, то отвозили домой. Но бывало, что девушки с таксистами вместе выпивали. Время от времени они уединялись парами. Это называлось "катать друг друга".

Беттина и Парвез познакомились три года назад. Она жила за городом. Когда Парвез отвозил ее домой, она садилась на переднее сиденье и всю долгую дорогу слушала, как шофер рассказывает о своей жизни и планах. Рассказывала и о себе. Так они общались почти каждую ночь.

С ней он разговаривал о том, о чем с женой никогда не смог бы. Беттина, в свою очередь, отчитывалась о своей ночной работе. Парвез с удовольствием выслушивал подробности: где и с кем она была. Однажды он спас ее от распоясавшегося клиента, и с тех пор они особенно подружились.

Беттина не была знакома с Али, но Парвез все время о нем рассказывал. В ту ночь, когда он рассказал, что подозревает в Али наркомана, Беттина не стала осуждать ни мальчика, ни его. Она подошла к делу с практической стороны: объяснила, на что обратить внимание. "Все в его глазах", — сказала она. Красные прожилки, расширенные зрачки, усталый вид. А еще потливость и колебания настроения.

Парвез принялся рьяно наблюдать за сыном. Теперь, когда он узнал, в чем дело, ему стало легче. Конечно же, думал он, это не могло зайти слишком далеко. А с помощью Беттины он скоро все исправит. И он следил за каждым куском, который съедает сын.

При любой возможности он садился с Али рядом и заглядывал в глаза. По любому поводу дотрагивался до руки — проверял температуру. Когда сына не было дома, действовал еще активнее: заглядывал под ковер, в ящики, за пустой шкаф. Принюхивался, разглядывал, щупал. Что нужно искать — он знал, Беттина ему нарисовала ампулы, шприцы, таблетки, порошок и "камушки" крэка и героина.

Каждый вечер она ждала новостей о найденном.

После нескольких дней постоянных поисков Парвез смог, наконец, сообщить, что парень, хоть и забросил спорт, выглядит совершенно здоровым, да и глаза у него чистые. Вопреки ожиданиям отца, он не смущался, когда ему смотрели в глаза. Напротив, во взгляде у него была такая насмешка, как будто это не у него, а у отца что-то не в порядке.

— То есть физических изменений никаких? — спросила Беттина.

— Да нет, — Парвез на секунду задумался. — Вот только бороду отращивает.

Однажды ночью, после того как Парвез и Беттина засиделись в круглосуточном кафе, он вернулся домой совсем поздно. Единственное объяснение — наркотики — не годилось, поскольку в комнате Али не нашлось ничего на них похожего. К тому же вещи свои Али не продавал. Он их выбрасывал, раздаривал или жертвовал в благотворительные организации.

Стоя в коридоре, Парвез услышал, как в комнате сына зазвонил будильник.

Он поспешил в свою комнату. Жена еще не спала, шила, лежа в постели. Он велел ей сидеть и молчать — хотя она и не думала вставать, и не сказала ни слова.

Через щелку приоткрытой двери он стал следить за сыном, жена с любопытством наблюдала за ним. Мальчик прошел в ванную. Когда он вернулся, Парвез выпрыгнул в коридор и прижал ухо к двери его комнаты.

Оттуда доносилось приглушенное бормотание. Парвеза это озадачило, но одновременно успокоило.

Один ключ нашелся. Парвез принялся вновь следить за сыном. Мальчик молился. Да, точно, когда был дома, то молился по пять раз в день.

Парвез вырос в пакистанском городе Лахор, где все мальчики изучали Коран. Чтобы он не спал во время занятий, мавлави привязывал струну к его волосам, а другой конец струны — к потолку. Засни он — голова наклонилась бы вперед, и он тотчас же проснулся бы. После подобного унижения Парвез избегал религии. Другие шоферы тоже не выказывали особого благочестия. Напротив, они отпускали шутки про бородатых мулл, которые в шапочках-то своих ходят и жить всех учат, а сами щупают глазами подопечных, что девочек, что мальчиков.

О своих открытиях Парвез рассказал Беттине и таксистам. Раньше сослуживцы очень интересовались тем, что происходит, а тут как-то притихли. Не могли же они порицать мальчика за его верования.

Парвез решил взять отгул и куда-нибудь сходить с сыном. Обо всем этом ведь можно поговорить. Он хотел узнать, как у

сына дела в колледже. Сам хотел рассказать о семье в Пакистане. Более всего ему хотелось узнать, как так получилось, что Али открыл для себя это, по определению Беттины, "духовное измерение".

К удивлению Парвеза, мальчик идти с ним отказался. Сослался на некую договоренность. Парвезу пришлось настаивать: что может быть важнее, чем встреча отца с сыном?

На следующий день Парвез сразу выехал на улицу, на которой стояла Беттина. Шел дождь, Беттина была на каблуках, в мини-юбке и плаще. Плащ она распахивала перед проезжающими машинами.

— Залезай скорей! — сказал Парвез.

Они погнали по вересковой пустоши, остановившись на том месте, где не было ничего, кроме диких оленей и лошадей, и где в лучшие времена лежали они с прикрытыми глазами, повторяя "вот жизнь-то". Но сейчас Парвез дрожал. Беттина обняла его:

— Что случилось?

— Такое случилось — в жизни ничего хуже не было.

Пока Беттина гладила его по голове, Парвез рассказывал, как накануне вечером ходил с Али в ресторан. Пока они изучали меню, знакомый официант принес Парвезу, как обычно, виски и воду. Парвез так нервничал, что заранее заготовил вопрос: волнуется ли сын из-за предстоящих экзаменов. Но сперва, чтобы расслабиться, распустил галстук.

И сделал большой глоток.

Еще до того как он смог заговорить, Али скорчил гримасу.

— Ты знаешь, что алкоголь — это плохо? — спросил он.

Парвез принялся терпеливо объяснять, что уже много лет работает по десять часов в день, а то и больше, что у него почти нет радостей или увлечений. Даже отпуска он никогда не брал. Ну разве это преступление — выпить, если хочется.

— Это запрещено, — сказал мальчик.

— Знаю, — пожал плечами Парвез.

— Как и азартные игры. Ведь так?

— Да. Но ведь мы всего лишь люди...

Каждый раз, когда Парвез делал глоток, мальчик морщился или строил презрительную гримасу. Официант, желая порадовать старого знакомого, принес Парвезу еще порцию виски. Парвез чувствовал, что пьянеет, но остановиться не мог. На лице у Али было написано такое отвращение и порицание, словно он ненавидел отца.

В середине обеда Парвез вдруг потерял самообладание и швырнул об пол тарелку. С него не спускали глаз официанты и посетители, а то бы и скатерть со стола сорвал. В любом

случае он не потерпит, чтобы родной сын учил его, что такое хорошо и что такое плохо. Сам он считал себя человеком неплохим, совестливым. Было, конечно, кое-что, за что сейчас стыдно, но в целом, можно сказать, прожил достойную жизнь.

— Когда мне было грешить? — спросил он Али.

Низким монотонным голосом мальчик разъяснил, что, вообще говоря, Парвез никогда и не жил праведно, нарушал многие заповеди Корана.

— Например? — поинтересовался Парвез.

Али не раздумывал ни секунды. Как будто ожидая этого момента, он спросил отца, любит ли тот пирожки со свининой.

— Видишь ли...

Конечно, Парвез не мог отрицать, что любит свежую ветчинку, когда ее приправишь грибами, горчицей и положишь между двумя поджаренными хлебцами. Сказать по правде, именно так он каждое утро завтракал.

Затем Али напомнил Парвезу, как тот приказывал жене готовить свиные сосиски, приговаривая: "Си-люшай, тут тебе не деревня. Это Англия. Надо са-атвецвовать!"

Парвеза настолько раздосадовали и ошеломили эти нападки, что он заказал еще стаканчик.

— Вот в чем дело, — сказал мальчик. Он перегнулся через стол. Впервые за вечер глаза его ожили. — Ты слишком втянулся в западную цивилизацию.

Парвез рыгнул. Испугался, что подавится.

— "Втянулся"! — воскликнул он. — Да ведь мы здесь живем!

— Эти западники-материалисты нас ненавидят, — сказал Али. — Папа, как можно любить того, кто тебя ненавидит?

— Ну и каков же ответ? — печально спросил Парвез. — По-твоему?

Али принялся говорить гладко и плавно, как будто обращаясь не к Парвезу, а к шумной толпе, которую нужно утихомирить и убедить. Говорил о том, что ислам будет править миром, неверные — вечно гореть, евреи и христиане будут разгромлены. Запад — клоака, сборище лицемеров, развратников, гомосексуалистов, наркоманов и проституток.

Пока Али говорил, Парвез смотрел в окно, как будто проверяя: мы все еще в Лондоне?

— Наши люди достаточно натерпелись. Если притеснения не закончатся — начнется джихад. И я, и миллионы других — все мы с радостью отдадим свои жизни ради этого.

— Но почему? Зачем?

— Награда наша — в раю.

— В раю!

В конце концов, когда Парвез уже плакал, сын принялся убеждать его переменить образ жизни.

— Это как же? — спросил Парвез.

— Молитвой, — ответил Али. — Встань рядом со мной и молись.

Парвез попросил счет и поспешил вывести мальчика из ресторана. Дольше он выдержать не мог. Али говорил не своим голосом — как будто пел с чужого.

На пути домой Али сел на заднее сиденье, как пассажир.

— Отчего это с тобой? — спросил Парвез, опасаясь, что в каком-то смысле и на нем лежит вина. — На тебя повлияло какое-то событие?

— Повлияло: я живу в этой стране.

— А я люблю Англию, — сказал Парвез, глядя на отражение сына в зеркале. — Здесь разрешают делать почти что угодно.

— В том-то все и дело, — ответил сын.

Впервые за многие годы Парвез был не в состоянии следить за дорогой. Он задел грузовик, оторвал зеркало. Им повезло, что полиция не видела: Парвез лишился бы водительских прав и, как следствие, работы. Около дома, выходя из машины, Парвез споткнулся и упал на дорогу, ободрал руки, порвал брюки. Кое-как поднялся сам. Сын даже руки не протянул.

Парвез сказал Беттине, что готов даже молиться, если сын того хочет. Если от этого его взгляд не будет таким беспощадным.

— Но чего я не потерплю, — сказал он, — это чтобы мой собственный сын говорил, что я попаду в ад!

Еще мальчик сказал — и это окончательно доконало Парвеза, — что он бросил бухучет. Когда Парвез спросил почему, Али саркастически ответил, что причина очевидна: "Западное образование насаждает антирелигиозные настроения". Кроме того, сказал Али, в мире бухгалтеров выпивка, секс и ростовщичество считаются обычным делом.

— Но ведь за эту работу хорошо платят, — парировал Парвез. — А ты столько учился!

Али сказал, что начнет работать в тюрьмах, с мусульманами, пострадавшими за то, что отстаивали чистоту в мире разврата. В конце концов поздним вечером, уже ложась спать, Али спросил отца, почему тот не носит бороды или хотя бы усов.

— Такое чувство, что я потерял сына, — сказал Парвез Беттине. — Не могу я вынести, когда на меня смотрят как на преступника. И я решил кое-что сделать.

— Что же?

— Я ему скажу, чтоб брал свой коврик для молитв и уматывал из моего дома. Ничего труднее я в жизни не делал, но сегодня вечером поступлю именно так.

— Можешь, конечно, махнуть на него рукой, — сказала Беттина, — Но лучше не надо. Многие молодые люди тянутся к сектантству и суевериям. Со временем это пройдет.

Она добавила, что нужно быть терпимей к мальчику, поддерживать его, пока он ко всему этому охладеет.

Парвез решил, что она права, хотя вовсе не хотел давать сыну больше любви, ведь еще не ощутил никакой благодарности за все, что для него сделал.

Тем не менее он решил терпеть и взгляды сына, и его упреки.

Он пробовал поговорить о вере, но, если решался хоть что-нибудь критиковать, Али отвечал очень резко. Однажды он обвинил Парвеза, что, мол, тот "пресмыкается" перед белыми. Сам он, напротив, не считал себя "человеком второго сорта", ведь мир — это не только Запад, пусть Запад и возомнил о себе невесть что.

— Откуда ты знаешь? — спросил Парвез. — Ты же никогда не был за границей.

Ответом был презрительный взгляд.

Однажды вечером, предварительно убедившись, что от него не пахнет алкоголем, Парвез подсел к Али за кухонный стол. Он надеялся, что сын похвалит его за бороду (он начал ее отпускать), но мальчик эту бороду, кажется, и не заметил.

Днем ранее Парвез объяснял Беттине, что, мол, на Западе люди ощущают внутреннюю пустоту, и потому им нужна жизненная философия.

— Да, — сказала Беттина. — В том-то и дело. Нужно объяснить ему твою жизненную философию. Тогда он поймет, что вера бывает разной.

После изнурительных раздумий Парвез решился. Мальчик смотрел так, словно от отца уже ждать нечего. Парвез принялся сбивчиво объяснять, что люди должны относиться друг к другу с уважением, особенно — дети к родителям. На секунду показалось, что этот довод подействовал. Парвез, приободрившись, продолжил. По его мнению, никакой другой жизни, кроме этой, не существует, после смерти — разлагаешься в земле. "На мне вырастут трава и цветы, но часть меня останется жить..."

— Каким же образом?

— В других людях. Мое продолжение — это ты. — Мальчика это, по всей видимости, ошеломило, и, чтобы смягчить эффект, Парвез добавил: — И твои внуки. Но пока я здесь, на этом свете, я хочу прожить жизнь как можно лучше. И чтоб ты прожил жизнь как можно лучше.

— Что значит "как можно лучше"? — спросил мальчик.

— Ну, — ответил Парвез, — для начала... стоит научиться получать от жизни удовольствие. Да. Получать удовольствие без вреда для окружающих.

Али заявил, что удовольствие — это "бездонная бочка".

— Я не о таких удовольствиях говорю, — сказал Парвез. — А о радости жизни.

— Наших людей притесняют по всему миру, — сказал мальчик.

— Знаю, — согласился Парвез, не вполне понимая, что это за "наши люди". — Но согласись, что все-таки жизнь — она для живых.

Али сказал:

— Истинное учение существует сотни лет. Мои взгляды разделяют миллионы людей по всему миру. Ты хочешь сказать, что ты прав, а они все — нет?

Али смотрел на отца с такой агрессивной убежденностью, что Парвез ничего не смог возразить.

Как-то вечером, после визита к клиенту, Беттина села к Парвезу в машину. Проезжая, они заметили на улице мальчика-подростка.

— Это мой сын, — вдруг сказал Парвез. Они были на другой стороне города, в бедном районе, где находились две мечети.

Парвез придал лицу жесткое выражение. Беттина повернулась к нему:

— Притормози, притормози! — попросила она. — А он симпатичный. На тебя похож. Только лицо более решительное... Ну останови же, пожалуйста!

— Зачем?

— Хочу с ним поговорить.

Парвез развернулся и остановился рядом с мальчиком.

— Ты домой? — спросил он. — Далековато!

Мальчик пожал плечами и с угрюмым видом забрался на заднее сиденье. Беттина сидела на переднем. Парвез вдруг заметил, что у Беттины очень короткая юбка, кольца аляповатые, а тени на веках светло-голубые. Он открыл окно, ощутив вдруг, что весь салон пропах ее духами, которые ему, вообще-то, очень нравились.

Пока Парвез несся на бешеной скорости, Беттина мягко спросила Али, где он был.

— В мечети, — ответил он.

— А в колледже как дела? Много занимаешься?

— Кто вы такая, чтоб меня об этом спрашивать? — сказал он, глядя в окно. Они встали в пробке. К этому моменту рука Беттины — невзначай — легла на плечо Парвеза. Она ответила:

— Твой отец — а он очень хороший человек — за тебя беспокоится. Ты знаешь — он любит тебя больше жизни.

— "Любит меня", говорите, — повторил мальчик.

— Конечно! — сказала Беттина.

— Тогда почему он позволяет такой женщине, как вы, себя трогать?

Если Беттина взглянула на него со злостью, то в его взгляде была еще бóльшая, ледяная, ярость.

— И кто же я такая, чтобы разговаривать со мной в таком тоне?

— Сами знаете, — ответил мальчик. — Выпусти меня.

— Не дождешься.

— Не волнуйся, я сама выйду, — сказала Беттина.

— Погоди! — крикнул Парвез. Но она открыла дверцу движущейся машины, выскочила на улицу и побежала через дорогу. Парвез позвал ее несколько раз, но она не вернулась.

Не говоря ни слова, Парвез привез Али домой. Али сразу же прошел в свою комнату. Парвез же не мог ни читать газету, ни смотреть телевизор, ни даже просто спокойно сидеть. Он пил стакан за стаканом.

Наконец он прошел наверх и стал бродить туда-сюда около комнаты Али. Когда он наконец открыл дверь, то увидел, что Али молится. На отца даже не взглянул.

Парвез пнул его. Затем поднял за шиворот и ударил. Али упал на спину. Парвез ударил снова. Лицо мальчика залила кровь. Парвез тяжело дышал. Он чувствовал, что парня уже ничто не проймет, но все-таки бил. Мальчик не защищался и не давал сдачи. В глазах его не было страха. Он только прошептал разбитыми губами: "Ну и кто же из нас фанатик?"

Магдалена Тулли

Бегство лис

Перевод с польского Ирины Адельгейм

СТОЯЛ мороз. Стоял уже несколько месяцев. Вдоль улиц намело огромные груды снега. Прохожие с трудом протискивались по тротуарам, а снег все шел, легко и тихо — снежинки ведь ничего не весят. Другое дело — то, что навалено там, наверху, над крышами — у этих-то запасов вес, небось, вполне основательный. Небо делалось от них матово-белым и тяжелым — казалось, вот-вот рухнет нам на голову. Смеркалось рано. Снежные тучи наливались серым, потом темнота расплывалась по небу, словно темно-синие чернила из опрокинутой чернильницы. Городские огни оттеняли эту синеву фиолетовым. Чем больше огней, тем глубже ночь над нашими головами. Ледяная зимняя ночь, которой утром было не добудиться и которая оттягивала свой уход, как только могла.

Однажды после обеда героиня этой истории — назовем ее Каролиной или Малгожатой — брела по заснеженному мосту; как раз опускались сумерки. Небо над городом темнело, тучи быстро впитывали синие чернила. Ниже, почти над самым мостом, медленно плыло что-то еще более темное, чем чернила. Большое, овальное. Поражала его неправдоподобная смоляная чернота.

© by Magdalena Tulli
© Ирина Адельгейм. Перевод, 2013

Каролина взглянула раз, потом другой — вероятно, в надежде, что ошиблась, что это все же не то, что сразу пришло ей в голову. Вдруг что-то другое? Например, дирижабль. Дирижабли она видела на старых фотографиях, по форме они такие же, сигарообразные. Она отвернулась и прибавила ходу. Подумала: не хочу на это смотреть. А вдруг все-таки придется? Сердце колотилось все сильнее, эхом отдаваясь в ушах. Конструкция моста, войдя в резонанс с сердцебиением, вибрировала. Малгожата продолжала идти вперед, дрожа от страха, ведь резонанс опасен — говорят, он бывает причиной обрушения мостов.

Все это слишком тяжко, сказала она себе, подразумевая действительно все. Потому что в реальной жизни дела у нее были тоже не ахти. Совсем недавно, уже во время развода, ее брак неожиданно обнаружил свой, прежде скрытый, замысловатый распорядок. Стоит ли удивляться, что за столько лет она так его и не узнала. Как не узнала и многих обстоятельств собственной жизни. Теперь Каролина постепенно осваивала факты. Факты, включенные в систему недавно, бесцеремонно спихивали старые с насиженных мест, требуя для себя пространства — любой ценой. Пусть даже ей пришлось бы стереть из памяти половину воспоминаний. Прошлое не бывает ни удобным, ни ясным, хотя и могло казаться таким, пока Каролина мало о нем знала.

В сгущающейся тьме она смотрела поверх перил на реку, скованную белесым льдом. Где-то под этим льдом спали рыбы, не имея никакой гарантии, что когда-либо проснутся. Никто бы не захотел оказаться на их месте.

Да, Каролина уже видела на небе эту тучу траурной черноты. Сколько раз? Да ладно! На свете такая одна, плывет, куда ветер погонит. Быть может, смотрится порой в воды Женевского озера, орошаемая брызгами большого фонтана, случается ей и проскользнуть над Нью-Йорком с его вечно спешащими прохожими, которые не станут задирать голову, чтобы взглянуть, как ее краешек цепляется за шпиль Эмпайр-стейтбилдинг. Но чаще всего она одиноко парит над безмолвными водами северных и южных морей, морей белых и черных, всяких. Ничего удивительного, ведь воды на земле больше всего. Возможно, мелькнет однажды в иллюминаторах трансатлантического авиалайнера и отстанет, прежде чем кто-то успеет ее разглядеть.

Очнувшись, Малгожата обнаружила, что по-прежнему стоит на мосту, почти не сдвинувшись с места. Оказывается, она уже давно остановилась, засмотревшись на это смоляное пятно на фоне фиолетовых чернил. На эту тучу. Отличавшуюся

от всех прочих туч и облаков — снежных, дождевых, градовых и грозовых. Не перистую и не кучевую. Траурную. Она напоминала большое облако густого черного дыма. Висела почти на уровне глаз и за это время успела подплыть еще ближе. Никуда от нее не денешься, подумала героиня этой истории, сколько ни перебирай ногами, ни к чему это не приведет.

Раньше туча являла себя более тактично, в прямоугольных скобках оконной рамы. Через стекло она тоже производила впечатление, хотя скобки делали свое дело — исключали ее из реальной жизни и помещали в пространство метафоры. Но над мостом? Не может быть, чтобы над мостом! Туча и мост не принадлежали к одному целому, это же ясно. Мост — часть жизни, а туча? Туча — совсем наоборот. С той, первой, встречи она очень изменилась. Ничего удивительного, учитывая ее бесконечные блуждания по небу, которые продолжаются уже, наверное... давайте-ка посчитаем... Долго. Атмосферные фронты, капризы ветров, гоняющих ее туда-сюда, — в результате она постепенно потеряла товарный вид, тут скукожилась, там растянулась, обтрепалась по краям. Но все же не рассеялась. Материя, из которой она сделана, слишком отличается от воздуха, чтобы смешаться с ним.

Каждый раз при ее приближении чувства во мне застывали и безжизненно проваливались обратно в свои глубины. Словно туча источала незримый яд отчаяния, проникавший сквозь окна и стены. В самых давних моих воспоминаниях ее овал медленно появляется в окне и торжественно вплывает в ограниченный рамой серый прямоугольник неба. Я болела скарлатиной, целыми днями лежала дома одна. Время тянулось медленно, вероятно, то и дело останавливаясь — то на четверть часа, то на полчаса. Глазами, слезящимися от температуры, которую не слишком успешно сбивали отечественным аспирином, я наблюдала, как туча проплывает по стоячим водам моей маеты и скуки и медленно заслоняет крышу соседнего дома. И не верила собственным глазам.

Сполз с одеяла и со стуком упал на пол детский словарь Палацци, где возле каждого слова была цветная картинка из мира, не похожего на наш, но хорошо знакомого. Эти рисунки позволяли мне одной ногой оставаться в Милане и помнить, что мир, в котором я живу, — не единственный, и законы его приняты не повсеместно. Я не нагнулась за книжкой, а продолжала смотреть в окно — словно зачарованная. В комнате сгущалась тень тучи. Мне стало интересно, видно ли ее из соседних окон. Даже если и так, никто не смотрел. В это время все взрослые были на работе, а дети — в школе.

При виде смоляной черноты я ощутила, как какой-то округлый предмет отделился от моего сердца и подступил к больному горлу, слишком крупный, чтобы протиснуться туда или обратно. Я давилась, не понимая, откуда он там взялся. Ведь не могла же я носить его в себе с самого рождения?

С той поры я давилась им еще много раз. И когда туча повисла над мостом, во мне снова что-то шевельнулось, затрепетало и поднялось наверх, к самой гортани. Горло сжалось, а я шла все быстрее, уже почти бежала. Пока не оказалась в толпе людей. Некоторые стояли, облокотившись о железные перила. Им открывался самый лучший вид. Замерев, все смотрели в одну сторону. Мне пришлось замедлить шаг. Машины тоже притормаживали. На мосту образовалась пробка, водители гудели, но не слишком настойчиво, словно никуда больше не торопились. На мгновение я задумалась: на что они все так смотрят? Не сразу догадалась, что на то же, на что и я. А когда поняла, ужаснулась еще больше.

Маленький песик в шерстяной курточке, сидевший у хозяйки на руках, вырывался и пронзительно тявкал. Женщина гладила его по голове, но ничего не помогало. На месте хозяйки Каролина просто прикрыла бы собачке глаза. Да. Ведь Каролина, или Малгожата, знала, что происходит.

— Возможно, это дым с электростанции, — предположил молодой мужчина без шапки. В армейской куртке он был похож на солдата с передовой. — Хотя, знаете, при таких погодных аномалиях это должно выглядеть иначе. Облака сбиваются вместе и опускаются очень низко.

— Куда вы так спешите? Остановились бы, взглянули на редкое атмосферное явление, — обратился к Малгожате его собеседник, закутанный, словно собрался в Антарктиду, и выпустил облачко пара прямо ей в лицо. Она не смогла бы ему ответить, даже если бы захотела. Не сумела бы выдавить ни слова через сжавшееся горло.

— Глобальное потепление — как же, как же! — хихикал тот, что без шапки. — Это, может, на Западе где-нибудь. У нас-то Россия рядом. Мы явно возвращаемся к резко континентальному климату.

Совсем рядом раздался звонок мобильника — изящная мелодия. Мелодия ведь не может мне сниться, — подумала она.

— Да, мама, — произнесла девушка в длинном шарфе. — Нет. На мосту. Ну, трамваи стоят. Не знаю.

Туча опустилась и в самом деле очень низко. Когда я видела ее в последний раз, несколько лет назад, она висела минимум на три этажа выше. А теперь была почти на уровне наших глаз. И замерла там — вызывающе, бесцеремонно. Каролина, или Малго-

жата, готова была на все, только бы убрать ее с глаз долой, спрятать, прикрыть. Но тут, к сожалению, ничего не поделаешь.

— Но что это? Почему оно такое черное? — интересовалась подружка той, в длинном шарфе.

Проталкиваться через толпу было слишком трудно.

— Что же это может быть? — подхватил закутанный, который уже заговаривал с Каролиной. — Как вы думаете?

И многозначительно посмотрел на нее. Что-то заподозрил? Может, просто хочет поболтать? Она пригляделась. Скорее просто поболтать. Но зачем ему знать? Это не его дело.

— Может, дирижабль? — помолчав, осторожно произнесла она.

Застрявший трамвай затрепетал дверьми и уехал.

— Дирижабль! Ха-ха! Но уж точно не водяной пар, — засмеялся закутанный, подмигнув ей.

Его веселье было необъяснимым.

Он, похоже, ее ровесник. То есть опыт у них примерно одинаковый. Он должен помнить те давние зимы — периода холодной войны, все одинаково снежные, темные и длинные. Вроде нынешней, которая считается исключительной. В те времена она сошла бы за самую обычную. Оттепели приносили эпидемии гриппа, которым аккомпанировали газеты, в других вопросах придавленные гнетом государственной цензуры. А на заднем плане — обшарпанные, плохо освещенные подъезды и тесные квартиры с кухней без окна.

После первого появления черной тучи за моим окном я не видела ее очень долго. Да, иногда я о ней вспоминала, но как о явлении из ряда вон выходящем, которое — я была уверена — навсегда останется загадкой. Этой загадкой я ни с кем не делилась. У меня не было настолько близких друзей, чтобы рассказать о том, что я видела. И потом, я стеснялась. Словно влипла в неприятную историю.

В последующие годы над нами проплыло множество других туч — сотни, тысячи обычных туч, одна за другой. О той даже можно было забыть. Прежде чем снова ее увидеть, я успела научиться читать и писать — правда, с ошибками и позже всех. Успела убедиться, сколь многое в жизни идет кувырком, и даже примириться с этим.

Одна из моих одноклассниц жила по соседству и соглашалась вместе возвращаться из школы, хотя и без особого восторга. Она позволяла мне присоединиться к ней, но только на полпути домой, после того как расставалась с подружками. Тогда она делалась немного приветливее. Иногда мы даже шли рядом и спокойно болтали.

— Покажи-ка свой ноль, — потребовала эта девочка однажды, когда в школе у меня выдался действительно кошмарный день. Ноль стоял в моей тетради — круглый, выведенный красной ручкой. Его ввели специально для меня, в виде исключения. "Даже кол нужно заслужить", — сказала учительница, ставя под нулем размашистую подпись.

Я послушно вынула тетрадь из ранца, но открывать не спешила. Девочка не понимала, чего мне еще стесняться, — про меня и так все всё знали.

— Давай быстрее, — поторопила она. — Ты же обещала.

Я точно помнила, что ничего не обещала. Но она уже протянула руку. Одна из нас держала, другая вырывала — и наконец вырвала. Тетрадь упала на землю, мятая, с надорванной обложкой. Мы обе смотрели на нее. Одноклассница опомнилась первой.

— Подними! — приказала она грозно. Я подняла. И подумала: какое счастье, что это моя тетрадь, а не ее.

В тот день я, как обычно, проводила ее домой.

Приблизительно тогда же случилось нечто, в нашем бесцветном и предсказуемом мире совершенно невероятное. Я видела это собственными глазами, потому что, как всегда, забыла ключ и после школы не могла попасть домой. Я видела, как люди бежали по улице, шарахаясь от синих милицейских машин — одной, другой[1]. Из-под ног у них поднимались облака слезоточивого газа, на земле валялись комья снега, почерневшие и твердые. Несколько человек забежали в подворотню, где я пряталась. За ними — милиционеры в серо-голубой форме, про которых мы прежде знали только, что они переводят через улицу детей и старушек. В тот день милиционеры надели каски, вооружились дубинками и занялись другими делами.

1. В марте 1968 г. после шестидневной израильско-арабской войны и связанного с ней разрыва дипломатических отношений с Израилем всем коммунистическим блоком (за исключением Румынии) в Польше вспыхнула антисемитская кампания. Поводом стали массовые протесты студентов и интеллигенции, начавшиеся после запрещения властями постановки "Дзядов" А. Мицкевича на сцене Национального театра в Варшаве (режиссер Казимеж Деймек) ввиду якобы антирусского и антисоветского звучания спектакля. 8 марта 1968 г. мирный митинг студентов Варшавского университета был разогнан отрядами милиции и вспомогательных служб. Это стало началом митингов и забастовок почти во всех университетах, которые были также подавлены силой. Пропаганда указывала на студентов-организаторов этих событий, происходивших из семей отдельных влиятельных лиц, особенно еврейского происхождения, которые к тому времени потеряли свои общественно-политические посты. После этих событий началась вынужденная массовая эмиграция евреев из Польши. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Это было как раз в Международный женский день. У бровки тротуара лежал растоптанный тепличный тюльпан неопределенного цвета. И все это — в четырех улицах от моего дома.

Позже, в другом месте, неведомом, проходили многочасовые митинги с десятками транспарантов, речами, обвинениями; их показывали в вечерних новостях.

Из новостей следовало, что в нашей стране скрываются нехорошие люди. Они хотят предать нашу страну, продать ее врагам, а выручку положить себе в карман. Правда — хотят продать? Вместе со всеми нами? Да, вместе со всеми нами и всем, что нам принадлежит, с транспарантами и знаменами, с фабриками, которые производят товары народного потребления, с омерзительными подъездами и кухнями без окна. С тетрадками для пятого класса, со школьными пеналами. Словно страна наша не была предана и продана гораздо раньше. Словно новый послевоенный хозяин не отрезал ее от плана Маршалла, поставившего на ноги Европу, словно не обременил непосильными обязательствами, не поверг в унизительную нищету. Поди теперь найди желающих купить все это.

— Крашеные лисы. Маскируются, прохвосты, — процедила одноклассница. Я не вполне понимала, что она имеет в виду, но от одиночества готова была возмущаться вместе с ней.

— Не притворяйся, — толкнула она меня локтем в бок. — Я отлично знаю, кто твоя мать.

— Моя мать, — сказала я, подумав, — работает в университете.

Такого ответа она, видимо, не ожидала.

— Да-а-а? Ну, теперь-то ее выгонят, — бросила она на меня холодный всезнающий взгляд. В тонком голосочке зазвучали суровые отцовские интонации. — А твой папочка больше не будет кататься за границу — туда-сюда. Это же Польша его посылает в командировки, то есть мы. Теперь с этим покончено.

Но кто это — мы? И в какие, интересно, командировки? Должно быть, она что-то слышала дома. Ее отец постоянно клялся в своем патриотизме, но имей он заграничный паспорт, небось, давно бы сбежал. Паспорта у него точно не было, уже сама попытка его получить вызывала подозрения. Приходилось объяснять свой каприз, а в результате все равно почти всегда отказывали. Другое дело — командировки. Моя подружка полагала, что ее папочка более достоин подобных привилегий, чем мой. Ей и в голову не приходило, что можно ездить за границу по личным делам.

Я представила себе ее отца с чемоданом на пороге нашей миланской квартиры. Ему пришлось бы растолковать моей бабушке, зачем он приехал. Что его, мол, прислали вместо папы.

Причем все это — на одном из тех языков, которые бабушка знает: итальянском, французском или английском. Кажется, он говорил по-немецки, но особо это не афишировал. Лучше всего он, конечно, владел польским. Никогда не лез за словом в карман. На родительских собраниях произносил длинные речи — поучал других родителей, как воспитывать детей, и никогда не разрешал себя прерывать. А вот сумел бы он вместо моего отца подписать договор с издателем? И с отцовскими друзьями ему тоже пришлось бы встретиться хотя бы раз, с большим и маленьким, Перони и Менотти. Они дружили с детства, и, бывая в Милане, отец никогда не забывал с ними повидаться. После возвращения в Польшу его вызывали в визовый отдел и интересовались, с кем он встречался — помимо родственников, разумеется. Отец уже не удивлялся, только пожимал плечами. С издателем, докладывал он. А еще с кем? С Перони и Менотти, отвечал он с невинным видом.

В конце войны все трое оказались в партизанском отряде. Но теперь вместо того, чтобы предаваться воспоминаниям, подшучивали друг над другом. Поэтому я долго не знала, чем они там на самом деле занимались. Сомневаюсь, чтобы отцу моей одноклассницы хватило чувства юмора для подобных разговоров. Кажется, оно у него вообще отсутствовало. Мать одноклассницы была родом из Силезии — только много лет спустя я догадалась, на каком фронте[1] погибли ее братья, — и о карьере не помышляла, просто преподавала немецкий. Но муж ей достался, похоже, — поистине наказание Господне.

— Вы едите наш хлеб, — сурово попрекнул он меня, встретив нас с одноклассницей возле дома. На нем была охотничья шляпа с пером, зеленоватая. Не на нем одном — такая была мода.

— Это не про вас хлеб, свой ешьте, — утром, перед самым звонком будильника, я снова услышала эти слова в магазине на углу, снова кладя во сне на прилавок два сорок. Нет — так нет, подумала я, проснувшись на мгновение, все равно он мне в горло не лезет.

Все это происходило в конце долгой зимы, когда я ходила постоянно замерзшая и смертельно усталая, а до каникул было еще безнадежно далеко. Стояла отвратительная погода, всю нашу страну накрыло балтийским циклоном, шел снег или дождь со снегом, и было еще более серо, чем на газетных фотографиях, потому что в газетах хотя бы заботились о том,

1. То есть на стороне немцев (в общей сложности к концу войны в гитлеровскую армию было призвано около 220 тысяч жителей Силезии).

чтобы снимок был контрастным. Мне уже не хотелось гулять. Сидя на лестнице под дверью, я по нескольку часов ждала, пока вернутся мать или отец и впустят меня в теплую квартиру. В тот день первым пришел отец. Сосед — в такой же шляпе, какую носил отец одноклассницы, охотничьей, зеленоватой — остановил его на лестнице этажом ниже. Со своего места я видела даже перышко на шляпе, нежное, словно выдернутое из хвостика птенца. На сей раз сдержанным обменом любезностями дело не ограничилось.

— Простите за любопытство, но я давно хотел спросить... Вы ведь не поляк...

Очень может быть, что для него, как и для многих других, существовали только две национальности.

Отец весело улыбнулся. Он не был поляком. Он не хотел быть поляком. Он был представителем третьей национальности, одной из многих третьих национальностей, которые сосед вообще не принимал в расчет. Отец привык к Польше, хоть был от нее и не в восторге. Но никто не мог упрекнуть его за это, потому что в кармане у него лежал иностранный паспорт, а работал он в учреждении культуры государства, принадлежащего к другой, враждебной половине земного шара.

— Если я правильно понял ваш вопрос... — ответил соседу отец на своем очень правильном польском языке с легким акцентом. Подмигнул, потом повернулся в профиль и провел пальцем по носу. — Видите характерную горбинку — вот здесь?

Да ведь это неправда, подумала я отстраненно. Мать — да, в некоторой степени, а он — нисколечко. Я заподозрила, что теперь мне придется еще хуже, чем раньше. И поразилась, потому что еще секунду назад была уверена, что хуже быть не может. Но мир не ограничивался нашим подъездом. Снаружи сочилось нечто серое и грязное, где-то проходили эти митинги, люди размахивали злобными транспарантами, раздраженно бросали малопонятные обвинения. Эти раздраженные интонации слышались со всех сторон, звучали они и в нашей школе. Теперь даже самая невинная фразочка напоминала чемодан с двойным дном: трудно предвидеть, кто что может в нем обнаружить. Но отцу было наплевать.

Назавтра у нас ужинали его знакомые из посольства. Я уже лежала в кровати, свет был потушен, и от скуки я прислушивалась к их разговору. Речь шла, разумеется, о беспорядках, о прессе, о транспарантах. Они были взволнованы, но иначе, чем все вокруг, — словно зрители в театре. За десертом отец разыграл для гостей сценку на лестничной площадке, и публика захихикала, попивая эспрессо.

Мне и без этой заварушки жилось непросто. В школе грозили двойками на экзаменах. Грозили каждый год, но до сих пор я ни разу не провалилась, хотя каким чудом — непонятно. Училась я хуже всех и вечно забывала ключи. Эти две неприятности достаточно отравляли мне жизнь. Но если бы я спросила у отца, зачем он так себя повел, встретив соседа на лестнице, он самодовольно ответил бы, что в этой стране, а уж особенно сейчас, все порядочные люди должны выдавать себя за...

Почему-то мы разговаривали только о самом необходимом и всегда на его языке — никогда на моем. А ведь его язык стал бы моим, будь у нас общие темы. Порядочность? Я должна взвалить это на себя из соображений порядочности? С двойками и без ключа в кармане? Не хочу, решила я. Не хочу. Да если бы даже и захотела, то не сумела бы. Откуда мне было уметь? А мои проблемы разве кто-нибудь на себя возьмет? Так почему я должна взваливать на себя ЭТО? Кто может меня заставить? О, заставить-то всегда могут, подумала я в следующее мгновение. И я уж точно не найду что возразить. К двум моим тяжким проблемам прибавится третья, непостижимая.

Но тот, кем представился мой отец, не разгуливает беззаботно по свету, всегда готовый сострить. Это-то его и выдает. А не всякие там незаметные горбинки. Откуда мне было об этом знать? Даже Гитлер не знал. А сосед знал. Понял, что промахнулся, раз отец принялся над ним подшучивать. Подозрения, возникшие в голове соседа во время чтения утренней газеты, не подтвердились. Впрочем, может, он уже давно об этом раздумывал, и ему не хватало только этих транспарантов, чтобы начать действовать. Но в конце концов и он улыбнулся — надо ведь было показать отцу, что он тоже понимает шутки.

Несколько дней спустя, на первой же перемене, та самая одноклассница, которую я провожала домой, поинтересовалась — со странным выражением лица, — в кого у меня такие черные глаза. Ни в кого. Я видела их в зеркале сто тысяч раз. Они синие. Просто синие. Ярко-синие. Как васильки, заметила какая-то проходившая мимо женщина однажды, когда мы возвращались из школы, девочки впереди, я сзади. Она ведь не знала, что мне грозит двойка на экзамене. Девочки тут же наперебой доложили ей об этом. Как ни крути — ярко-синие.

— Они вовсе не... — начала я и осеклась.

За одноклассницей стеной стояли ее подружки. Их было несколько. Они постоянно обижались друг на дружку, сплетничали, ссорились и мирились. Они умели защищаться и на-

падать, были непреклонны и жестоки, словно солдаты на войне. В то утро между ними как раз царило образцовое согласие. Они обступили меня, не давая пройти, когда с тяжелым, как камень, сердцем я пыталась прорваться.

— Черные! — кричали они, хихикая. — Черные! Черные!

— Теперь-то уж вы уедете, — заявила моя одноклассница перед самым Днем ребенка. Я уже не пыталась с ней подружиться, хотя никогда бы не решилась заявить об этом открыто. Мы встретились случайно в магазине, в очереди. Обе с пустыми корзинками.

— Да, в Италию.

В тот день мой отец собирал вещи. Он всегда улетал первым. Меня сажали в самолет только после окончания учебного года. Прогуливать было нельзя — мне бы не простили ни одного дня.

Она демонстративно оттянула указательным пальцем нижнее веко. Сверкнула розоватая полоска слизистой, я отвела глаза.

— В какую еще Италию? — фыркнула она. — Не старайся, меня не проведешь. После каникул тебя тут не будет.

У нее было собственное представление о том, где мое место. Уж она бы не стала по мне скучать. Да и я по ней тоже.

После каникул шум охоты отдалился. Еще вроде бы слышался лай, но, может, это были вовсе не охотничьи собаки... Похоже, лисы убежали. В нашей школе никто о них не вспоминал, словно все про ту мартовскую историю забыли. Зато ввели утренние переклички. Я не присутствовала ни на одной. Не получалось — они начинались аж за четверть часа до первого урока. Кажется, на каждой перекличке называли мою фамилию — я бессменно занимала первое место в списке опоздавших.

Кроме того, заработал телевизор, уже несколько лет стоявший в Красном уголке, и в нашей жизни появились учебные программы. Классы по очереди садились на пол и разглядывали снежный экран, по которому проплывали то орлы Пястов[1], то лики советских космонавтов, то танковые колонны времен Второй мировой войны. Настройка все время сбивалась, и приходилось без конца крутить переключатели, чтобы удержать на экране исчезающую картинку.

Подошла наша очередь, и вместо урока математики мы уселись перед телевизором. Голос лектора терялся среди шу-

1. Пясты — первая польская княжеская и королевская династия. Герб Пястов — в червленом поле серебряный орел с золотой короной и вооружением.

ма и треска. То и дело кто-нибудь начинал шептаться, девчонки обменивались записочками. Из хаоса на мгновение проступали неподвижные кадры, мы краем глаза на них поглядывали. Кирпичная труба, клубы черного дыма. Перед нами, сопляками, стояли навытяжку чудовищно худые взрослые в полосатых пижамах — средь бела дня. В этом было что-то тревожное, даже если не знать, в чем дело. Я знала, хоть и не помнила откуда. Другие тоже знали. Я села подальше, у окна, из которого было видно дерево. Рядом двое мальчишек потихоньку рассматривали перочинный ножик. С дерева падали желтые листья. Время от времени я отрывала взгляд от листьев и поворачивалась в другую сторону, к ножику. Третий мальчик, владелец ножика, обеими руками обхватил мою голову и повернул прямо.

— Куда ты смотришь? Вот туда смотри! Это про твоих родственников.

Не то чтобы он на самом деле что-то обо мне знал. Просто языкастый, любому, кто бы подвернулся, мог так сказать.

Вот осенью, еще до того как полностью облетели желтые деревья, и вернулась моя туча. На сей раз она появилась во сне, еще более черная, чем прежде. Сначала в верхнем углу окна показался ее округлый перед. Я смотрела недоверчиво, хотя сразу ее узнала. Иллюстрированный словарь для детей "Il mio primo Palazzi"[1] снова соскользнул у меня с колен и со стуком упал на пол. Тем временем туча медленно опустилась немного ниже, теперь она уже почти касалась оконного стекла. Среди клубов густого, как сажа, дыма я разглядела какие-то лохмотья, разрозненные ботинки, пустые чемоданы. Что-то большое отделилось от сердца, поднялось и застряло в горле, причиняя мне боль. Тогда я все поняла. В этой черной туче, которую ветер гнал над морями и океанами, плыли по небу мои родственники.

Трудно было преодолеть смятение, которое внесло в мое существование это родство. Туча черного дыма полностью аннулирует мою жизнь, отнимает право на собственную судьбу, обращает меня в точку в конце фразы, рассказывающей не обо мне. Я родилась, когда все уже давно закончилось, поэтому мои желания и усилия, отчаянные выходки, романы, роды и разводы становятся ничего не значащими фактами. Я — против. У меня тоже есть право на собственную судьбу. С каждым годом обойтись без нее все труднее. Только половина моих родственников плывет в этой туче, думаю я сердито. Толь-

1. "Мой первый Палацци" (*итал.*).

ко половина. А вторая половина беззаботно живет в чудесном мире из словаря Палацци.

– А мы случайно не знакомы? – спросил закутанный. Интересно, кто он по профессии? Автомеханик? Холостяк, а может, разведенный? Возвращается с работы, а дома его никто не ждет? Он ни с того ни с сего вынул из кармана футляр, выудил из него очки и водрузил на нос. Стал ее разглядывать. Она его не узнавала, но какая разница. Давным-давно, когда происходили все эти ужасы, она закрывала глаза, чтобы не смотреть, и никого не видела. Да если даже он где-то там и был, если стоял и наблюдал – что́ такого он мог о ней поведать? Что в первом классе она облизывала перышко и ходила с чернильными пятнами в уголках губ? Что́ такого он может помнить? Что над ней смеялись? Что́ такого скандального мог бы открыть спустя годы? Что ее обвинили в краже, а потом деньги нашлись? Муж думал, что перед ней извинились, – все эти годы она скрывала правду.

Ей не пришло в голову, что этот тип просто хочет познакомиться, а может, возобновить знакомство, неважно. Или поддразнивает ее. Может, он пригласил бы ее на чашечку кофе, – пора согреться, вам не кажется? – если бы не был обескуражен ее испуганным взглядом. Она попятилась. Кто это такой? – гадала она тревожно. На душе появился неприятный осадок – да, именно осадок. Словно она столкнулась с шантажистом.

Потом подошел трамвай и заслонил тучу. В трамвай села женщина с собачкой, сел закутанный, который многозначительно веселился, и второй тоже сел – тот, что помоложе, в армейской куртке, метеоролог-любитель, обеспокоенный соседством с Россией. Сели и обе девушки – теперь, для разнообразия, телефон прижимала к уху вторая. "Да, – сказала она. – Нет. – И вдруг вскрикнула в три раза громче: – Что?" – Люди всё садились и садились, никто не выходил. Потом битком набитый трамвай уехал по замерзшим рельсам, и Каролина, или Малгожата, осталась стоять на мосту одна, вглядываясь в темное небо.

Она вырастила сыновей и разошлась с мужем, больше не надо было варить обед и готовить ужин, так что она могла себе стоять на этом мосту сколько угодно, хоть до скончания века. Подобно рыбам, дремлющим подо льдом, приспособилась бы к низким температурам. Что ж, зима в этом году исключительно морозная. Но, возможно, теперь все зимы будут такими? И кто знает, только ли зимы. Быть может, вместе с континентальным климатом вернется и холодная война? И эти

туманные обвинения, эти тревожные интонации? А если углубиться в прошлое еще дальше — вернется ли...

Может ли это вернуться?

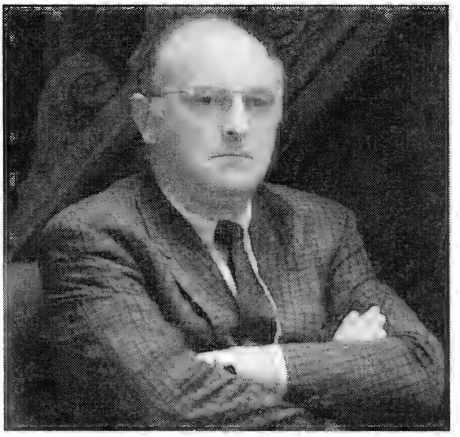
Напрасно она мучает себя этими вопросами. Надо брать пример с других. Они разыгрывают свою партию спокойно, прилично одетые, с улыбкой — не приходится опасаться внезапных рыданий. Их разум — всегда на стороне жизни, занятый чем-то конкретным: счетáми, чьей-то свадьбой или разводом. А она? Ее изъян заключается как раз в том, что ни с того ни с сего она может рухнуть в другое время — под ней будто пол проваливается, и она летит на несколько этажей вниз. Она уверена, что ничего не боится. А на самом деле постоянно чего-то боится. Всегда одного и того же — и ничего больше. Но этот страх так врос в ее сердце, что в повседневной жизни совсем не ощущается, только изредка она начинает задыхаться, словно в горле застряло инородное тело, неизвестно откуда там взявшееся.

В этом-то все и дело. Страх душит ее, круглый и твердый, как шарик, детский мячик, невозможно ни выплюнуть его, ни проглотить. Но чего ей бояться? Она умеет почти все, что могло бы ей пригодиться, если бы... Она, пожалуй, не пропадет, во всяком случае не сразу.

Она может бежать много часов без отдыха, а если надо — даже с утра до вечера, несмотря на небольшую аритмию. В ровном темпе, не слишком быстро, но достаточно, чтобы еще до наступления ночи уйти далеко, если только никто ее не подстрелит. Движение согревает, так что она могла бы бежать и в сильный мороз, и даже босиком, если вдруг порвутся ботинки. Лучше всего — через лес. Она может сколь угодно долго выносить одиночество, не боится ни тишины, ни темноты, слова ей требуются не более, чем лесному зверью. Чтобы не умереть с голоду, ночью она бы воровала из курятников яйца. Она привыкла ни от кого не ждать помощи, а это увеличивает шансы на выживание больше, чем обилие друзей. Она бы не решилась попросить ее спрятать, поскольку убеждена, что это неприлично, и не исключено, что она права. Зато она могла бы бежать и бежать, бесконечно. Но вот отыскала бы она причину, чтобы спасаться ценой таких усилий? Мысль об этом ее не печалит. Если что-то ее и беспокоит, так только то, что она не поможет бежать своим детям.

Такие уж мы, лисы. Поколение за поколением станем проскальзывать из одного сна в другой, из другого в третий.

Иосиф Бродский



Нобелевская премия 1987 года

B*lues*. T*örnfallet*. A S*ong*. T*o* M*y* D*aughter*

Переводы с английского
Вступление Виктора Куллэ

В одном из интервью Иосиф Бродский обмолвился, что "при существовании в двух культурах" легкая степень шизофрении является "не более чем нормой". С научной точки зрения поэт допустил ошибку, для неспециалистов распространённую: спутал одно психическое заболевание (распад процессов мышления и эмоциональных реакций) с другим — так называемым "диссоциативным расстройством личности", которое в просторечии именуют ее раздвоением. Подвела этимология: история термина "шизофрения" восходит к древнегреческому σχίζω φρήν (раскалывать рассудок). Более чем за полвека до Бродского подобную ошибку допустил в одной из статей Т. С. Элиот.

© Фонд по управлению наследственным имуществом Иосифа Бродского. Воспроизведение без разрешения Фонда запрещено. The Estate of Joseph Brodsky. Not to be reprinted or reproduced in any form without written permission of the Estate of Joseph Brodsky.
© Виктор Куллэ. Перевод, вступление, 2013
© Наталия Беленькая-Гринберг. Перевод, 2013
© Марина Бородицкая. Перевод, 2013
© Александр Шапиро. Перевод, 2013
© Кирилл Анкундинов. Перевод, 2013
© Леонид Ситник. Перевод, 2013
© Григорий Кружков. Перевод, 2013

Этот забавный инцидент уместен в качестве отправной точки для рассуждений о проблеме англоязычного творчества Бродского. Углубляясь в историю вопроса, вспомним, что расщепление личности неоднократно декларировалось им как важнейший из компонентов (или инструментов?) творчества. Так, оценивая ахматовский "Реквием", поэт утверждал, что замечательность его в том, что это "произведение, постоянно балансирующее на грани безумия, которое привносится не самой катастрофой... а вот этой нравственной шизофренией, этим расколом... на страдающего и на пишущего". Проще говоря, для Бродского способность поэта противостоять разрушительным свойствам времени была неразрывно связана с приобретением навыков отстранения. Как от собственных субъективных рассуждений, так и от страдающего "лирического Я".

Наиболее расхожей метафорой отстранения является зеркало. Для русскоязычного творчества Бродского диалогизм, апеллирующий к беседе с собственным изображением, — вещь характерная. Достаточно вспомнить "Большую элегию Джону Донну", "Горбунова и Горчакова", пьесу "Мрамор". В эссе о Петербурге именно со способностью отстранения он будет связывать возникновение русской классической литературы. Европейский город, стоящий на краю полуазиатской Империи, предоставил пишущей братии "возможность взглянуть на самих себя и на народ как бы со стороны... Город позволил... объективировать страну".

Обратившись в Норенской ссылке к изучению английского, Бродский подчеркивал, что обнаружил сходную ситуацию во взгляде островитян на континентальную Европу: "Дело в том, что европейцы, русские в том числе... рассматривают мир как бы изнутри, как его участники, как его жертвы. В то время как в английской литературе... все время такой несколько изумленный взгляд на вещи со стороны. Элемент отстранения, который европейцу, в общем, не присущ".

Причину он выводил из самой природы английского языка, "главное качество" которого "не *statement*, то есть не утверждение, а *understatement* — отстранение, даже отчуждение... взгляд на явление со стороны". Именно это привлекало его в поэзии английских метафизиков и У. Х. Одена. Михаил Мейлах вспоминал, что Бродский "очень рано усвоил и великолепно чувствовал" английскую поэзию, даже когда он еще довольно слабо знал язык. Вероятно, возможности, открываемые английской традицией, совпали с собственными поисками.

Согласно воспоминаниям Евгения Рейна, уже в начале 60-х Бродский "говорил о том, что надо сменить союзника, что союзником русской поэзии всегда была французская и латинская традиция, в то время как мы полностью пренебрежительны к англо-американской традиции, что байронизм, который так много значил в начале XIX века, был условным, что это был байронизм личности, но что из языка, из поэтики было воспринято чрезвычайно мало, и что следует обратиться именно к опыту англо-американской поэзии". Сходный интерес к английской поэзии в России XX века проявлял Борис Пастернак. Вяч. Вс. Иванов вспоминал, что летом 49 года он

услышал от Пастернака: "Я одно время думал, что английская поэзия — родоначальник и источник для других европейских, как когда-то греческая". "А в шестидесятых, — продолжает Иванов, — я слово в слово то же услышал от И. А. Бродского, тогда совсем юного".

К моменту вынужденной эмиграции поэт не только вполне сносно владел языком, но и пытался что-то сочинять по-английски. До нас дошли его шуточные лимерики 1971 года, адресованные Кейсу Верхейлу, и датируемая 1969-м попытка переложения на английский стихотворения Владимира Уфлянда "В целом люди прекрасны".

Очутившись в эмиграции, Бродский воспринял окружающую англоязычную реальность как универсальное зеркало, помогающее сделать следующий шаг на пути отстранения. В эссе "Поклониться тени" он датирует начало своей англоязычной литературной деятельности летом 1977 года. При этом поэт подчеркивал, что обратился к иному языку не "по необходимости, как Конрад", не "из жгучего честолюбия, как Набоков" и не "ради большего отчуждения, как Беккет", — но исключительно из стремления "очутиться в большей близости к человеку, которого... считал величайшим умом двадцатого века: к Уистену Хью Одену". Реверанс, сделанный в сторону ушедшего товарища, уместен в эссе, посвященном его памяти, но тут Бродский немного лукавит. Его профессиональное обращение к английскому произошло раньше. Первым "серьёзным" английским стихотворением можно считать написанную в 1974 году элегию на смерть Одена, опубликованную в коллективном сборнике "W. H. Auden: A Tribute" (1975). (Впоследствии, правда, ни в одну из авторских книг этот текст включен не был.)

Переход Бродского на английский связан с двумя утилитарными факторами. Первый касается эссеистики. Ранние рецензии и эссе, написанные в эмиграции, переводились его друзьями, Карлом Проффером и Барри Рубином. На перевод уходило определенное время, и Бродский поставил перед собой формальную задачу — научиться делать это самостоятельно. И чтобы выдерживать предлагаемые журналами сроки, и попросту чтобы лучше овладеть языком. Обращение же к английской версификации продиктовано было неудовлетворенностью поэта существующими переводами. Притом что ему редкостно повезло с переводчиками, Иосиф Александрович большинством переводов оставался недоволен, предлагал собственные поправки — не всегда, с точки зрения переводчиков, оправданные. Что, естественно, вызывало массу обид. "И поэтому, — вспоминал Бродский, — чтобы не портить никому кровь, я стал заниматься этим сам... поскольку уж я тут живу, я чувствую себя ответственным за то, что выходит под моим именем по-английски... И если уж меня будут попрекать, то пусть уж лучше попрекают за мои собственные грехи, а не говорят, что, дескать, по-русски это, может быть, и замечательно, но вот по-английски звучит ужасно".

Параллельно с автопереводами стали появляться оригинальные стихи, написанные по-английски. Итоговый их объем весьма значителен — свы-

ше двух тысяч строк. Символично, что перед уходом из жизни Бродский подготовил к печати два прощальных сборника: русскоязычный "Пейзаж с наводнением" и "So Forth", в котором оригинальные английские стихи уже вполне равноправны с автопереводами.

Прививка английской поэтики, "нейтральной интонации", сделанная Бродским отечественной изящной словесности, общеизвестна. Ее, в зависимости от вкусов толкователя, неизменно ставят ему в заслугу, либо в вину. Но российский читатель мало знаком со сложным (и не всегда доброжелательным) восприятием англоязычного творчества Бродского в США и особенно в Англии. Вышедшая вскоре после его смерти статья одного из столпов британского поэтического истэблишмента Крэйга Рэйна носила название: "Репутация, подверженная инфляции". Сомнения высказывали даже те, кто в целом относится к русскому нобелиату вполне доброжелательно. Так, оксфордский поэт-лауреат Рой Фишер именует попытку Бродского, "пришедшего в английский язык и сражающегося, в сущности, за то, чтобы вывернуть наизнанку его отстранение", донкихотовской — то есть благородной, но заведомо обреченной на неудачу. При этом англоязычная эссеистика поэта была встречена весьма благосклонно. Достаточно сказать, что его первая книга эссе "Less Than One" удостоилась премии Национального совета критиков США (The National Book Critics Circle).

В чем кроется причина неоднозначного отношения к англоязычному творчеству Бродского? Начнем с того, что Бродский — самим фактом двуязычного существования — был обречен на сопоставление с Набоковым. Он, конечно же, открещивался: "Это сравнение не слишком удачно, поскольку для Набокова английский — практически родной язык, он говорил на нем с детства. Для меня же английский — моя личная позиция. Я испытываю удовольствие от писания по-английски. Дополнительное удовольствие — от чувства несоответствия: поскольку я был рожден не для того, чтобы знать этот язык, но как раз наоборот — чтобы не знать его. Кроме того, я думаю, что я начал писать по-английски по другой причине, нежели Набоков, — просто из восторга перед этим языком. Если бы я был поставлен перед выбором: использовать только один язык — русский или английский, — я бы просто сошел с ума". Здесь, однако, все не так просто. Кажется, никому еще не приходило в голову сопоставить дату начала англоязычного писательства Бродского — лето 1977 года — с датой ухода из жизни Набокова. К сказанному можно добавить, что чуть позже Бродский опубликует перевод на английский стихотворения Набокова "Демон" — что можно считать жестом экстраординарным. Чужие стихи на английский он переводил чрезвычайно мало. Среди редчайших исключений: Мандельштам, Цветаева, Збигнев Херберт, Вислава Шимборская — поэты, которых (в отличие от Набокова-поэта) Бродский ценил высоко.

Неизбежность сопоставления диктовала потребность в оригинальности собственного английского имиджа. В случае Бродского это означало стремление не вписаться — а, наоборот, выступить против устоявшихся в англоязычной поэзии традиций. Прежде всего это касалось нехарактер-

ной для современного английского стихосложения тенденции к строгой ритмической упорядоченности. Число английских верлибров у Бродского ничтожно мало, а названия ряда стихотворений свидетельствуют о несомненной тяге к стилизации: "Tune", "Carol", "Anthem", "Tale". Таковы и его "Песни", сознательно ориентированные на опыт "Песен" Одена. Для современного читателя это выглядело откровенным анахронизмом.

Другой точкой преткновения стала рифмовка. В стремлении к оригинальной рифме Бродский шел на эксперименты, носителям языка казавшиеся рискованными, а то и вовсе невозможными. Прежде всего речь о составных рифмах, наподобие *Venus — between us* в финале "Törnfallet" или *Manhattan — man, I hate him* из "Blues". Они не только вызывали оторопь у коллег-стихотворцев, но и приводили порой к появлению незапланированного комического эффекта. Дело в том, что в английской поэзии подобная рифмовка характерна лишь для низовых, иронических жанров.

При этом иногда Бродскому удавалось практически невозможное: обнаружить в английском свежую незатасканную рифму. Порой это было результатом иного устройства слуха, порой — за счет привлечения редкой, вышедшей из употребления лексики. Широта и недискриминированность его лексикона стала оборотной медалью влюбленного в язык неофита. Бродский, почитавший Одена "единственным человеком, который имеет право использовать... для сидения... два растрепанных тома Оксфордского словаря", похоже, также имел на эту привилегию достаточно веские основания. И наконец, внутренняя логика его стихов, написанных на аналитическом (английском) языке, диктуется порой логикой языка русского (синтетического). "То есть, — цитируя его эссе "Поэт и проза", — читатель все время имеет дело не с линейным (аналитическим) развитием, но с кристаллообразным (синтетическим) ростом мысли".

Англоязычное творчество Бродского можно оценивать по-разному. И как причуду гения, и как его провал, и как напоминание о тотальном языковом эксперименте, поисках общего знаменателя для англо- и русскоязычной поэзии. Но каков бы ни был вердикт, следует признать, что английский язык стал для Бродского тем идеальным зеркалом, благодаря которому сформировалась его собственная оригинальная поэтика. Уже поэтому его англоязычные стихи заслуживают нашего признания и благодарности.

Попытка перевода Бродского на русский выглядит едва ли не безумием. Но вспомним его знаменитые слова о "величии замысла" — они объединяют представленных здесь переводчиков, которых воодушевляла именно дерзость подобной задачи. Пусть любая попытка перевода заведомо обречена, но потребность пишущего в зеркалах еще никто не отменял. В конечном счете сам Бродский со временем превратился в гигантское зеркало, глядеться в которое отечественной поэзии предстоит долго.

B*lues*

Eighteen years I've spent in Manhattan.
The landlord was good, but he turned bad.
A scumbag, actually. Man, I hate him.
Money is green, but it flows like blood.

I guess I've got to move across the river.
New Jersey beckons with its sulphur glow.
Say, numbered years are a lesser evil.
Money is green, but it doesn't grow.

I'll take away my furniture, my old sofa.
But what should I do with my windows' view?
I feel like I've been married to it, or something.
Money is green, but it makes you blue.

A body on the whole knows where it's going.
I guess it's one's soul which makes one pray,
even though above it's just a Boeing.
Money is green, and I am grey.

1992

Б*люз*

Восемнадцать лет я топчу Манхэттен.
Добрый хозяин, сдававший кров,
стал редкой сволочью. Впрочем, хер с ним.
Вечная зелень течет как кровь.

Может, махнуть через реку пехом?
Серное пекло Нью-Джерси ждет.
Дни сочтены, и это неплохо.
Вечная зелень не прорастет.

Я вывезу старый диван и пожитки,
но как предать свой вид из окна?
Чую, что я обручен с ним по жизни.
Вечность, как тоска, зелена.

С телом О. К., но шепнуть "О Боже!"
может лишь то, что зовут душой.
Даже когда в небесах только "Боинг".
Зелень бессмертна, а я седой.

Перевод Виктора Куллэ

Новый мир, 2010, № 8

Блюз

Восемнадцать лет я провел в Манхэттене.
Хозяин хороший был человек.
Теперь ненавижу я гада этого.
Зелены деньги, а тают как снег.

Похоже, пора переехать за реку.
Годы несносны, пока идут.
Нью-Джерси манит меня серным заревом.
Зелены деньги, а не растут.

Заберу свой диван и другую мебель.
Но что мне делать с видом в окне?
Я будто женат на нем в самом деле.
Зелены деньги на черном дне.

Тело-то знает, куда оно катится.
Молишься именно что душой,
Пусть даже сверху — одна Люфтганза.
Зелены деньги, а я седой.

Перевод Наталии Беленькой-Гринберг

Блюз

Восемнадцать лет был мой адрес — Манхэттен,
и вдруг — привет — подскочила цена.
Хозяин жулик, маман его к хеттам!
Эх, доллар зелен, да кровь красна.

Придется перебираться в Нью-Джерси:
с этого берега — прямо на тот.

Там серный дым и какие-то черти.
Эх, доллар зелен — жаль, не растет!

Возьму свой диван, посередке примятый,
но как я оставлю вид из окна?
Мы с ним уже почти что женаты.
Эх, доллар зелен — тоска черна.

Тело, в общем, не ропщет, маршрут освоен.
Лишь душа с мольбою глядит туда,
где Бог пролетает, а может, "Боинг".
Эх, доллар зелен, башка седа.

Перевод Марины Бородицкой

Törnfallet

There is a meadow in Sweden
where I lie smitten,
eyes stained with clouds'
white ins and outs.

And about that meadow
roams my widow
plaiting a clover
wreath for her lover.

I took her in marriage
in a granite parish.
The snow lent her whiteness,
a pine was a witness.

She'd swim in the oval
lake whose opal
mirror, framed by bracken,
felt happy broken.

And at night the stubborn
sun of her auburn
hair shone from my pillow
at post and pillar.

Now in the distance
I hear her descant.
She sings "Blue Swallow",
but I can't follow.

The evening shadow
robs the meadow
of width and color.
It's getting colder.

As I lie dying
here, I'm eyeing
stars. Here's Venus;
no one between us.

1990–1993

Törnfallet[1]

В Швеции луг зеленый.
Там я лежу сраженный,
следя одними белками
за облачными завитками.

И, по лугу ступая,
вдова моя молодая,
любимому на венок
клевер рвет из-под ног.

Мы обвенчались скрытно,
здесь, в приходе гранитном.
Снег фату ее создал,
вместо свидетелей — сосны.

В папоротниковой раме
зеркало, где вечерами
плескалась она. Овал
опаловым отливал.

1. Тёрнфаллет — местечко, расположенное близ озера Веттерн. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

А нашим ночам светило
волос золотых светило
с подушки моей измятой,
мотаясь туда-обратно.

Теперь вдали, как сквозь вату,
я слышу: она напевает
“Ласточку” на лугу.
Но подпеть не могу.

Сумрак вечерний, вязкий
скрадывает краски.
Луг в темноту уходит
и подступает холод.

Умирая, я вижу
звезды. Они всё ближе.
Венера светит сквозь тьму.
Прочие — ни к чему.

Перевод Виктора Куллэ

Новый мир, 2010, № 8

Törnfallet

У шведского луга
мне стало туго,
и плывет в белках
вода в облаках.

По лугу кружится
моя вдовица;
хахалю сплела
из клевера удила.

Мы стали парой
в часовне старой.
Снег дал нам ясность,
был дружкой ясень.

За ней покорный
овал озерный,
зеркальный, пресный,
был счастлив треснуть.

С моей постели
ее блестели
власы златые
на все четыре.

Неподалеку
ее высокий
напев про лето,
но песня спета.

Вечерняя темень
в широкие тени
краски украла.
Похолодало.

Взгляд, угасая,
впер в небеса я.
Венера в небе;
один я с нею.

Перевод Александра Шапиро

Törnfallet

Швеции посередине
Лежу в луговине,
Слежу краешком зренья
Облачное круженье.

Вдовушку манит север —
Оборвала весь клевер:
— Будет тебе веночек,
Миленький мой дружочек.

...Как нас венчали зори
Там, в гранитном соборе,

Свадебной лентой снежной,
Сосен речью мятежной.

Озера лик овальный,
Зеркала блик хрустальный,
Ты и волны, и блеск опала –
Трещина зазияла.

Каждой полночью черной
Огненно и упорно
Рыжее солнце твое светило –
И прибавлялась сила.

Голос твой глуше, тише.
Слушаю и не слышу
Звуки "Ласточки синей"
За звуковой пустыней.

Вечерние тени
Крадут цвета, измеренья.
Там, где цвело лугов убранство, –
Ледяное пространство

Умиранья и ночи.
Вижу близкие очи
Звезд. Вот и Венера.
А меж нами – безлюдная сфера.

Перевод Кирилла Анкудинова

A S*ong*

I wish you were here, dear,
I wish you were here.
I wish you sat on the sofa
and I sat near.
The handkerchief could be yours,
the tear could be mine, chin-bound.
Though it could be, of course,
the other way round.

I wish you were here, dear,
I wish you were here.
I wish we were in my car,
and you'd shift the gear.
We'd find ourselves elsewhere,
on an unknown shore.
Or else we'd repair
to where we've been before.

I wish you were here, dear,
I wish you were here.
I wish I knew no astronomy
when stars appear,
when the moon skims the water
that sighs and shifts in its slumber.
I wish it were still a quarter
to dial your number.

I wish you were here, dear,
in this hemisphere,
as I sit on the porch
sipping a beer.
It's evening, the sun is setting;
boys shout and gulls are crying.
What's the point of forgetting
if it's followed by dying?

1989

Песня[1]

Хочу быть с тобой, моя радость,
хочу быть рядом.
Присесть на диванчик,
любуясь твоим нарядом.
Пусть твой платок потихоньку
слезою моей набрякнет,
хотя мне вполне подходит
и вариант обратный.

1. Бродский отмечал, что стихотворение является стилизацией под "Песни" У. Х. Одена.

Хочу быть с тобой, моя радость,
хочу быть рядом.
Чтоб, сидя в моей машине,
ты крутила баранку.
Отыщем приют на новом
неведомом побережьи,
или туда вернемся,
где были счастливы прежде.

Хочу быть с тобой, моя радость,
хочу быть рядом.
К чему мне астро́ном, когда
звезда отвечает взглядом?
Луна, по воде чертя,
скользит над сонной волною.
Она для меня — четвертак,
чтобы набрать твой номер.

Хочу быть с тобой, моя радость,
хочу быть рядом.
В том полушарьи, где я
пиво тяну на веранде.
Вечер. Закат розовеет.
Чайки осипли от брани.
Что есть точка забвенья,
если не умиранье?

Перевод Виктора Куллэ

Песня

Я хочу, чтобы ты была здесь,
чтобы ты была здесь, как ты есть,
чтобы ты на диван присела
и я мог рядом сесть.
Платок пусть будет твоим,
а слезы — моими,
чтобы нам двоим
упиться ими.

Я хочу, чтобы ты была здесь,
чтобы ты была здесь, как ты есть.
Я хочу, чтоб мы сели в машину
и оказались невесть
где, на диком пляже,

все равно, пусть даже
в гараже в надежде
исправить, что сломано прежде.

Я хочу, чтобы ты была здесь,
чтобы ты была здесь, как ты есть,
чтобы я позабыл созвездья,
числа коим несть,
чтоб Луна целовалась с водой,
чтобы все еще в этот вечер
оставалось без четверти до
нашей встречи.

Я хочу, чтобы ты была здесь,
в полушарьи, где я могу сесть
на пороге и выпить пива,
желание — не бог весть,
чтобы все вокруг было как в песне:
море, чайки, закат... Знаешь,
смысла нет забывать, если
все равно потом умираешь.

Перевод Леонида Ситника

Песенка

Как жаль, мой свет, что тебя здесь нет,
как жаль, ей-богу!
Ты села бы, завернувшись в плед,
я тут же, сбоку.
Слеза, бегущая по щеке —
моя, а то, чем
ее смахнут, — у тебя в руке.
Неважно, впрочем.

Как жаль, мой свет, что тебя здесь нет!
С утра, без жалоб,
за руль я сел бы, ты скорость мне
переключала б.
И мы умчались бы, ты да я,
в чужие дали,
а то, пожалуй, и в те края,
где мы бывали.

Как жаль, мой свет, что тебя здесь нет!
Как жить, не веря,
что звезды — россыпь мелких монет
в небесной сфере?
Луна — серебряный четвертак
для автомата,
чтоб позвонить тебе просто так
после заката.

Как жаль, что в этот час тебя нет
в той части света,
где щурюсь я на вечерний свет,
крыльцо нагрето,
открыто пиво, чайки орут
и пляж безлюден...
А что забвенье? Напрасный труд:
Умрем — забудем.

Перевод Марины Бородицкой

To My Daughter

Give me another life, and I'll be singing
in Caffè Rafaella. Or simply sitting
there. Or standing there, as furniture in the corner,
in case that life is a bit less generous than the former.

Yet partly because no century
from now on will ever manage
without caffeine or jazz, I'll sustain this damage,
and through my cracks and pores,
varnish and dust all over,
observe you, in twenty years, in your full flower.

On the whole, bear in mind that I'll be around.
Or rather,
that an inanimate object might be your father,
especially if the objects are older than you, or larger.
So keep an eye on them always,
for they no doubt will judge you.

Love those things anyway, encounter or no encounter.
Besides, you may still remember a silhouette, a contour,

while I'll lose even that, along with the other luggage.
Hence, these somewhat wooden lines
in our common language.

1994

Моей доче

Дайте еще попытку — и я буду снова
торчать в кафе "Рафаэлла", нащупывать слово.
Или пылиться мебелью в этом же помещеньи —
если вторая жизнь окажется менее щедрой.

Раз ни одно из столетий более не обойдется
без кофеина и джаза — я стерплю неудобство.
Зато сквозь щели и трещины на лакированном теле
узрю тебя, двадцатилетнюю, в полном цветеньи.

Главное, я буду рядом. Запомни: в жизни новейшей
отец твой, вполне вероятно, вернется в образе вещи —
особенно, если вещи старше тебя и больше.
Держи в голове — они приглядывают за тобою.

Ты все же люби их —
с вещами довольно глупо быть в контрах.
Надеюсь, удержишь в памяти абрис, неясный контур,
когда я все потеряю, отправившись в путь налегке.
Отсюда — топорные строки на общем для нас языке.

Перевод Виктора Куллэ

Новый мир, 2010, № 8

Дочери

Дайте мне еще одну жизнь, и я буду петь
В кафе "Рафаэлла". Или просто сидеть,
Размышляя. Или у стенки стоять буфетом,
Если в том бытии не так пофартит, как в этом.

И поскольку нет жизни без джаза и легкой сплетни,
Я увижу тебя прекрасной, двадцатилетней —
И сквозь пыльные щели,
сквозь свой потускневший глянец
На тебя буду пялиться издали, как иностранец.

В общем, помни — я рядом. Оглядывайся порою
Зорким взглядом. Покрытый лаком или корою,
Может быть, твой отец, очищенный от соблазнов,
На тебя глядит — внимательно и пристрастно.

Так что будь благосклонна к старым,
немым предметам —
Вдруг припомнится что-то контуром, силуэтом —
И прими, как привет о тебе не забывшей вещи,
Деревянные строки на нашем общем наречье.

Перевод Григория Кружкова

Моей дочери

Следующую жизнь проведу в кафе "Рафаэлла":
буду там петь или просто сидеть без дела,
либо стоять в углу в виде шкафа или буфета,
если другая жизнь не настолько щедра, как эта.

Впрочем, благодаря кофеину и джазу
часть меня, пережив такую метаморфозу,
сквозь древесные поры, морилку и пыль столетий
двадцать лет спустя увидит тебя в расцвете.

В общем, будь начеку, ибо может предмет обстановки
оказаться твоим папашей. Держи в головке,
что любой шифоньер постарше да покрупнее
может с неодобреньем взглянуть на твои затеи.

И люби все это старье — так, на всякий случай.
Может, вдруг на миг и припомнишь контур текучий,
мой утраченный силуэт. Ради этой встречи
я пишу деревянные строчки
на общем с тобой наречьи.

Перевод Марины Бородицкой

Йозеф Рот

Берлинские очерки

Перевод с немецкого М. Рудницкого

© 1989–1991 Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
© М. Рудницкий. Перевод, 2013

Настоящая подборка газетных статей и очерков выдающегося австрийского романиста Йозефа Рота (1894–1939) является частью сборника его публицистики, готовящегося к публикации в издательстве "Ad Marginem". Переводчик выражает признательность Министерству по делам образования, искусства и культуры Австрийской республики за финансовую поддержку, оказанную в работе над этим проектом.

В *парной ночью*

Убежище чистоплотных

ЗНАМЕНИТАЯ парная в Адмиральском дворце, ночные развлечения в котором во время войны были сперва сильно ограничены, а затем и вовсе запрещены, теперь снова открыта. *Можно париться ночь напролет.*

До войны это был всенепременный финишный створ всех ночных загулов и место чудодейственного новообретения человеческого облика после любых ночных подвигов. Смыв с себя в здешних водах все вчерашнее, человек, свежевыбритый и чистый, выходил отсюда в утреннюю дымку Фридрихштрассе, уверенно глядя навстречу занимающемуся дню. Здешняя парная была спасительной цезурой между вакханалиями ночной жизни и рабочими буднями. Необходимой паузой отдохновения она отделяла барную стойку от канцелярского письменного стола. Без нее — так, по крайней мере, мнится задним числом — эти галеры еженощных увеселений было просто не выдержать.

Сегодня, когда индустрия развлечений в полном упадке и людям нового поколения никакие предрассветные очистительные омовения не требуются, парная в Адмиральском дворце превратилась в ночлежку. Кому не досталось номера в гостинице, тот идет в парную. Двадцать марок за ночь. За эти деньги ты, так сказать, и выспишься дочиста, и пропотеешь на славу. Неплохо бы повесить над парной какой-нибудь броский лозунг. Допустим: "Сквозь пот и тьму — к свету!"

В полуночный час от близлежащей железнодорожной станции "Фридрихштрассе" сюда уже подтягиваются *приезжие* с чемоданами. Измученные тщетными хождениями по отелям, на пороге бани эти странники в предвкушении вожделенного отдыха облегченно вздыхают. Баня постепенно стала насущно необходимым социальным институтом нашего огромного города. Поощряя поток новоприбывших, она заодно поддерживала в них чистоту.

Гротескный вид ночной парилки, где шестнадцать бездомных мужиков в чем мать родила усердно выпаривают из себя дорожную грязь и железнодорожную копоть, рождает в воображении картины поистине адского размаха. Это как ожившие иллюстрации к Дантовым вылазкам в преисподнюю. Единственный — волею непререкаемых служебных предписаний — одетый человек, угрюмый детина, всегда готовый в полном осознании своей должностной инструкции натереть, отскрести, отхлестать и пропарить кого угодно, — это банщик; во все-

оружии своих могучих кулачищ и натирочно-скребущих инструментов, смахивающих на орудия пытки, он легко может сойти за прислужника подземного мира, ежели не знать, что по окончании искупительно-очищающих мучений его сумрачный адский нрав с готовностью смягчается при виде чаевых, выдавая его истинную профессию.

Вот уж не знаю, вправду ли и в аду люди выглядят столь же смешно. Но если и там существует обычай раздеваться донага, то они — невзирая на весь трагизм своей участи — смешны вне всяких сомнений. Сдается мне, что полуночный час эту — вообще-то всегдашнюю — непривычность человеческой наготы еще более усугубляет. Настолько дикой представляется сама мысль, что кому-то приспичит попариться между полуночью и двумя часами ночи.

А вот кто-то, дрыгаясь всеми суставами, что болтаются, будто сшитые на скорую нитку, уже битый час исполняет серию плавательных упражнений в бассейне. Другой, необъятных размеров толстяк, которому, чтобы подпоясать купальный халат, пришлось бы одолжить у нашей старушки-Земли экватор, смотрит на по-лягушачьи дрыгающегося в бассейне пловца с неприкрытым инфернальным злорадством, покуда самого его не начинает знобить и он не вознамеривается пополнить в горячем бассейне запас тепловой энергии, растраченной на созерцание чужих плавательных усилий. Он осторожно трогает правой ногой воду — нет, все-таки горячая! По-моему, ему ужасно хочется увидеть, как шагают его собственные ноги, но увы, живот у него не стеклянный.

Спальня напоминает полый геометрический многоугольник. Кушетки маленькие, низкие, и их очень много. Они стоят тут беспорядочно и как бы бесцельно, словно на складе, куда их только что внесли и бросили. Посетители в банных полотенцах пытаются вкусить на них блаженный покой.

Покой других по такому случаю не заботит никого. И вообразить невозможно, какие сокровенные чаяния способна пробудить в человеке чистота, какие позывы горазда она извлечь из самых потаенных уголков его пропотевшей души. *Appetit* возрастает неимоверно. Сдается мне, я даже начинаю понимать, почему парные в Германии во время войны были закрыты. Да потому что Англия объявила нам блокаду! А шестнадцать начисто вымытых мужчин способны за один присест поглотить полугодовой продовольственный запас целого города.

О, если бы домашние бутерброды не имели привычки перемещаться по свету только завернутыми в шуршащую глянцевую бумагу! Словно обычной мягкой бумаги им недостаточно! Вот три господина, прибывшие с вокзала, просят выдать им их сак-

вояжи. По простоте душевной я надеюсь, что в чемодане у одного хватит провианта на всех троих. Кроме того, я в своей наивности полагаю, что голод пробудится у всех троих *одновременно*, поскольку приехали они одним поездом и с помывкой управились в одно время. Однако они, коварные, видимо, специально поставили себе цель раздразнить меня своим аппетитом.

Каждый из троих *попеременно* с громким хлопком распахивал крышку своего саквояжа, предварительно произведя маленьким ключиком истошный, словно щенячий, визг, скрип в его замочках, и начинал выкладку провизии с обстоятельностью всех стадий приготовления к полноценной трапезе, как будто делает он это не ночью в парной бане, а на зеленом лугу после полудня в предвкушении воскресного пикника.

Мало-помалу я даже научился различать всех троих на слух. Один разворачивал свои бутерброды быстро и напористо, издавая при этом не столько шорох, сколько шум. Второй шумел вроде бы меньше, но был нетерпелив, поэтому, разворачивая бумагу, то и дело ее рвал. Третий был вроде бы потише, но зато и неторопливей всех. Он разворачивал бумагу очень тщательно, а потом аккуратненько ее складывал. По-моему, путь ему предстоял еще очень долгий, поэтому он никуда не торопился. Просто поразительно, до чего каждый из присутствующих старался внушить окружающим, что никакой нужды помыться у него лично нет. Да конечно же нет! Он и вчера был чистый! Кто бы сомневался! Но подобная, можно считать, вынужденная баня, раз уж не нашлось номера в гостинице, тоже штука совсем неплохая. И хотя я охотно и всем сердцем верю, что он и до прихода сюда был вымыт дочиста, он не перестает снова и снова меня в этом убеждать. Сам он из провинции. Все происходящее представляется ему ужасно увлекательным и забавным, я вижу, он уже предвкушает, как в ближайшее воскресенье в ресторанчике в кругу завсегдатаев будет рассказывать собутыльникам о своих берлинских ночных похождениях.

На этих кушетках можно неплохо выспаться, но только при наличии уже насытившихся соседей. В коридоре видишь плакат, который уведомляет о том, что воспрещается, во-первых, курить (как будто можно хоть где-нибудь раздобыть сигареты!), а во-вторых, заходить в маникюрный салон "в неодетом виде". Хотя людей, в неодетом виде *выходящих* из маникюрного салона, я наблюдал собственными глазами.

Люди в неодетом, первобытном виде бродят коридорами Адмиральского дворца. Так, должно быть, выглядели дороги нашей планеты в пору юности человечества, когда пошив мужского и дамского готового платья еще не стал выгодным ремеслом.

Когда в пять утра выходишь на темную улицу, успеваешь узреть последнюю стадию долгого процесса расставания мужчины и женщины и усталую, профессионально фланирующую походку девицы с Фридрихштрассе, которой этой ночью не повезло и предстоит возвращаться домой ни с чем. Идет дождь, где-то катит грузовик, и промозглая сырость пробирает до костей.

Нойе берлинер цайтунг, 04.03.1920

Небоскреб

ВОТ уже несколько недель в берлинской ратуше экспонируется чрезвычайно интересная выставка проектов высотного строительства. Поговаривают, что теперь и возведение небоскреба должно быть ускорено. Это будет первый в Германии небоскреб.

Вообще-то само слово "небоскреб" — не техническое, а скорее простонародное обозначение гигантских высотных зданий, которые мы привыкли видеть на фотографиях нью-йоркских улиц. Наименование весьма романтичное и образное. Предполагающее здание, крыша которого "скребет" небо. В самом слове есть что-то революционное — наподобие грандиозной мечты о вавилонской башне.

Небоскреб — это воплотившийся в материале протест против тщеты недосягаемости; против таинства высоты, против потусторонности небесных пределов.

Небоскреб — этим словом обозначается одна из тех вершин технического развития, на которой преодолевается рационализм "конструкции" и уже намечено возвращение к романтике природного мира. Небо, это далекая, вечная загадка мироздания, таившая в себе божью милость и гнев, небо, на которое первобытный человек взирал с благоговением и страхом, обживается и даже становится, так сказать, "уютным". Там, на небе, мы устроимся со всеми удобствами. Мы поведаем небесам о смехотворных несуразицах и серьезных делах земной жизни. Они услышат перестук пишущих машинок и перезвон телефонных аппаратов, утробное бульканье в батареях отопления и капанье подтекающих водопроводных кранов.

Это будет своего рода возвращением сложного, рефлектирующего современного человека к первобытным истокам природных стихий. Событие знаменательное, но, сдается мне, мы готовы отнестись к нему без должного внимания. Возведение первого небоскреба — это один из судьбоносных, поворотных моментов истории.

Всякий раз, когда я вижу фотографии Нью-Йорка, меня переполняет чувство глубокой благодарности всемогуществу технических возможностей человека. На следующей стадии своего развития наша цивилизация получит возможность снова приблизиться к древним категориям культуры.

Когда был изобретен первый паровоз, поэты принялись сетовать на грядущее изничтожение природы; человеческой фантазии рисовались картины страшного будущего — целые континенты без лесов и лугов, иссякшие реки, засохшие растения, погибшие от удушья бабочки. Никому и невдомек было, что всякое развитие проходит таинственный круговорот, в котором смыкаются и совпадают концы и начала.

Ибо изобретение аэроплана означало не объявление войны всякой летучей твари, а, напротив, братание человека с орлом. Первый рудокоп принес в земные недра не опустошение, он бережно возвращался в лоно матушки-Земли. То, что выглядит войной против природных стихий, на самом деле есть союз человека с силами природы. Человек и природа снова едины. Свобода обитает в небоскребах так же, как на горных вершинах.

Наконец-то сбываются долгожданные земные чаяния: преодолеть недостаток пространства за счет покорения высоты. Перед нами явленное в материи использование всех трех земных измерений — подъем ввысь, зримый внешне и обжитый, наполненный внутренне.

Невозможно предположить, что близость к небу никак не повлияет на человека. Взгляд из окна, охватывающий безграничность горизонтов по всей округе, не может не отозваться в душе и сердце. Легкие всею грудью вдохнут воздух небес. Облака, прежде ласкавшие лишь нимбы олимпийских небожителей, теперь охладят чело простого смертного.

Я уже вижу его, этот небоскреб: выделенное в городском пространстве, отдельно стоящее на площади, устремленное ввысь, стройное, парящее здание благородных и изящных контуров, перекличкой серого и белого цветов выделяющееся на голубизне неба, своей мощной и надежной осанкой соперничающее с незыблемостью горных кряжей.

Десятки тысяч людей ежедневно устремляются к его входам и выходам: миниатюрные конторские барышни с черными сумочками, выпорхнувшие из узкогрудых дворов города и бедноты его северных предместий, упругой, летящей походкой спешат к его дверям, заполняют могучие лифты и щебечущей стайкой ласточек взмывают в небо.

Но здесь же и уверенные, энергичные мужчины, во взгляде целеустремленность, в каждом движении — предприимчивость и напор, рокот мотора и шорох шин подъезжающих ав-

то, командный тон приказов, деловитость окриков, равномерный такт механического многоголосия, никчемный по отдельности и осмысленный только в слитной подчиненности единой цели.

А где-то на самом верху — Господь Бог, потревоженный в своем вечном покое и волей-неволей вынужденный принять участие в нашей скромной земной юдоли.

Но увы и ах! — уже довелось прочесть, что в первом берлинском небоскребе планируется разместить грандиозный развлекательный центр. С кинотеатрами, танц-верандами, барами, рюмочными-закусочными, негритянскими капеллами, варьете и джаз-бандами.

Ибо натура человеческая не отрекается от своих слабостей даже там, где, казалось бы, вот-вот готова их преодолеть.

И даже если нам когда-нибудь удастся возвести планетоскреб и начать застройку Марса — экспедицию ученых и инженеров всенепременно будет сопровождать отряд специалистов по индустрии развлечений.

Сквозь пелену облаков мне видятся далекие огни барной стойки. Накрапывает сладкий ликерный дождичек.

Берлинер бёрзен-курир, 12.03.1922

Проносясь над этажами

ГОРОДСКАЯ железная дорога часто проходит вплотную к домам жилой застройки, так что пассажиры вполне могут — особенно весной, когда многоэтажные здания оживают и начинают мало-помалу выдавать свои тайны, открывая взгляду задние дворы, распахивая окна и сокрытый за ними уют домашней жизни, — увидеть и подглядеть немало диковинного и занятного.

Нередко поездка по городской железной дороге бывает поучительнее самых дальних заморских странствий, и иной повидавший мир путешественник в такой поездке без труда убедится, что, в сущности, вполне достаточно узреть один неприметный куст сирени, томящийся на пыльных городских задворках, чтобы разом познать всю скорбь всех сиреневых кустов на свете, обреченных на подобную же неволю в застенках большого города.

Вот почему после поездки по городской железной дороге я возвращаюсь домой, переполненный жизнью множества прекрасных и печальных картин, и после такого парения по-над домами бываю горд, словно мореход, совершивший кругосветное

плавание под парусами. Стоит вообразить себе колодцы дворов еще более мрачными, кусты сирени, томящиеся в них, еще более поникшими, обступившие их стены домов еще на пару метров повыше, а детей в тени этих колодцев еще чуть бледнее — и оказывается, что я побывал в Нью-Йорке и вкусил горечь всех крупнейших городов планеты. Ибо любое важное для тебя открытие можно сделать, не выходя из дома — или в крайнем случае на соседней улице, благо все схожие вещи, настроения и переживания на свете отличаются друг от друга не по сути, а лишь степенями сравнения.

Стена дома являет миру свою физиономию и свой характер, даже не имея окон и вообще ничего, что обнаруживало бы ее связь с жизнью людей, кроме огромного рекламного панно шоколадной фабрики, чье предназначение только в том и состоит, чтобы внезапностью своего промелька неизгладимо (сочетанием голубого и желтого) запечатлеться в твоей памяти.

Но за этой стеной живут люди, маленькие девочки-школьницы делают уроки, чья-то бабушка корпит над вязаньем, а собака глодает кость. Пульс этой жизни просачивается сквозь трещины и поры суровой и безмолвной стены, проламывает жесть рекламного панно шоколада фабрики "Саротти", бьется в окна поезда, сообщая их дребезжанию более живой, человеческий оттенок и заставляя тебя прислушиваться к этой близкой, хоть и незримой жизни твоих сородичей.

Даже странно, до чего они схожи — эти люди, живущие в домах вдоль городской железной дороги. Иной раз кажется, что во всех зданиях вдоль полотна и под пролетами эстакад поселилось одно огромно семейство.

Я уже знаю кое-какие квартиры возле некоторых станций. Такое чувство, будто я не однажды заходил туда в гости, мне кажется даже, я узнаю голоса, манеру говорить, повадки и жесты тамошних обитателей. У всех у них чуть-чуть шумно на душе от вечного грохота и тряски, и они совершенно нелюбопытны, ибо привыкли, что бессчетное множество людских судеб проносится мимо них ежеминутно, стремительно и не оставляя следа.

Между ними и окружающим миром как будто некая незримая, но непроницаемая завеса. Они давно не замечают, не осознают, что все их дела, их дни и ночи, сны и мечты заполнены шумом. Этот звуковой фон образовал некий осадок на дне их сознания, и без этого осадка немыслимо, невозможно ни одно впечатление или переживание.

В числе моих давних знакомцев, есть, к примеру, один балкон с железными решетками перил, он вывешивается из дома, словно клетка, и всю весну и все лето напролет всегда на одном и том же месте — будто неумолимым пятном масляной краски

на картине — что в грозу, что под безмятежным солнцем — на нем выложена красная подушка. Есть и двор, весь воздух которого, кажется, исчерчен множеством бельевых веревок, словно некий сказочный, допотопный и гигантский паук в незапамятные времена протянул здесь от стены к стене свою густую паутину. И там неизменно болтается на ветру один и тот же синий передник в крупный белый горошек.

За время своих поездок я успел подружиться и с ребенком, это белокурая девчушка. Она сидит у распахнутого окна и пересыпает песок из игрушечных тарелочек в красноватый глиняный цветочный горшок. За истекший срок она, должно быть, заполнила песком горшков пятьсот, не меньше. А еще я знаю некоего пожилого господина, который все время читает. Он, похоже, прочел уже все библиотеки мира. Есть и мальчик, который всегда слушает граммофон, что громоздится перед ним на столе и, кажется, вот-вот его проглотит огромной воронкой своей трубы. Я даже успеваю услышать на ходу и прихватить с собой расплывчатый обрывок звучания. Оторванный от остальной мелодии, этот фрагмент фрагмента потом еще долго звучит во мне, отдельный и бессмысленный, абсурдно и несправедливо сопрягаясь в памяти с обликом слушающего мальчика.

Зато тех, кто ничего не делает, кто просто сидит и глазеет на проходящие поезда, — таких совсем мало. По ним сразу видно, до чего тосклива жизнь, когда человеку нечем заняться. Вот почему почти каждый придумывает себе дело со смыслом и целью, и даже природный мир употребляется здесь к некоей пользе. Всякий куст сирени в колодце двора сгибается под ношей сохнущего на нем белья. Именно это и есть самое скорбное в облике городских задворков: дерево, которое *только* цветет, не имея иной цели, кроме как ждать дождя и солнца, блаженно приемля и то и другое, простирая к небу белые или сиреневые кисти своих соцветий, — такое дерево здесь непозволительная редкость.

Берлинер бёрзен-курир, 23.04.1922

Безымянные мертвецы

БЕЗЫМЯННЫЕ мертвецы большого города вывешены, строго по порядку, в *фотографической витрине полицейского участка*, в вестибюле второго этажа. Жутковатая выставка жутковатого города, в чьих асфальтированных улицах, в серой полутени парков, в сизой глубине каналов

подкарауливает свои жертвы смерть — с револьвером ли, с дубинкой, с усыпляющим хлороформом... Это, так сказать, анонимная сторона жизни большого города, его нищета и убожество, имен не имущие. Это его неизвестные дети, чья жизнь — сплошная нервотрепка и беготня то по кабаком, то в лихорадочных поисках пристанища, а чей конец по обыкновению — насильственная смерть с неизбежными атрибутами кровопролития и убийства. Оглянуться не успев, споткнувшись на бегу, они буквально перекидываются в одну из бессчетных могил, что волчьими ямами подстерегают их на всех жизненных путях, и единственное, что остается от них на память потомкам, — это их фото, запечатленное на так называемом месте преступления бездушной камерой полицейского комиссариата.

Всякий раз, проходя мимо витрин фотоателье и созерцая образы живых людей, счастливых новобрачных, робких и торжественных подростков-конфирмантов, все эти улыбающиеся лица, белые фаты, гирлянды искусственных бумажных цветов, ордена на портрете какого-нибудь его превосходительства, один вид которых порождает в воображении звон литавр, я вспоминаю совсем другие, полицейские витрины с фотографиями мертвецов. Их, эти витрины, надо бы размещать не в мрачных коридорах полицейских участков, а где-то в центре города, на самых видных местах, ибо именно в них и воплощена вся суть и вся правда жизни. Витрины с портретами живых, ликующих, празднующих людей создают о бытии искаженное представление. Ибо в нашем мире отмечаются не одни только свадебные торжества и конфирмации, а вокруг нас не одни только красавицы с оголенными плечами — здесь творятся и убийства, и разбойные нападения, да и утопленников из воды извлекают чуть ли не каждый божий день.

Поучительные эти фотографии надо бы показывать в еженедельных кинообозрениях — а не одни только бесконечные парады, эти религиозные процессии оголтелого патриотизма, а еще курорты с фонтанами, тентами, тошнотворными целебными источниками и террасами в сказочно вагнеровском духе. Жизнь отнюдь не столь прекрасна, как она может показаться после просмотра очередного кинообозрения.

Коридорами полицейских участков ежедневно, ежечасно проходят сотни людей — и ни один не остановится посмотреть на мертвецов в витринах. Посетители направляются в иммиграционную службу зарегистрироваться, в паспортный стол, чтобы получить визу, в бюро находок справиться о забытом зонтике, в криминальный отдел заявить о краже. Короче, в участок приходят люди, озабоченные исключительно делами жи-

тейскими, и, если не считать меня, среди них больше нет философов. Кто еще подумает о мертвых?

Вид этих мертвецов омерзителен, и они вывешены в этой витрине наглядным укором всем нам, живущим. Они засняты такими, какими были обнаружены, и в чертах их запечатлен бесконечный ужас, ужас смерти. С раззявленными ртами, с застрявшим в глотке последним воплем, который, едва взглянув на них, ты, содрогаясь всеми поджилками, слышишь снова. Глаза приоткрыты в судорогах предсмертной схватки и незрячими белками мерцают из-под приспущенных век. Они тут всякие — бородатые и безбородые, мужчины и женщины, совсем юноши и древние старики. Их обнаружили в разных местах: кого *на улице*, кого *в парке Тиргартен*, кого *в каналах Шпрее*. Зачастую даже место обнаружения *неизвестно* или известно *неточно*. Раздутые, все в тине, утопленники смахивают на неудачно забальзамированных египетских фараонов. Потрескавшаяся корка ила и грязи на их лицах напоминает плохо сохранившуюся гипсовую маску. Груди женщин отвратительно взбухли, черты искажены, ссохшиеся волосы пучком слипшейся дряни торчат над оплывшими лицами.

Будь у этих мертвецов имена, в них, возможно, не было бы столько укоризны. Судя по одежке и лицам, все они при жизни отнюдь не относились к людям "состоятельным". Они из тех слоев, которые принято называть "низшими", потому что туда, вниз, их забросила жизнь. Это поденщики, служанки, короче, люди, которым приходилось зарабатывать на жизнь только тяжкой работой или преступным ремеслом. Редко, очень редко голова такого вот безымянного мертвеца выглядывает из стоячего воротничка, этого стандартного опознавательного атрибута европейского буржуа. Гораздо чаще, почти всегда, — из расстегнутого ворота темной, немаркой рубахи.

Да и места, где их настигла смерть, зачастую более чем красноречиво говорят об их жизни. Один был найден 2 декабря 1921 года *в общественном туалете Потсдамского вокзала*. Женщина неопределенного возраста 25 июня 1920 года была извлечена из *вод Шпрее на набережной в районе рейхстага*. А вот этот бородатый, без зубов, умер 25 января 1918 года на *Александерплатц*. Другой, совсем еще молоденький, с вдохновенными чертами, умер 8 мая 1922 года *на скамейке сквера на Арминиусплатц*. Благостным выражением лица он, очевидно, обязан дивной майской ночи: вероятно, когда он умирал, над головой его заливался соловей, и благоухала сирень, и ярко мерцали звезды.

А вот некий мужчина, примерно тридцати пяти лет, — 26 октября 1921 года он был убит на одном из садовых участков *на*

Шпандауэрштрассе в окраинном Целендорфе. Тонкая струйка спекшейся крови тянется от виска к углу рта; сам мертвец давно похоронен, но эта струйка на фотографии, тонкая, пурпурная, все течет и течет, во веки веков. И тщетно ждать журавлей, которые некогда обличили убийцу Ивика[1]. Над садовыми участками вдоль Шпандауэрштрассе журавли не летают — их бы там давно перестреляли и зажарили. А бестрепетный боженька за облаками прислушивается к раскатам очередной мировой войны — где уж тут озаботиться судьбой какого-то смертного?

В витринах полицейского участка помещается примерно *сотня фотографий*, и их постоянно обновляют. Неопознанные лица погибают в большом городе тысячами. У них не бывает ни родителей, ни друзей, они живут одиноко и, всеми забытые, умирают в безвестности. Они не были укоренены ни в какой общности — вот сколько неприкаянных и одиноких в большом городе. На сотню убитых приходятся тысячи продолжающих жить — без имени и без крова. Безымянные, неразличимые, словно камни на мостовой, все они когда-то погибнут насильственной смертью — и их кончина не ужаснет мир, не переполошит газеты и не повлечет за собой столь грандиозных последствий, как, к примеру, недавняя смерть Талаат-паши[2].

И лишь их безымянная фотография в коридорах полицейского участка будет тщетно взывать к безучастным посетителям с мольбой об опознании.

Нойе берлинер цайтунг, 17.01.1923

Воскресший для новой жизни
Полвека в застенках

В конце главной улицы Руммельсбурга, где уже радует глаз зелень, не ведающая фабричного дыма, стоит берлинский городской дом престарелых. Там, как известно, обитают старые люди. Они сбросили с себя груз прошлого, как тяжкую ношу, которую приходилось тащить до самого конца жизненного пути, а теперь, слава Богу, можно от нее изба-

1. Имеется в виду баллада Ф. Шиллера "Ивиковы журавли", известная в России по переводу В. А. Жуковского. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Мехмед Талаат-паша (1874–1921) – османский государственный деятель, министр внутренних дел Османской империи (1913–1917). Великий визирь Османской империи (1917–1918); один из главных организаторов массовой депортации и геноцида армян; лидер младотурецкой партии "Единение и прогресс".

виться. Ибо короткий переход от богадельни до кладбища — это уже не в счет.

Вообще-то многие из этих стариков на склоне дней всего лишь *возвращаются* в попечительное заведение. Они уже смолоду побывали в казенном доме, как принято говорить, *на исправлении*, затем их выпустили в большую жизнь, которая их подхватила, помытарила, чтобы в конце концов бросить туда же, откуда они вышли и где набирались ума-разума. Теперь дивными вечерочками эти старики сидят на скамейках в большом парке и рассказывают друг дружке о дальних странах, о Мексике, об Испании и о бессчетных мысах Доброй Надежды, которых так много в этом мире, правда, не в географическом атласе, а в жизни, где ты рвешься к ним на всех парусах, чтобы об них же и разбиться. Дом престарелых — это судьба. Сколько бы ни носило человека по свету, рано или поздно он окажется в Руммельсбурге. Жизненные пути, полные самых головокружительных приключений, кончаются здесь. От судьбы по имени Руммельсбург никуда не уйдешь.

В Руммельсбургском доме престарелых живет человек, у которого за плечами полвека смерти. Что для прочих здешних обитателей конец, для него только начало. Дом престарелых — это, так сказать, его подростковый интернат. Пятьдесят лет спустя он, семидесятилетний, стоит на пороге новой жизни.

Человека этого зовут Георг Б., *и пятьдесят один год назад за пособничество в разбойном убийстве он был приговорен к пожизненному тюремному заключению.* Совсем недавно благодаря внезапной милости благосклонных властей он был помилован и отпущен на руммельсбургскую свободу. И впервые за пятьдесят один год снова побывал в одной из мировых столиц — Берлине.

Да будет здесь описано это воскрешение к новой жизни, ибо редкостность самого "казуса" хотя и не перевешивает неприглядное прошлое нашего героя, однако поневоле отодвигает его на задний план. Злодеяние его по юридическим меркам искуплено, а неповторимость его судьбы без этого искупления, как и без искупленных грехов, вряд ли была бы возможна.

Георг Б. знал Берлин, каким он его запомнил пятьдесят лет назад. Не раз и не два за долгие годы тюремного заточения ему вспоминался этот город, и перед мысленным взором вставали булыжные мостовые, по которым грохочут запряженные битюгами подводы, и именно с этим грохотом связывалось для него представление о шуме большого города, окраина которого начиналась где-то в районе Потсдамской площади. Пятьдесят лет хранил он в своей памяти образ этого города именно таким. А ежели случалось ему дерзнуть поразмышлять о возможностях прогресса, ежели украдкой подобранный, неведомо как зале-

тевший в застенки клочок газеты наталкивал на домыслы о новомодных технических изобретениях, то в воображении вместо трехэтажных домов вздымались четырехэтажные, а внутреннему оку, лишенному возможности лицезреть переменчивую действительность, в качестве совсем уж диковинного чуда из чудес рисовалась, быть может, самодвижущаяся повозка. Да и то это была колымага, предельно мыслимая скорость которой не превосходила скорости конного экипажа, запряженного четверкой, ну, от силы шестеркой лошадей. Ибо за что еще могло цепляться его воображение, как не за привычные, доступные уму мерки? Гужевой транспорт — вот с чем было для него связано представление о скорости, он никогда в жизни не видел, да и вообразить не мог, что человек способен передвигаться шустрее зайца, оленя и даже газели.

А тут вдруг Б. вышел из вагона *городской железной дороги* и очутился в двадцатом столетии. В двадцатом? Да куда там — как минимум в сороковом! Стрелой, нет, пулей, словно вылетевшей из ствола, по улицам на сверкающих металлом тарахтящих двухколесных таратайках взад-вперед носились молодые люди с пачками газет под мышкой. Поблескивая черным и коричневым лаком, по мостовым сами собой и почти бесшумно скользили шикарные экипажи, огромные и совсем крохотные. На возвышении сидел водитель и крутил штурвал, словно правил кораблем. А из глоток этих повозок со всех сторон доносились странные, то писклявые и басовитые, то пронзительные и благозвучные, то грозные, жалобные и умоляющие, то осипшие и полные ненависти звуки. *О чем они кричат?* Такими истошными и непонятными голосами? Что пытаются приказать пешеходам? И все их понимают — один только Б. нет. За время его отсутствия в мире появился совершенно новый язык, средство взаимопонимания, столь же очевидное, как и его родной немецкий, состоящий, однако, из душераздирающих, жутких звуков, словно извлеченных из третичного периода, из младенческих времен человечества, из непролазных первобытных дебрей. Все подчинялось каким-то непостижимым правилам и законам: один почему-то стоит, а другой, ухватившись за рога рычащей машины и приникнув к ней, словно пытаясь уберечь на собственной груди собственную жизнь, мчится вдоль по гладко вымощенной набережной. Потсдамская площадь из окраины города превратилась в его *центр*. Жалобный сигнал рожка из уст полицейского на перекрестке приказывал одним стоять, другим идти или ехать, целое скопище трамваев и машин, плотно уткнувшись и едва ли не подталкивая друг дружку, являло собой ошеломляющую, пронзительную, умопомрачительную какофонию цветов и звуков, красных, желтых, фиолетовых...

А тут еще эта сеть проводов над головой, вдоль и поперек испещренное черными нитями небо, словно некий сумасшедший инженер расчертил на ватмане эфира свои безумные планы. Приложи ухо к металлической мачте, и услышишь в ней гул множества непонятных, жутких голосов, словно где-то в далекой Африке целое племя дикарей то ли в кровавом, то ли в молитвенном трансе издает душераздирающие вопли, а здесь, в Берлине, их слышно.

Георг Б. приобрел билет в подземку и, не успев опомниться, подхваченный толпой других пассажиров, очутился на перроне, был втиснут в поезд, — и вот тут-то решил, что, не иначе, сама преисподняя свихнулась. Да неужто мертвецы способны спать в таком грохоте? Неужто не сотрясаются в гробах их бренные косточки? Неужто этот громоподобный рев не нарушает их вечную тишину? Да и верхний, наземный, мир — как он от всего этого адского шума не проваливается в тартарары? Почему всякий раз над проносящимся под землей поездом не проламывается асфальт, увлекая в разверзающиеся бездны тысячи людей, моторных и конных повозок, хитросплетения проводов и все прочие диковинные премудрости нового времени?

Георг Б., семидесятилетний старик, шагает по жизни зеленым юнцом. Он хотел бы работать. Энергия, полвека дремавшая в его теле, жаждет применения и выхода. Только кто же ему поверит? Но закоснеть в таком вот детском неведении тоже не годится. Выходит, его ждет смерть? Он стоит на краю могилы? Небывалое испытание, выпавшее на его долю, кажется издевкой над всеми привычными человеческими мерками. Это испытание — победа над смертью. Освоив мир современного города, Георг Б. теперь должен освоить мир работы. Человек, заброшенный в мир машин, и сам должен стать машиной. Гальванизирующие токи семидесяти втуне прожитых лет пронизывают и сотрясают его дрожью нетерпения: Б. должен работать!

Нойе берлинер цайтунг, 24.02.1923

XIII *берлинская шестидневная велогонка*

К этой секунде неутомимые велогонщики оставили за спиной уже 1300 километров, так никуда и не доехав. А им и не надо никуда доезжать! Они наматывают круги по одной и той же дорожке, имеющей протяженность в двести метров длиной и два миллиона метров скуки. Будь у этой дорожки конечный пункт, можно было бы сказать, что в конце ее по-

бедителя ждет приз, за который стоило шесть дней бороться. Однако конца у дорожки нет, хотя приз участникам тем не менее "светит". Вот такие младенческие мысли проносятся у меня в голове, пока я наблюдаю за ходом гонки. До ее окончания всего какая-нибудь сотня часов. Но если я решу дождаться окончания, моя физиономия уподобится мегафону, через который до публики в этом сумасшедшем доме доводится самая разнообразная информация. Вообще-то странно, что все эти люди все еще выглядят как люди. Им бы впору походить на мегафоны, на вопли трибун, на их дикие восторги, на пивной экстаз, на велосипеды, на слепой кураж гонки, на все это варварство времен упадка. Но столь неодолима в человеке неосознанная тяга оставаться подобием Божьим, что даже шестидневная велогонка не в состоянии его видоизменить. Он снова является миру в человеческом обличье, хотя шесть дней подряд мчался на велосипеде или наблюдал, как мчатся другие. Шесть дней бог ждал, прежде чем сотворить человека, дабы тот мог шесть дней гоняться по кругу. Дело явно того стоило.

Сейчас у нас ночь с субботы на воскресенье. Переполненные автобусы катят по улицам в сторону Кайзердамм. Арену охраняет целая сотня полицейских. Перед кассами давка, как... просто не знаю, с чем сравнить, поэтому вынужден сказать: как перед кассами шестидневной велогонки. В восемь вечера мегафон объявляет, что билетов больше не осталось. Иные из несчастливцев убиты горем и отходят от касс молча, скорбно понурив головы. Нет силы, способной их утешить. Так, должно быть, выглядят души, перед метафорическими носами которых только что захлопнулись врата рая. Многие возвращаются домой целыми семьями. Мужчины с плачущими детишками на руках. Мужчины, которые и сами вот-вот заплачут. Бог мой, да куда же им теперь податься? Шесть дней они работали, и каждый вечер перед сном снова и снова клялись друг другу и самим себе, что в субботу обязательно пойдут на шестидневную велогонку. Что им теперь остается? Разве лишь свести счеты с жизнью! Но даже бывалые самоубийцы со знанием дела уверяют, что собственная смерть отнюдь не столь увлекательна, как фирменный "отрыв" Хушке.

Не будем говорить об этих нечастных! Обратимся лучше к тем предусмотрительным, кто еще четыре дня назад заперли свои жилища и с рюкзаками, квартирантами, чадами и домочадцами, собаками, попугаями и канарейками двинулись на Кайзердамм, дабы обосноваться там надолго и со всеми удобствами. Они притащили с собой все, что категорически запрещено приносить с собой распоряжением полиции. В их рюкзаках изнывают домашние животные, время от времени давая о себе знать

жалобными воплями о помощи, обращенными к общественности, которая совершенно не склонна обнаруживать свою человечность какими-либо проявлениями сострадания. Так что стоит какой-нибудь измученной собачонке заскулить или взлаять, она человечностью интонаций напрочь выпадает из своего окружения. Вдоль арены во всю высоту стен — лица, лица, лица. Ярусные отсеки выглядят как отделения стеллажей, голова притиснута к голове, как книги в хранилище большой библиотеки. Иной раз кажется, что можно без труда вытащить ту или иную голову с полки, словно книжный томик. Но это заблуждение. Головы крепятся к туловищам, а те, в свою очередь, азартом, потом и возбуждением намертво приклеены к сиденьям. Десять тысяч глоток издают рев, и в этом реве культурный звук собачьего лая, увы, тонет без следа. Там, внизу, опять какой-то гонщик ушел в "отрыв". Какое событие!

До боли нестерпимый, убийственный свет прожекторов, этих гигантских ламп, холодных и бессердечных, как солнца подземного мира, ледяные солнца, создающие вокруг себя праздничную нежить полярного сияния. Ослепленные этим холодным огнем, люди инстинктивно хватаются за свои одежки. Там, где столб света своим острым, как бритва, краем разрезает тень, видишь миллионную взвесь пылинок. Тысячеголосый рев публики заставляет их шарахнуться, внедряя хаос, давку и панику в их медленный, плавный, парящий танец. Вот каким сотрясениям подвергается атмосфера! Иногда эти завихрения экстаза вторгаются и в тесные ряды публики, истошные голоса женщин, безжалостно опровергая присказку о слабом поле, визгом пилы вонзаются в плотный фон мужских басов, вызывая навязчивое представление о пугающей явности мифологических фурий. В это же время заботливая домохозяйка извлекает из любимой газетки завернутый в передовицу любимый и долго хранившийся там сыр, распространяя вокруг себя затхлую вонь пищевого продукта и политики. Облако аромата, придавливаемое спертым воздухом, опускается на головы впереди сидящих, те начинают оборачиваться, кто с любопытством, а кто и с ненавистью, словно запах можно увидеть и даже убить. Кто-то отпускает шутку, она катится по рядам, вызывая реплики и отклики, вспыхивающие и гаснущие, как спички.

Полицейские подпирают колонны, стараясь, по возможности и если поблизости нет начальства, держаться за спинами карманников, чтобы тоже, хоть краем глаза, увидеть хоть клочок велотрека. Вот так достоинство государства гибнет в массовом восторге его жителей. Полицейских агентов в штатском, невзирая на предписываемый им инструкцией каучуковый воротник, нигде не видно. Как раз сейчас они могли бы

выполнить свою миссию — если бы только могли! Зато преследуемый взломщик, удайся ему смешаться с толпой здешних зрителей, спасся бы наверняка. Томимые жаждой уже достают из карманов бутылки шнапса, отпивают сами, предлагают глоток соседям. Словно сплоченные общим горем, люди добры друг к другу. Но вот один из болельщиков, покинув свое место с целью удовлетворить потребность, которая даже сильнее магнитной притягательности шестидневной велогонки, по возвращении обнаруживает, что его место занято. В один миг доброта оборачивается своей противоположностью, и болельщики уже с яростью мутузят друг друга.

Внизу, на зеркальной глади паркета, кружат гонщики, спины параллельно дорожке, кружат, кружат, кружат без конца. Час за часом, километр за километром, только знай крути педали, левой правой, правой левой, и уходи в отрыв, и снова отставай, спина лидера опять впереди, сталь и железо, майка, пот ручьем, и толпы вокруг, чтобы через шесть дней приз, душ, в койку, фотографы, вспышки, репортажи, женщина, шампанское, путешествие. Там, по ту сторону шести дней, — жизнь, которой ты живешь, потому что шесть дней гнал на велосипеде, чтобы потом снова шесть дней на нем гнать. Ты вроде бы еще не умер, но вроде бы уже и не живешь. Слышишь, вон она, труба твоих шести судных дней, мегафон объявляет приз победителю промежуточного финиша, учрежденный спонсором, которому здесь явно скучно и который пришел сюда явно не зазря. У него сегодня еще другие дела, его шофер мерзнет на улице и хлопает себя по бокам. Так что, ребята, живенько, учреждаем призок, чтобы малость расшевелить этих олухов, пусть взбодрятся! Они взбадриваются.

Уже миновала полночь, заспанный карапуз, дитя ярого любителя спорта, хнычет тоненьким, жалобным голоском, и это его нытье с трудом пробивает себе узенькую стежку в липких волнах удушливого воздуха — вот вам и еще одна маленькая акустическая трагедия. Где-то в задних рядах покачивается пьяный, его язык вот уже битый час борется с премудростями речи, упорно, неистово, тщетно. Его пытаются урезонить. Но он ни в какую. Он должен высказать, что у него на душе. Иные уже спят и даже храпят. Их носы издают равномерное хрюкающее громыхание, словно маленькие тачки, груженные металлоломом, по шпалам узкоколейки. Лысины поблескивают на трибунах, как круглые зеркала. Интересно, есть какая-нибудь связь между выпадением волос и капиталом?

Уже сереет утро. Но здесь приход нового дня никто не заметит. Здесь по-прежнему будут сиять жестяные светила подземного мира, крутиться колеса, пьяные будут трезветь, спя-

щие — просыпаться, а тем временем на улице мир сбросит с себя покровы ночи, разгонит в полях туман, и зимнее солнце, робея и алея, начнет свой путь по стылому небосклону. Еще сотня часов, еще девяносто девять, девяносто восемь... Остатки четырех дней и сотен семейств млеют под сводами зала.

На улице подремывают шоферы. Капельки денежного дождя, который проливается там, над ареной, перепадут и им. Этого они и ждут. Все в мире взаимосвязано. И в этом его смысл.

Франкфуртер цайтунг, 20.01.1925

Ц*арские эмигранты*[1]

ЗАДОЛГО до того, как мысль о поездке в новую Россию вообще стала возможной, к нам пожаловала Россия старая. Эмигранты принесли с собой неистовый дух своей родины, запах покинутости, кровопролитий, бедности и невероятных судеб, какие встречаешь разве что в романах. Пережитое ими, вся боль их изгнания, их отторгнутости от тепла родных очагов, их странничества по миру без цели и смысла, их жизни невпопад с привычным и устоявшимся, когда всякий выход за рамки закона оправдывается расхожим и стародавним литературным штампом о "загадочной русской душе", — все это как нельзя лучше подходило к банальным европейским представлениям о русских. Европа знала казаков из варьете, оперную, если не оперетточную бутафорию сельских свадеб на театральных подмостках, знала русских певцов и русские балалайки. Зато она так никогда и не узнала (не узнала и сейчас, когда Россия пришла к нам), до какой степени оболган французскими романистами (самыми консервативными в мире) и сентиментальными почитателями Достоевского русский человек, низведенный ими до почти карикатурного гибрида набожности и зверства, алкоголизма и философствования, самоварного уюта и азиатчины. А во что они превратили русскую женщину! Это же просто человекоживотное, наделенное тягой к покаянию и страстью к обману, мотовка и бунтарка, литературная дамочка и бомбистка. И чем дольше длилось их изгнание, тем больше сближались русские эмигранты с нашими о

1. Как известно, эмигранты из России оказывали существенное влияние на культурную жизнь Берлина 20-х гг. Данное эссе послужило введением к серии репортажей для газеты "Франкфуртер цайтунг" о поездке в Советский Союз, которую Йозеф Рот совершил по заданию редакции в конце 1926 г. Эти путевые заметки, безусловно, заслуживают отдельного издания.

них представлениями. Они делали нам одолжение, приспосабливаясь к нашим клише. Возможно, это ощущение порученной им "роли" как-то смягчало их горький удел. В ореоле художественного образа эту боль легче было сносить. У русского князя в качестве шофера парижского такси только один маршрут – прямиком в литературу. Пусть судьба его ужасна. Но она вполне пригодна для беллетристики.

Анонимно-безвестное существование эмигрантов становилось, так сказать, продуктом общественного интереса. Особенно когда оно принялось само себя выставлять напоказ. Эмигранты сотнями основывали театры, певческие хоры, танцевальные ансамбли и капеллы балалаечников. Года два все это казалось новым, потрясающим, подлинным. Потом стало привычным и скучным. Они утратили связь с родной землей. Они все больше удалялись от России – а еще больше Россия удалялась от них. Европа уже знала Мейерхольда – а они все еще держались за Станиславского. Их "синие птицы" начали петь по-немецки, по-французски, по-английски. В конце концов они улетали в Америку, чтобы окончательно потерять там оперение.

Эмигранты считали себя единственными представителями подлинной России. Все сколько-нибудь значительное, что нарождалось и росло в России после революции, они отвергали как "нерусское", "еврейское", "интернациональное". Европа уже давно привыкла видеть в Ленине главу российского государства. Для эмигрантов таковым все еще оставался Николай Второй. Они хранили трогательную верность прошлому наперекор очевидному ходу истории. И этим сами снижали трагизм своего положения.

Но ведь жить как-то нужно! А коли так – они на парижских ипподромах родным казачьим галопом гарцевали на чужекровных лошадях, обвесившись кривыми турецкими саблями, купленными на блошином рынке в Клиньякуре, прогуливались по Монмартру, щеголяя пустыми пантронташами и тупыми кинжалами, водружали на головы огромные "медвежьи" папахи из натуральной кошки и, даже будучи уроженцами мирной Волыни, изображали свирепых донских атаманов, стоя швейцарами в дверях роскошных заведений. Некоторые с помощью не подлежащих проверке нансеновских паспортов сами произвели себя в князья. Только кому какое дело до титулов! Все они с одинаковой ловкостью научились выщипывать из балалаечных струн щемящие аккорды, носить красные сафьяновые сапоги с серебряными шпорами и кружиться на одном каблуке вприсядку. В одном парижском варьете я видел, как некая русская княгиня изображала русскую свадьбу. Сама она была выряжена невестой, переодетые боярами ночные вышибалы с пляс Пигаль

стояли шпалерами, как цветы в горшках, на заднем плане мерцал картонный собор, откуда вышел поп с бородой из ваты, стеклянные самоцветы блистали в лучах русского солнышка из софитов, а капелла скрипачей приглушенно струила трогательную мелодию песни о Волге-матушке прямо в сердца публики. Другие княгини работали официантками в русских заведениях, в передничках с блокнотиком на цепочке черненого серебра, с гордо вскинутой головкой в знак несгибаемой стойкости и неизбывного трагизма эмигрантской судьбины. Другие, сломленные этим трагизмом, понуро и тихо сидели на скамейках Тюильри и Люксембургского сада, венского Пратера и берлинского Тиргартена, по берегам Дуная в Будапеште и в кофейнях Константинополя. В каждой стране они заводили связи с местными реакционерами. Они сидели и горевали по своим утратам: погибшим сыновьям и дочерям, по сгинувшим женам — но и по золотым карманным часам, подарку Александра Третьего. Многие покинули Россию, потому что "не могли больше видеть нищету и страдания родины". Я знаю многих русских евреев, которых еще несколько лет назад "экспроприировали" Деникин и Петлюра, но которым сегодня больше всех на свете ненавистен Троцкий, хотя он ничего дурного им не сделал. Они мечтали бы снова по поддельной метрике просочиться за черту оседлости и вести унизительное, полузаконное существование людей второго сорта в крупных российских городах.

В небольшом отеле в Латинском квартале, где я останавливался, жил один известный русский князь — вместе с отцом, женой, детьми и бонной. Старик-отец — тот еще был из "настоящих". Он варил себе супчик на спиртовке, и, хотя я прекрасно знал, что он светоч антисемитизма и махровый крепостник, мучивший своих крестьян, было что-то трогательное в его облике, когда он промозглыми осенними вечерами тащился к себе домой, давно уже символ, не человек, иссохший лист, сорванный ветрами истории с древа жизни. Зато его сынок, взращенный и воспитанный уже на чужбине, элегантно одевавшийся у парижских портных, живший на содержании у более богатых великокняжеских семейств, — тот был совсем другая птица! В телефонной гостиной он вел долгие переговоры с бывшими лейбгвардейцами, всем Романовым, подлинным и самозваным, слал верноподданнические поздравительные адреса ко дню рождения, а дамам в отеле подсовывал в ячейки для ключей пошленькие, на розовой бумаге, любовные послания. На царистские монархические конгрессы он отправлялся в автомобиле и жил припеваючи, этаким маленьким эмигрировавшим божком во французских райских кущах. К нему приходили попы, гадалки, предсказатели, теософы — все, кто провидел будущее Рос-

сии, пророчил возвращение Екатерины Великой и троек, медвежьей охоты и каторги, Распутина и крепостного права... Потерянные люди. Они потеряли свою русскость и свои дворянские привилегии. А поскольку ничего, кроме русскости и знатного происхождения, у них за душой не было, они потеряли все. Они медленно выпадали из собственного трагизма. Герои великой трагедии опускались на глазах. Кровавая, железная поступь истории вершилась неумолимо. Наши глаза уставали созерцать бедствия, которые сами себя спешили продешевить. Мы стояли над обломками, которые сами не осознавали масштабов постигшей их катастрофы, мы знали о них больше, чем сами они в состоянии были нам поведать, а коли так — мы, плечом к плечу и в ногу со временем, перешагнули через этих потерянных и потерявшихся, перешагнули бестрепетно, хотя и не бесскорбно...

Франкфуртер цайтунг, 14.09.1926

Совсем большой магазин

ВООБЩЕ-ТО большие магазины в городе уже имелись. Но всегда находятся люди, которым не хватает совсем большого магазина. Этим неуемным энтузиастам казалось обидным, что в здании магазина всего лишь четыре, пять, ну, от силы шесть этажей, и в своих дерзновенных амбициях они посягали грезить о магазине в десять, двенадцать и даже пятнадцать этажей. И помышляли при этом вовсе не о том, чтобы, допустим, подобраться поближе к самому Господу — что, кстати, было бы тщетной затеей, ибо судя по тому, что мы знаем, к Нему нельзя приблизиться, поднимаясь как можно выше в облака, а, напротив, лишь держась поближе к праху, из коего все мы сотворены. Отнюдь! Людям, мечтавшим о совсем большом магазине, хотелось всего лишь возвыситься над магазинами поменьше, наподобие бегунов наших дней, которые бегут не куда-то, а лишь затем, чтобы раньше соперников достичь финишной ленточки, неважно, где ее протянули. Энтузиастам совсем большого магазина грезился магазин-небоскреб. И вот в один прекрасный день такой магазин был построен, и весь народ туда двинулся, и я вместе с народом...

Прежние, всего лишь просто большие магазины рядом с этим гигантом торговли выглядят мелкими лавочками, хотя, по существу, совсем большой магазин от просто больших почти ничем не отличается. В нем только больше товаров, лифтов, покупателей, лестниц, эскалаторов, касс, продавцов, ливрей, витрин, ящиков и картонных коробок. Правда, товары кажут-

ся более дешевыми. Ибо когда их сразу столько, и все они утрамбованы, как сельди в бочке, они сами теряют уверенность в своей стоимости. Они падают в собственных глазах и сами сбивают себе цену, обрекая себя на унижение, ибо что есть дешевизна товара, как не его унижение? Но поскольку покупателей тоже полно и они тоже теснятся, как сельди в бочке, товары и к покупателям не слишком взыскательны, тем самым подвергая унижению и их. Так что если поначалу совсем большой магазин представлялся плодом гордыни и греховной заносчивости человеческого гения, то со временем начинаешь понимать, что это всего лишь грандиозное вместилище мелкой человеческой заурядности, выставка и впечатляющее доказательство всемирной и всемерной дешевизны.

Едва ли не самым красноречивым примером тому мне представляется эскалатор. Это лестница, по которой человек не взбирается сам, а которая, напротив, поднимается вместе с ним. Точнее, даже не поднимается, а едет. Каждая ступенька торопится втащить покупателя наверх, словно боится, что тот вдруг раздумает и повернет назад. Она спешит доставить покупателя к товарам, взбираться к которым по обычной лестнице он, вероятно, ни за что бы не стал. А что, в самом деле, если подумать: спускать ли товары по самодвижущейся лестнице до ожидающего внизу покупателя или по той же самодвижущейся лестнице поднимать покупателя до ожидающих его наверху товаров, — по сути-то, разницы никакой.

Правда, в совсем большом магазине имеются и обычные лестницы. Но они всегда "свеже натерты" и всякий, кто отважится на них ступить, должен считаться с неприятной возможностью, как предупреждает объявление, поскользнуться "на свой страх и риск". Вообще-то от обычных лестниц, этих примитивных, неудобных и опасных устройств, что рядом с лифтами и эскалаторами выглядят чуть ли не садовой стремянкой, с превеликой радостью и вовсе бы отказались. А чтобы придать им еще более устрашающий вид, их снова и снова наващивают. Пустынные, безлюдные, они уныло поблескивают своими почти не хоженными, слишком гладкими ступеньками — убогий пережиток былых времен, когда наивное человечество еще любопытствовало заходить в полуразрушенные замки и просто большие магазины, ведать не ведая о существовании магазинов совсем больших.

Вероятно, совсем большой магазин выстроили бы еще выше, не возникни у кого-то мнение, что здание его должно быть увенчано террасой, на которой покупатели смогут поесть, выпить, насладиться с высоты окружающим видом, послушать музыку, но при этом ни в коем случае не замерзнуть. Однако подобное мне-

ние возникло, хотя вообще-то человеческой натуре вроде бы не так уж свойственна потребность после покупки белья, кухонной посуды или спортивной утвари всенепременно выпить чашечку кофе, съесть пирожное и послушать музыку. Вероятно, впрочем, было решено, что оные потребности присущи исконной первоприроде человека, и вот с оглядкой на них-то и соорудили на самой верхотуре так называемый сад-террасу. С утра до вечера там прохлаждаются, едят и пьют покупатели, и, хотя трудно предположить, что они делают это без аппетита, вид у них такой, будто они потребляют яства и напитки по обязанности, лишь бы доказать правомерность существования ресторана-террасы. Сдается, даже сам их аппетит носит несколько показной, демонстративный характер. И если в залах магазина, пока плавные ленты эскалаторов возносили их с этажа на этаж, они, пусть частично ограниченные в своей подвижности, все-таки еще походили на покупателей, то здесь, на ресторанной террасе, в своей экспонатной пассивности они достигают полного и разительного сходства с товарами. И хотя они вроде бы платят за еду и напитки, впечатление такое, будто за нахождение здесь заплатили им самим.

Их доблестную неподвижность услаждает музыкой превосходный оркестр. Их взгляд скользит по далеким башням, смутным газгольдерам и мглистым горизонтам. Небывалые удовольствия предлагаются столь многим и с такой неутомимой настоятельностью, что ощущение небывалости пропадает. И так же как в залах магазина изобилие товаров и покупателей сообщало и тем и другим налет заурядности, так и здесь, на террасе, заурядными становятся удовольствия. Все достижимо всем и каждому. Каждому и всем все доступно.

Вот почему не стоит считать совсем большой магазин греховным воплощением человеческой гордыни наподобие Вавилонской башни. Он, напротив, являет собой лишь доказательство неспособности современного человечества проявлять в своей натуре умеренность. Ему по силам воздвигнуть даже небоскреб — итогом будет отнюдь не потоп, а всего лишь сделка...

Мюнхнер нойесте нахрихтен, 08.09.1929

Берлинская индустрия развлечений

ИНОГДА, в приступе нещадной меланхолии, я захожу наугад в любое берлинское ночное заведение, не то чтобы с целью поразвлечься, но, скорее, чтобы насладиться чувством злорадства, какое вызывает у меня зрелище этого поставленного на конвейер веселья. Моим малодушным

опасениям, что испытывать тоску при виде увеселительных заведений меня заставляет всего лишь груз прожитых лет, противостоит объективное познание несказанно унылого однообразия международной ночной жизни. И в самом деле, сам механизм, посредством которого в наши дни производится и потребляется радость, упрощен и очевиден настолько, насколько человеческой натуре стала свойственна привычка волей-неволей искать пищу для удовольствий не в себе, а вовне, жадно их притягивая и заглатывая. Иной раз кажется, что грубая эта тяга, добывающая и перерабатывающая себе пищу буквально из всего и из ничего, завладевает и всеми нашими душевными силами, цинично наживая капитал на потребности и необходимости человека хоть изредка веселиться. Больше того, создается впечатление, что эта огрубленная и усредненная индустрия увеселений мало-помалу породила единый для всех городов мира тип ночного гуляки со строго стандартными, в высшей степени незамысловатыми потребностями, удовлетворяемыми по одинаковым и простым правилам. Так что к двум часам ночи картина, открывающаяся нам в баре, танц-баре или в "кафе-люкс" в Берлине, Париже, Марселе или Каире будет всегда примерно одна и та же: ароматизированный дым интернациональных "эксклюзивных" сигарет стоит сизой пеленой, образуя под потолком своего рода газообразную завесу. Чем-то красным задрапированные лампы не столько распространяют, сколько скрывают свой свет. По интернациональным рецептам взбитые коктейли, химической пестротой напоминающие жидкие самоцветы, мерцают в одинаково недолитых и одинаково выпуклых стаканах объемом примерно в половину кокосового ореха. Пучки коктейльных соломок, желтых, надменных ломак, торчат в металлических бочонках, единственным снисходительным напоминанием о давно преодоленном, грубом и неотесанном периоде человеческой истории.

В углу, где обосновался оркестр, — но, разумеется, пребывая не в чинном сидячем положении, а беспрерывно производя бессмысленные телодвижения, напоминающие известное упражнение "бег на месте", только перенесенное из мира армейского в мир вакхического милитаризма, — сверкает и мерцает, стонет и плачет, завывает и трелями заливается саксофон, мирская труба этого нечестивого, предпоследнего Судного дня. Музыканты, естественно, не во фраках. В рубашках с засученными рукавами, словно игроки в кегли, в облегающих майках, словно теннисисты, — короче, во всей этой англосаксонской экипировке, как бы призванной намекнуть, что извлечение звуков и даже мелодий требует не столько музыкального, сколько спортивного дарования. Присутствующие в заведении дамы, где бы заведение ни на-

ходилось, кажется, все поголовно сделаны из одного и того же материала красоты, который некая всемогущая и расточительная божественная сила равномерным слоем рассыпала по всем государствам, невзирая на климатические, геологические и расовые особенности, с целью беспрерывного воспроизводства того интернационального и инфантильного типа стройных, узкобедрых женщин, в коем порочность гармонирует с тренированностью, современная мода на самостоятельность — с испытанной методой пленять слабостью и беспомощностью, активное и пассивное избирательное право — с ласковой готовностью позволить себя купить. Во всех городах и весях утвердился и совершенно определенный, унифицированный тип молодого, то бишь как бы вовсе без возраста, бонвивана в мужской одежде (единственный признак его половой принадлежности): гладко выбритое лицо, прилизанные волосы, широкие (подбитые ватой) плечи и стиснутые бедра, колышущиеся от собственной ширины брюки и остроносые лаковые туфли — а еще эта небрежность поз из модных журналов, эта ноншалантность витринного манекена, это наигранное утомление жизнью в стеклянном взоре и эти узкие губы, подретушированные самой природой в тщете посостязаться с ухищрениями современной фотографии. Для производства музыкально-гимнастических упражнений пары поднимаются равномерно и равнодушно. Движения музыкантов куда энергичней, чем движения танцующих. Так и кажется, что их марионеточные вихляния вытягивают из тел танцоров последние остатки живости. Изображать оную еще как-то способны те танцевальные дуэты, которые под вывеской "демонстрация современных танцев" кочуют из одного крупного города в другой, дабы одинаковой механической улыбкой, обаяние которой сводится лишь к оскаливанию ухоженных зубов, повсюду, ежедневно и еженощно, зарабатывать свой нелегкий хлеб. Нигде не увидишь хозяина заведения, словно все эти бары и кафе и впрямь никому не принадлежат, словно это общественные учреждения пользования роскошью призваны удовлетворять соответствующие потребности населения наподобие автобусов и уличных фонарей, словно индустрия развлечений тем самым стремится доказать свое нерасторжимое родство с индустрией пользы.

В большом городе, каким является Берлин, акционерные общества вполне в состоянии удовлетворять потребности в удовольствии сразу нескольких социальных слоев одновременно, культивируя в фешенебельных кварталах берлинского "Запада" шик, лоск и пресловутую светскость, в других районах города предлагая добротные буржуазные радости клиентам "славного бюргерского сословия", а на рабочих окраинах раз-

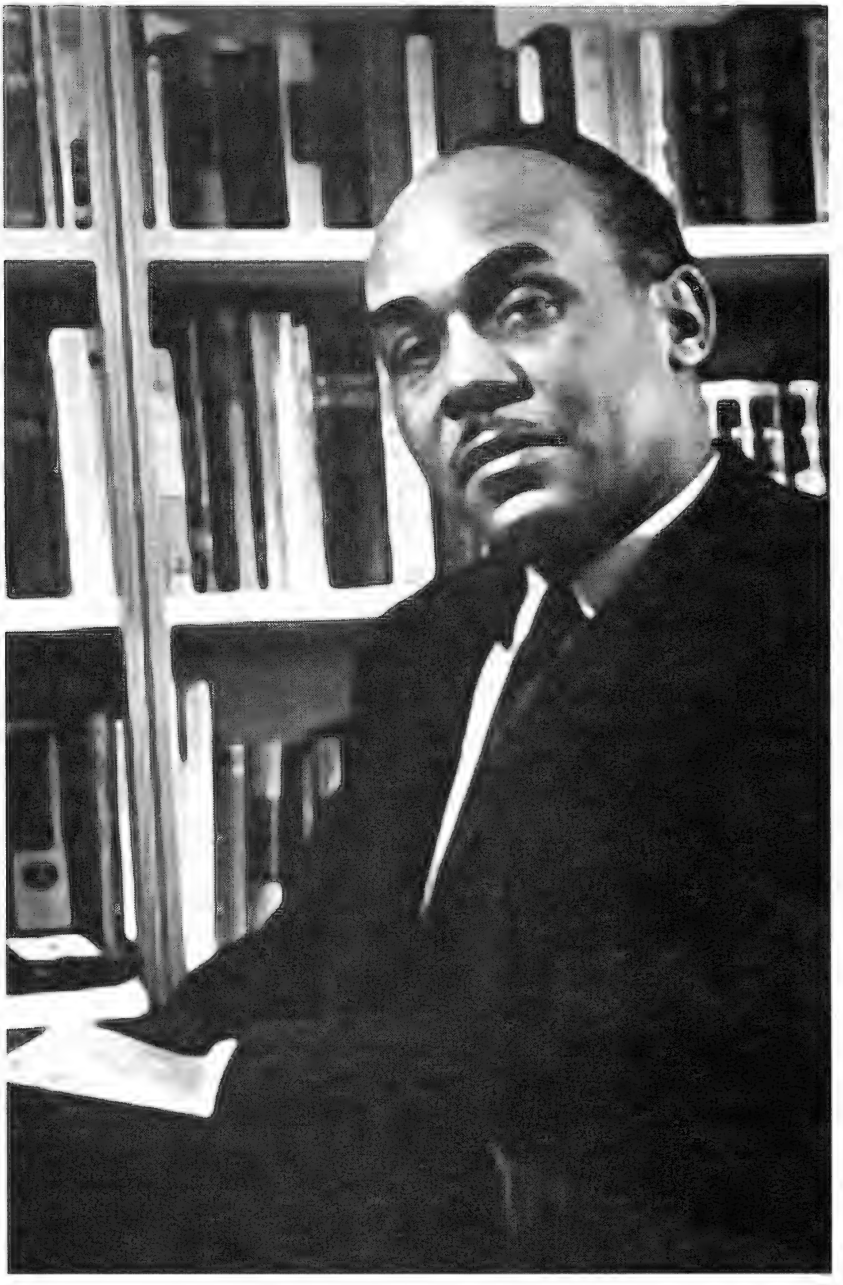
мещая заведения низкосортного пошиба для той части пролетарской элиты, которая тоже не прочь изредка приобщиться к соблазнам "сладкой жизни". И как в универсальном магазине продовольственные и вещевые товары самым тщательным образом рассортированы по ценам и качеству и выставлены в витринах с учетом запросов всех социальных слоев и даже многочисленных социальных прослоек, так и акционерные общества индустрии радостей поставляют каждому классу увеселения на его карман и вкус, напитки, которые тот предпочитает и способен оплатить, от шампанского, коктейлей и коньяка вплоть до вишневой наливки, липкого ликера и кислого пива из патцендорфской пивоварни. Однажды за одну ночь, когда скорбь моя была столь велика, что снова и снова толкала меня сопереживать горечь всех слоев изголодавшегося по мирским утехам берлинского населения, я медленно перемещался по городу, начав с баров шикарного Запада, потом переместившись на Фридрихштрассе, оттуда — в заведения северных районов, чтобы завершить свой поход в пивнушках для так называемого люмпен-пролетариата. По мере передвижения спиртное делалось все крепче, пиво светлее и жиже, вина кислее, музыка все фальшивей, а девицы — все толще и старше. Да, мне даже стало казаться, что где-то бытует некая единая и неумолимая сила, разумеется, АО, которая с неукоснительной строгостью понуждает весь народ к ночным увеселениям, так сказать, укрощает его радостями через силу, при этом используя свой расходный материал с крайней рачительностью, но без малейшего остатка. Так что саксофонисты, подрастерявшие "дыхалку" в люксусных интерлюдиях запада, до тех пор услаждают своими руладами буржуазное среднее сословие, покуда не подрастеряют и слух тоже, после чего оседают в пролетарских кабаках. Стройные, как тростинки, танцовщицы по мере прибавления в весе и возрасте, в строгом соответствии с требованиями все того же негласного, но беспощадного регламента, медленно опускаются из районов, где деньгами сорят, сперва в те, где их считают, потом в такие, где их уже экономят, и так далее до самых последних, где люди от случая к случаю тратят последние гроши.

Одно из таких увеселительных заведений, уже в годах, можно сказать, старожил среди своих берлинских собратьев, праздновало недавно пятидесятилетний юбилей и по такому случаю раздавало посетителям объемистые программки с забытыми фотоснимками забытых любимцев публики и примечательным "историческим обзором". Из коего можно было узнать, что оное увеселительное заведение, основанное и долгие годы ведомое одним единственным человеком, перешло в многочисленные руки "правления", которое, представ-

ляется мне, состоит сплошь из убийственно серьезных деловых людей, этаких заслуженных мастеров зашибания деньги. Здесь же было и фото основателя: круглолицый весельчак, из тех, кто живет сам и жить дает другим, он смотрел на нас с лукавым прищуром тертого калача, пряча в пышных, молодецки закрученных усах, парадоксально соединивших в себе воинственность и добродушие, умудренно ленивую улыбку, свидетельствующую, что в характере этого человека несомненная жажда наживы имеет свой предел. Далее следовали фото "звезд" — знаменитых кабаретных див, представительниц славного племени бесстрашных женщин, что на сцену выходят как на поле брани, в броне корсета, в длинных юбках, из-под которых кокетливо, запретно и похотливо выглядывает то коленочка в белоснежном или розоватом чулке, то танцевальные сапожки на высокой шнуровке, этих воинственных и бесстыжих маркитанток с обнаженными, жилистыми плечами и шеями и с высоченной, пышной копной волос, под которой даже легкий кивок был совсем непростым делом; и, наконец, танцовщиц с округлыми, ладными ножками, словно вшитых в колышущиеся воланы шуршащих балетных пачек, соблазнительно-развязных скромниц с манящей улыбкой на устах и обаянием растленной добродетели во взоре. Да, вот как оно раньше было. Хозяин ходил между столиками, давая гостям жить и поощряя их грешить как можно усерднее. Шутки были рискованные, но люди веселились от души, женщины были разодеты, но, несомненно, из плоти и крови, а не являли собой продукт упорных гигиенических процедур. Развлечение было всего лишь выгодным делом, но еще не индустрией.

Мюнхнер нойесте нахрихтен, 01.05.1930

Роман-невидимка Ральфа Эллисона



Ольга Панова

Роман-невидимка Ральфа Эллисона

Судьба книг даже в XX веке порой бывает удивительна и непредсказуема — несмотря на сегодняшнее всевластие законов книжного рынка, рекламы, механизмов "раскрутки" и "продвижения продукции", царящих в наше время, настоящее искусство по-прежнему не подчиняется законам коммерции. Мало того — оно не укладывается в рамки, задаваемые здравым смыслом, разрушает инерцию мышления, опрокидывает любые стереотипы. Появление настоящего произведения — загадка. То, каким образом, нарушая все правила, гарантирующие популярность, оно получает признание у публики, быть может, загадка еще бьльшая.

Роман "Невидимка" — поразительный пример такого необъяснимого "зигзага удачи", который неизменно ставит в тупик социологов и маркетологов, задающихся вопросами: "Как Эллисон вышел в гении?", "Как удалось почти безвестному начинающему автору в одночасье создать 'великий американский роман'?" В самом деле, когда 14 апреля 1952 года в нью-йоркском издательстве "Рэндом хаус" напечатали первый тираж "Невидимки", автору только что исполнилось 39 лет, и на счету у него было лишь несколько опубликованных рассказов, эссе и рецензий. Обширных знакомств среди литераторов у него не было, для окружающих он был не столько писателем, сколько подающим надежды новичком, вращавшимся в окололитературных кругах и успевшим поработать в нескольких редакциях и писательских организациях.

Первые отклики на роман появились сразу же, и все они, как пишет биограф Эллисона Арнольд Рамперсед, "были подобны первым колебаниям почвы под ногами, предвещающим близкое землетрясение"[1]. Буквально через неделю прессу захлестнула волна хвалебных рецензий. К концу месяца было продано шесть тысяч экземпляров книги, а еще через десять дней, 11 мая, "Невидимка" оказался на десятом месте в списке бестселлеров журнала "Нью-Йорк таймс бук ревью". В январе 1953 года роман получил Национальную книжную пре-

© Ольга Панова, 2013

1. A. Rampersad. Ralph Ellison: a Biography. — New York: Alfred A. Knopf, 2007. — P. 259.

мию, одну из самых престижных литературных наград Америки. Вместе с романом Эллисона на премию номинировались повесть Э. Хемингуэя "Старик и море" и роман Дж. Стейнбека "К востоку от рая", однако жюри отдало предпочтение "Невидимке". Больше всего такое решение удивило самого лауреата: о победе он даже не думал, более того — никак не предполагал, что может всерьез тягаться с живыми классиками, особенно с Хемингуэем, которого считал одним из своих учителей в литературе. Но именно с этого момента жизнь Эллисона изменилась раз и навсегда. Его признали Писателем с большой буквы, он стал знаменитостью. Посыпались лестные приглашения — выступить по радио, дать интервью именитому журналу, прочитать курс лекций о современной прозе в университете. Быстро пришла и европейская известность — уже через год его зовут в Зальцбург, Париж, Рим. До самой смерти он получал награды как на родине, так и за рубежом, был членом нескольких обществ, академий, почетным профессором ведущих университетов. Эту громкую славу ему принес один-единственный роман, с которым Эллисон и вошел в историю литературы XX века.

Есть писатели, рано осознавшие свое призвание, с детства увлекавшиеся литературой. Ральф Эллисон не принадлежал к их числу. Идея всерьез заняться писательством посетила его довольно поздно. До двадцати пяти лет свое будущее он связывал исключительно с музыкой.

Эллисон родился и вырос на западе США, в Оклахоме, где и в 1910—1920-е годы сохранялся дух американского Фронтира, дух пионеров, охотников и первопоселенцев, дух, который Эллисон считал квинтэссенцией американского национального характера. Эллисон гордился тем, что в его жилах течет не только негритянская и англо-саксонская, но и индейская кровь. Его отец, Льюис Эллисон, мог бы легко пересечь "линию цвета" и выдать себя за белого, но вместо этого предпочел остаться цветным и женился на темнокожей Иде Уоткинс. От этого брака родились двое сыновей. Ральф пошел в мать, а младший, Герберт, которого в семье прозвали Геком Финном, оказался голубоглазым и рыжеволосым, хотя черты лица выдавали его негритянское происхождение. Пристрастие к литературным именам вообще отличало Льюиса Эллисона, человека образованного и начитанного. Старшего сына он назвал Ральф Уолдо Эллисон в честь великого американского мыслителя и писателя-романтика Ральфа Уолдо Эмерсона. Ральф родился 1 марта 1913 года, а в 1916 году его отец погиб в результате несчастного случая. После смерти кормильца семья была вынуждена бо-

роться за существование. Ида Эллисон не гнушалась никакой работой, была и прачкой, и консьержкой, и уборщицей. Еще учась в школе, Ральф знал, как достаются деньги: подрабатывал дворником, лифтером, мыл посуду, чистил на улице ботинки. Честолюбивый подросток уже тогда мечтал об успехе и всемирной славе — он видел себя великим композитором, автором симфоний и кантат или в крайнем случае знаменитым исполнителем. Днем он брал уроки классической музыки, а по вечерам слушал звуки джаза, которые доносились из клубов и театров. В 20-е годы в Оклахоме жили и выступали такие звезды, как блюзовый певец Джимми Рашинг и гитарист Чарли Кристиан. О них Эллисон впоследствии напишет статьи: "Золотой век, былое время", "Вспоминая Джимми", "История Чарли Кристиана", "Жизнь с музыкой".

В 1933 году двадцатилетний Ральф подал заявку на обучение в университет Таскиги и через несколько месяцев узнал, что ему дали стипендию. Денег на билет до Алабамы у него не было, и он решился поехать "зайцем" в товарных составах. Несколько дней он провел в дороге в обществе бродяг — хобо, познакомился с их опасным и романтическим образом жизни и, наконец, благополучно прибыл на крайний Юг, в старейший негритянский университет, где ему предстояло в течение двух лет учиться музыке по классу трубы и выступать с университетским оркестром.

Таскиги был основан в 1882 году выдающимся негритянским деятелем Букером Т. Вашингтоном. Идея университета полностью отвечала идеологии его создателя — "сегрегация во имя будущей интеграции". По мнению основателя Таскиги, едва сбросивший иго рабства отсталый негритянский народ не в состоянии немедленно интегрироваться в американское общество. Необходимо, опираясь на собственные силы и белый патронаж, "стать вровень с белыми". Только тогда будет возможен следующий шаг — плавное постепенное слияние "белых" и "черных" общественных структур. Первым этапом должно было стать появление сегрегированного истэблишмента "только для черных", включающего бизнес, здравоохранение, социальное страхование, культуру и, конечно, образование. Задача негритянского народа — создать свой средний класс, вырастить своих предпринимателей, учителей, врачей, инженеров. Этой задаче было подчинено обучение в Таскиги — негритянской молодежи надлежало в первую очередь получать не теоретические знания, а практические навыки. Основатель Таскиги, мастер компромисса, больше говорил об обязанностях, недостатках и возможностях негров, чем об их правах, бедах и трудностях. Букер Т. Вашингтон, бывший раб, ставший одним из самых влиятель-

ных людей в Америке, делал ставку на труд, самосовершенствование, дисциплину и образование как способ решения расовой проблемы. Он проповедовал оптимизм, лояльность, уважение к закону, верность "белым друзьям". Его программу щедро финансировали филантропы Юга и Севера, в числе которых были Карнеги, Виллард, Розенвальд.

В "Невидимке" впечатлениям от Таскиги отведено немало места. Действие первой части происходит на Юге. Юный герой романа, приняв участие в унизительной "баталии", разыгранной для увеселения городских тузов, произносит, еле шевеля разбитыми в кровь губами, перед "высоким собранием" речь о социальной ответственности и новых возможностях, открывшихся перед чернокожими. "Отцы города" удостаивают его стипендии, и он едет учиться в негритянский колледж. Во второй главе описывается жизнь колледжа: цветущий кампус с клумбами и дорожками, часовня, котельная, студенческие общежития, памятник Букеру Т. Вашингтону, снимающему "покров невежества" с головы коленопреклоненного раба, больница для ветеранов неподалеку от университетского городка — все эти детали реального Таскиги Эллисон сохранил в романе, почти не изменив. Юный герой еще безоглядно верит в начертанный Основателем путь к успеху. Вначале ректор доктор Бледсоу считает его "многообещающим" и поручает ему ответственное дело — сопровождать богатого попечителя колледжа мистера Нортона, прибывшего с коротким визитом из Бостона. Подобные приезды "белых друзей" — попечителей и филантропов — были в Таскиги в порядке вещей.

Как известно, замысел романа возник у Эллисона после того, как в 1945 году он вместе с женой Фанни провел несколько недель в Вермонте, где, приобщившись к духу Новой Англии и познакомившись с культурой ее "золотых дней" (так известный критик Льюис Мамфорд назвал время, когда Новая Англия переживала свой расцвет, когда здесь жили и творили Эмерсон и Торо), восхитился возвышенными нравственными идеалами трансценденталистов, сохранивших лучшее из наследия пуритан. Эпизод знакомства героя — скромного темнокожего студента — с мистером Нортоном, богатым бостонцем и попечителем колледжа, был написан Эллисоном в самом начале работы над романом. Образ мистера Нортона несет особую смысловую нагрузку, передавая убежденность Эллисона в том, что столь сильный в XIX веке дух аболиционизма переродился в прекраснодушный и недальновидный филантропизм. Неслучайно в притоне с говорящим названием "Золотые дни" Нортона осмеивают и унижают цветные ветераны войны. Мистер Нортон — марионетка в ру-

ках хитрого чернокожего трикстера[1] ректора Бледсоу. Неудивительно, что он и его приспешники сразу же изгоняют наивного героя романа из колледжа как "опасный элемент": подчинившись желанию гостя, он простодушно показал белому филантропу не "потемкинскую деревню", а кусочек настоящей, без прикрас, жизни чернокожих на Юге.

Хотя Эллисона не исключали из Таскиги, он, как и Невидимка, покинул университет, не закончив обучения. Летом 1935 года он отправился в Нью-Йорк и назад, в Таскиги, больше не вернулся. Вся дальнейшая его жизнь оказалась связана с Нью-Йорком — приехав туда двадцатидвухлетним юношей, он остался там навсегда. Элиссону очень повезло — он сразу же встретился со знаменитым поэтом, одним из корифеев Гарлемского возрождения, Лэнгстоном Хьюзом. Через Хьюза Эллисон завязал первые знакомства в литературном мире, в том числе с восходящей звездой афро-американской прозы Ричардом Райтом. Под влиянием Хьюза и Райта Эллисон увлекся марксизмом и социализмом. Он проводит много времени в редакции "Дейли уоркер", следит за публикациями в журнале "Нью массиз", посещает собрания радикалов в Гринич-виллидж, зачитывается книгой Джона Стрейчи "Литература и диалектический материализм". К этому же времени относятся первые пробы пера: по просьбе и при поддержке Райта Эллисон начинает публиковать рецензии и пытается сочинять рассказы. Он подражает "жесткому стилю" Хемингуэя и натурализму Райта. Влияние "романа протеста" особенно заметно в его ранних рассказах: "Бык Хайма", "Тилман и Тэкхед", "Черный шар" — и набросках так и не написанного романа "Слик". Его герои — рабочие, бродяги-хобо, обитатели гетто, чьи судьбы типичны для эпохи Великой депрессии. Как и Ричард Райт, Эллисон рисует картины нищеты и убожества, использует негритянский диалект, стремится к точности и достоверности факта.

Начинающий писатель вынужден зарабатывать на хлеб насущный: он работает на фабрике красок, затем устраивается секретарем к врачу-психоаналитику доктору Салливану, — эти и другие впечатления впоследствии вошли в его роман. После исключения из колледжа безымянный герой "Невидимки" приезжает в Нью-Йорк, долго и тщетно пытается найти работу и наконец устраивается на фабрику красок, где ему поручают из черной краски делать белую путем добавления особого реактива. На фабрике он в силу своей наивности и неопытно-

1. Трикстер (от *англ.* trickster — обманщик, ловкач) — архаический персонаж ранней мифологии практически всех народов земли. Термин введен в научный обиход американским антропологом Полом Радином.

сти оказывается невольно втянут в раздоры между профсоюзными активистами и рабочей аристократией, а потом становится жертвой производственной аварии и попадает в больницу. Опыт работы у доктора Салливана очень пригодился Эллисону для сюрреалистического описания экспериментов, которые врачи ставят над Невидимкой. Вивисекторские приемы врачей, образ клиники как обесчеловечивающей машины – все это предвосхищает известный роман Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки", в котором описаны видения вождя Бромдена, "Комбинат", ЭСТ и лоботомия.

Интерес к марксизму, коммунистические симпатии и опыт сотрудничества с левым движением составили автобиографическую основу последней, третьей части романа. Герой вступает в ряды "Братства" – политической организации, объединяющей белых и цветных. Вначале ему кажется, что "Братство" сумело преодолеть расовый барьер, уничтожить "линию цвета – линию раздела"[1]. Ему нравятся научный подход, партийная дисциплина, общая цель, во имя которой сообща трудятся черные и белые "братья". Его окрыляет чувство причастности к Истории, которая вершится на его глазах. Однако вскоре он сталкивается с оборотной стороной идеологии "Братства". Его преследуют за "оппортунизм, индивидуализм, диктаторские наклонности", прорабатывают за "недопустимую инициативу" и требуют слепого подчинения решениям Комитета, который "думает за всех". За легко узнаваемыми коммунистическими догмами скрывается пренебрежение к личности; более того, лидеры "Братства" презирают те самые трудящиеся массы, за благо которых призвана бороться организация: когда Невидимка пытается рассказать о настроениях в Гарлеме, его резко осаживают: "Наше дело – не выслушивать, что думают невежественные массы на улице, а диктовать, что им думать!" Комитет принимает решение "пожертвовать" Гарлемом ради "соглашения с другими политическими силами" и расширения своего влияния. Кровавый разрушительный бунт в негритянском районе Нью-Йорка оказывается на руку "Братству", полагающему, что жертвы во имя "великой общей цели" неизбежны.

Живые, реальные люди для Истории – только марионетки, послушно пляшущие куколки Самбо[2], вроде тех, которые продает на улицах Гарлема разочаровавшийся в "Братстве"

1. "Линии цвета" и "цветная завеса" – термины, которыми пользуется Уильям Эдуард Бургхардт Дюбуа в книге "Души черного народа" (W. E. B. Du Bois. The Souls of Black Folk, 1903).
2. Куклы Самбо в романе "Невидимка" – марионетки, изображающие негров, символ их подневольного положения.

бывший молодежный лидер Тод Клифтон. Вслед за Клифтоном герой открывает для себя страшную правду: политика, экономика, история, идеология, словом, вся общественная и социальная жизнь – это область ложного, неистинного, область псевдобытия, где каждый человек – невидимка, ибо превращается в объект манипулирования, схему, маску, функцию, ведущим к потере его "я". Тем самым судьба безымянного героя-Невидимки – "негритянский вариант" удела человеческого как такового. Это притча об одиночестве человека в современном обществе, о том, какова его "экзистенция", и о том, что он обречен на призрачное, неподлинное существование.

Такой взгляд на историю и общество сближает Эллисона с экзистенциалистами. Различие, однако, состоит в том, что писатель не считает подобное положение дел безысходным. В своих эссе 1950–1960-х годов ("Американская литература XX века и гуманизм под черной маской", "Скрытое имя, трудный удел" и других) он усматривает причину такого положения дел в нарушении принципов демократии, в несоответствии идеологии практике. В Америке, словно на звероферме Джорджа Оруэлла, провозглашается всеобщее равенство, а на поверку оказывается, что некоторые члены общества (в первую очередь этнические меньшинства) "менее равны", чем все прочие. Эллисон убежден, что именно в этом корень зла: если удастся его выкорчевать, каждому человеку будет возвращена его подлинная человеческая сущность. Речь идет не только о неграх, которых на заре освоения Нового Света "эксплуатировали беспощадно и аморально, словно тело негра – это природный ресурс", но и о белых, которые, оказавшись в роли угнетателей и палачей, также подспудно испытывают нравственные страдания. По мнению Эллисона, великая американская литература XIX века пробудила совесть нации, выступив против практики двойных стандартов и власти стереотипов, оправдывающих такое положение дел в обществе. С наступлением XX века, как полагает Эллисон, этот нравственный пафос был почти утрачен, что привело к деградации литературы: писатели увлеклись формальным экспериментом, совершенствованием приема, забыв о том, что литературная техника – не самоцель и миссия литературы – способствовать духовному возвышению человека и общества.

Отводя литературному приему служебную роль, Эллисон, тем не менее, серьезно относился к таким понятиям, как писательское мастерство и профессионализм. Что касается техники и стиля, его роман наглядно свидетельствует: все, что

автор положил в свою "копилку", оказалось востребованным в этом opus magnum. Пройдя период увлечения "жестким стилем" Хемингуэя и райтовским "романом протеста", Эллисон открывает для себя великих модернистов: еще в 1935 году его поразила "Бесплодная земля" Элиота, чуть позже пришло увлечение Джойсом, Кафкой, Гертрудой Стайн. Колоссальным открытием на рубеже 1930–1940-х стали для писателя романы Андре Мальро, особенно "Удел человеческий". В 40-е годы Эллисон знакомится с экзистенциализмом и творчеством Достоевского: "Идиот" и "Записки из подполья" сыграли немалую роль в кристаллизации замысла "Невидимки". В это время заметно меняется эллисоновская манера письма. Переломными произведениями принято считать рассказы "Лечу домой" и "Король американского лото" (1944), где автор экспериментирует с модернистскими приемами.

В своем романе Эллисон демонстрирует целую палитру техник и стилей – все три части написаны по-разному. Смена стилей отражает перемены, происходящие с героем, – как внешние (с патриархального Юга он перемещается на Север, в Нью-Йорк), так и внутренние. Герой постепенно начинает осознавать, что все усилия реализовать себя на общественном поприще обрекают его на положение невидимки: подлинное "я", глубинная человеческая сущность остается невостребованной, "невидимой" для окружающих. Для того чтобы понять это, герой должен познать себя, отделить свою личность от той "шелухи", которую навязывает ему общество.

Этапы этого "пути к себе" маркированы появлением в романе фольклорных образов. Первый из них – Трублад, на пути наивного героя он возникает как человек-загадка, он отмечен печатью некой пугающей и отталкивающей тайны. Этот чернокожий Эдип, совершивший инцест, презираемый и ненавидимый всей негритянской общиной, оказывается человеком цельным и исполненным внутренней силы. Простой, невежественный крестьянин Трублад обладает многими талантами: он настоящий сказитель, чьи рассказы завораживают слушателей, он умеет "с диким совершенством" выводить мелодии блюзов и спиричуэлс. Благодаря этим талантам он сумел подняться над своей страшной и горькой участью, признать и преодолеть совершенный им грех, стать выше своего удела. В эссе "Блюз Ричарда Райта" (1945) Эллисон определяет блюз как искусство экзистенциалистское, позволяющее справиться с житейскими бедствиями и невзгодами, дистанцироваться от них при помощи иронии. Позже, уже в Нью-Йорке, оказавшись в больнице во власти вивисекторов в белых халатах, герой проявляет смекалку и волю к жизни и

превращается из подопытного кролика в веселого и неуловимого трикстера Братца Кролика. Персонажи негритянских сказок о животных снова возникают в сознании героя, когда он сталкивается с "Братством": брат Джек, брат Реструм, брат Тоббит ассоциируются с Братцем Лисом, Братцем Медведем, Братцем Опоссумом и другими фольклорными героями. Оказавшись в подполье, Невидимка слушает музыку Луи Армстронга; его видения описаны с помощью фольклорных форм — это и сказ, и спиричуэлс, и "черная проповедь".

Еще в юности, мечтая стать композитором, Ральф Эллисон хотел сочинить симфонию на основе негритянских народных песен, блюзов и спиричуэлс. Такой своеобразной симфонией стал его роман. В эссе и интервью Эллисон не устает повторять: в фольклоре и мифах содержится "праструктура гуманного", и только через идентификацию себя с этими извечными архетипами каждый человек может прикоснуться к тайне собственной судьбы, ощутить свою самость и выйти наконец из тьмы на свет, стать видимым — и для других, и для себя самого. "Я сбрасываю старую кожу, оставляю ее здесь, внизу. Я поднимаюсь наверх... Кто знает, может быть, на этих низких частотах я говорю и от вашего имени", — произносит Невидимка в эпилоге, готовясь покинуть свое "подполье".

Чтобы прийти к самому себе, Невидимке пришлось проделать долгий путь, состоявший из потерь и разочарований, открытий и обретений. Для Эллисона работа над романом тоже стала настоящей одиссеей, которая длилась долгих семь лет. После выхода "Невидимки" Эллисон остался верен себе: он так и не стал плодовитым автором и по-прежнему писал немного, отдавая предпочтение малым формам. Он напечатал несколько рассказов, в шестидесятые годы вышел его знаменитый сборник эссеистики "Тень и действие" (1964). Следующая новая книга, также собрание эссе и статей, "Вылазка на территорию" появилась только в 1986-м. В "бурные шестидесятые" Эллисон часто подвергался резкой критике со стороны негритянских литераторов нового поколения, ставших на позиции сепаратизма и черного национализма. Деятели "Движения за черное искусство" во главе с Лероем Джонсом[1] не могли простить Эллисону его "интеграционизма" — убежденности в том, что судьба американских негров неотделима от судьбы Америки. Однако наиболее яркие чернокожие авторы, пришедшие в литературу в 1970—1980-е годы — Тони Моррисон,

1. Лерой Джонс (р. 1934) — афроамериканский писатель. В 1967 г. принял мусульманство (исламское имя — Амири Барак). Автор социально-критических драм-притч "Голландец" (1964), "Корабль невольников" (1970).

Леон Форрест, Джеймс Алан Макферсон[1] — с огромным уважением отнеслись к его заслугам и признали, что все они в той или иной степени вышли из "Невидимки" Эллисона.

Последние двадцать лет жизни Эллисона постоянно циркулировали слухи о том, что он вот-вот выпустит второй роман. Однако этого так и не произошло. Исследователь творчества Эллисона Дж. Каллахан, уже после смерти писателя в 1993 году, издал черновики и наброски незавершенного романа "Июньдцатый"[2], а еще через десять лет опубликовал дополненное и расширенное собрание материалов к ненаписанному второму роману "За три дня до расстрела"[3]. Дж. Каллахан также подготовил полное собрание эссеистики[4] Эллисона и посмертное полное издание всех его рассказов, повестей и новелл "Лечу домой и другие рассказы"[5].

В завершение остается сказать несколько слов о странной судьбе, постигшей главное сочинение Эллисона у нас на родине. Ральф Эллисон был твердо убежден: имя, название определяет судьбу. У нас в России это его убеждение подтвердилось самым решительным образом. Роман постигла судьба "книги-невидимки": прошло почти шестьдесят лет с момента его выхода, он давно уже переведен на многие языки, а в распоряжении русского читателя до сих пор имеется лишь перевод единственной главы, сделанный В. Голышевым еще в 1985 году, да разнообразные упоминания о "великом, но неизвестном" романе в книгах и статьях о литературе США XX века. Остается надеяться, что этот загадочный и необъяснимый пробел в наших представлениях об истории американской литературы все же будет восполнен в самое ближайшее время.

1. Леон Ричард Форрест (1937–1997) — афроамериканский писатель, автор романов о жизни Чикаго. Джеймс Алан Макферсон (р. 1943) — афроамериканский писатель и эссеист, лауреат Пулитцеровской премии 1978 г. за сборник рассказов "Свободное место" ("Elbow Room").
2. "Juneteenth" (1999).
3. "Three Days Before Shooting" (2008).
4. "The Collected Essays of Ralph Ellison"(1995).
5. "Flying Home and Other Stories"(1996).

Ральф Эллисон
Невидимка

Фрагменты романа

Перевод с английского Ольги Пановой

Пролог

Я — невидимка. Нет, я вовсе не привидение вроде тех, что населяют страницы книг Эдгара Аллана По, и не оживший сгусток эктоплазмы из какого-нибудь голливудского триллера. Я — человек из плоти и крови, не лишенный способности мыслить. А невидимка я потому, что меня не хотят видеть. Вам наверняка доводилось наблюдать в цирке трюк с отрезанной головой. Вот и меня, как циркача в этом номере, со всех сторон окружают беспощадные кривые зеркала. На их холодной поверхности всплывает всякая всячина — окружающие предметы, отражения отражений и даже то, чего нет на свете, — словом, все что угодно, только меня там не найти.

Между прочим, кожа у меня по биохимическому составу такая же, как у всех людей, — нормально поглощает и отражает свет. Я невидим по единственной причине: люди, с которыми я общался, все как один слепы. Я имею в виду *духовную* слепоту — ведь именно внутреннее зрение управляет нашим физическим зрением. Поймите меня правильно. Я не жалуюсь и не пытаюсь протестовать. В положении невидимки даже есть определенные выгоды, хотя, надо признать, по большей части мне все это действует на нервы. К тому же, когда незрячие субъекты все время сослепу на тебя налетают, толкают тебя и пихают, поневоле начинаешь сомневаться: а существую ли я на самом деле? Вдруг я — всего лишь образ, порожденный чьей-то не в меру разыгравшейся фантазией? Неотвязчивый призрак, привидевшийся в кошмарном сне, с которым тщетно сражается несчастный сновидец? Когда на меня накатывает такое (а бывает это частенько), я с отчаяния тоже начинаю толкаться и пихаться — точь-в-точь как эти слепцы. В такие ми-

© 1952, Ralph Ellison, used by permission of The Wylie Agency (UK) Limited
© Ольга Панова. Перевод, 2013

нуты ты готов на все, лишь бы доказать, что ты есть, что ты живешь в реальном мире, слышишь, как все, и страдаешь, как все, и тогда пускаешь в ход кулаки, ругаешься, изрыгаешь проклятия — только бы наконец тебя соизволили заметить... Как бы не так. Пустая трата сил.

Однажды вечером я шел по улице и столкнулся с каким-то прохожим. Мне показалось, что он разглядел меня в сумерках и грязно обозвал. Я схватил его за отвороты пальто и потребовал, чтобы он извинился. Это оказался высокий светловолосый мужчина. Он смотрел мне прямо в лицо своими голубыми глазами, и я чувствовал на щеке его горячее дыхание. Он изо всех сил отбивался, но я резко пригнул его голову и боднул упрямца, в кровь разбив ему губы, — я видел, так делают в Вест-Индии, и закричал: "Извинись! Сейчас же извинись!" Однако он продолжал вырываться и сквернословить, и я еще раз его боднул, и еще, и еще, пока он не стал потихоньку оседать, а потом грузно повалился на колени, весь в крови, но продолжал бормотать какие-то ругательства. В исступлении я принялся пинать его, словно куль с овсом, потом вытащил складной нож и открыл его зубами, крепко держа обидчика за воротник. Еще мгновение — и я перерезал бы ему горло, прямо там, на темной пустынной улице возле тусклого фонаря. Но тут меня осенило. Я вдруг понял, что этот горемыка попросту *не видел* меня! Как лунатик, спал на ходу и видел кошмарный сон. Лезвие моего ножа рассекло лишь воздух. Я оттолкнул его, и он шмякнулся на спину. Я вперился в него, я сверлил его взглядом — так фары автомобиля пронзают ночной мрак. Он валялся на асфальте и стонал — беспомощная жертва ночного привидения. Ярость моя утихла. Мне было и стыдно, и тошно. Ноги подгибались, голова кружилась, как у пьяного. А потом мне вдруг стало смешно. Нет, вы только подумайте! В пустой башке этого болвана завелся фантом, который вдруг выскочил наружу и отколошматил его до полусмерти. От этой мысли я расхохотался, как полоумный. Жалкий слепец, лунатик! Наверное, даже смерть не заставила бы его пробудиться! Какие сны в том смертном сне приснятся?[1] Оставаться там было незачем, и я умчался в темноту, неистово хохоча. Я просто разрывался от смеха! А на следующий день в "Дейли ньюс" я увидел фотографию с подписью: "Жертва нападения была жестоко избита". Бедняга, несчастный слепой бедолага, подумал я с искренним состраданием, жертва, "жестоко избитая" невидимкой!

1. У. Шекспир "Гамлет". Перевод Б. Пастернака. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Спешу вас успокоить: подобные истории со мной случаются нечасто, я не имею обыкновения бросаться на людей. Я помню о том, что я — невидимка, веду себя тихо-скромно, чтобы не переполошить спящих. Будить лунатиков опасно. В свое время я сделал важное открытие: очень многого можно добиться не поднимая шума. Самое лучшее — незримая, незаметная война. Например, я уже долгое время веду такую войну с компанией "Монополейтид Лайт энд Пауэр". Я пользуюсь их услугами, не платя им ни цента, а они ни о чем не подозревают. Нет, разумеется, они знают, что часть электроэнергии куда-то пропадает, но не могут установить, на каком именно участке сети. Их счетчики на подстанции показывают, что чертова прорва электричества растворяется где-то в джунглях Гарлема — и все! Фокус, однако, в том, что живу я не в Гарлеме, а в другом районе, по соседству. Несколько лет назад (еще до того, как понял, что невидимкой быть очень выгодно) я безропотно платил за все коммунальные услуги по их грабительским расценкам. Баста, больше тому не бывать: я покончил с этим, как и со всем моим прежним житьем-бытьем в моей бывшей квартире. Прежняя моя жизнь строилась на глубоко ложной посылке — я считал себя видимым, таким же, как все. И только когда стало ясно, что я — невидимка, мне удалось обзавестись бесплатным жильем, да еще в доме, где живут только белые; я поселился в подвале, который давным-давно, еще в девятнадцатом веке, был закрыт и заброшен. Я обнаружил всеми позабытый лаз в этот подвал той жуткой ночью, когда бежал по городу, спасаясь от Раса Разрушителя... Но, однако же, не буду забегать вперед. Не стоит в самом начале рассказывать о том, что было в конце, хотя конец моей истории лежит в ее начале.

Итак, я обрел дом — точнее, яму в подполье. Вы, должно быть, сразу решили, что мой дом, раз я называю его "ямой", темный и холодный, как склеп. Не торопитесь с выводами. Ямы бывают холодные, а бывают и теплые. Моя, например, очень теплая. Вот медведь, к примеру, забирается на зиму в берлогу и коротает там время до весны, а потом выбирается наружу, точь-в-точь как пасхальный желтенький цыпленок, проклюнувшийся сквозь скорлупу. К чему я это говорю? А к тому, что, если я невидимка и обитаю в яме, это еще не значит, что я уже умер. Я не умер, потому мне и не надо ждать воскресения. Я просто-напросто впал в анабиоз, в зимнюю спячку. Если хотите, можете звать меня Братец Медведь.

Моя яма теплая и вся залита светом. Да-да, вот именно: *залита* светом. Сомневаюсь, отыщется ли во всем Нью-Йорке такое же яркое освещение — ну, разумеется, не считая Брод-

вея. Да еще, разве что, Эмпайр-стейт-билдинга, который так волшебно смотрится на фотографиях ночного города. Кстати, эти две точки — самые темные места нашей цивилизации, ох, простите, нашей *культуры* (слышал, знаю, конечно же, что это не одно и то же); да-да, я не шучу, звучит парадоксально, однако именно по закону парадокса и движется наш мир: не как стрела, а как бумеранг. (Если услышите речи о *спирали* истории, будьте бдительны: скоро полетит бумеранг! Советую заранее запастись железной каской.) Уж я-то знаю; по моей башке этот бумеранг лупил столько раз, что я волей-неволей научился отличать свет от тени. Я люблю свет. Кто бы мог подумать: невидимка, которому нужен свет, который обожает свет, стремится к свету. Может, это именно потому, что я *невидим*. Свет подтверждает мою реальность, придает мне форму. Одна красивая девушка как-то рассказала мне о кошмаре, который преследовал ее по ночам: ей чудилось, что она лежит посреди просторной темной комнаты, и вдруг ее лицо начинает расползаться, становится бесформенной массой, которая заполняет собой все помещение, а глаза, как два шарика, вращаются в отвратительном желе и норовят вылететь в трубу... Вот и со мной творится похожее. Без света я не просто невидим, но и не имею формы, а стать бесформенным месивом — это и значит заживо умереть. Я же, просуществовав на этом свете около двадцати лет, начал по-настоящему жить, только когда открыл, что я — невидимка.

Вот вам и подоплека моей войны с "Монополейтид Лайт энд Пауэр". Эта война позволяет мне почувствовать, что я жив и живу полной жизнью. А еще я хочу вернуть деньги, которые они выманили у меня, когда я еще не мог за себя постоять. В моей яме горит ровно 1369 лампочек. Весь потолок, каждый дюйм, опутан проводами. И никаких люминесцентных ламп, только добрые старые и очень энергоемкие лампочки накаливания. Настоящий саботаж, как вы понимаете. Я уже начал тянуть провода по стене. Один старьевщик, настоящий прозорливец, снабдил меня проводами и розетками. Ни буря, ни наводнение, ни другая какая напасть не отобьет у нас любви к свету; чем больше света, чем он ярче — тем лучше. Истина — это свет, а свет — это истина. Когда я покончу со стенами, то перейду к полу. Пока еще не знаю, как мне это удастся. Но посиди вы в шкуре невидимки, тоже проявили бы смекалку. Эту проблему я как-нибудь решу. А еще я собираюсь изобрести какое-нибудь приспособление, чтобы кипятить чайник, не вставая с кровати, и еще — чтобы греть себе постель. Однажды в иллюстрированном журнале я видел парня, который придумал нагреватель для обуви! Хоть я и невидимка, но при-

надлежу к славной когорте американских изобретателей. Я в одной компании с Фордом, Франклином и Эдисоном. Умею мыслить концептуально и обобщенно — голь на выдумки хитра. Обязательно научусь сушить ботинки: без этого никак, обувка у меня скверная — дыра на дыре. Зато идей хоть отбавляй.

Пока у меня только один проигрыватель, но я собираюсь завести их пять. В моей яме неважная акустика, а мне хочется слушать музыку всем существом: не только ушами, всем телом *ловить* ее вибрации. Хочу одновременно включить целых пять пластинок Луи Армстронга, где он играет и поет "Что же точит меня эта черная грусть?" Я иногда слушаю Армстронга, когда ем свой любимый десерт — ванильное мороженое с терновым джином. Лью красную жидкость на белые шарики мороженого, смотрю, как она поблескивает, как тает мороженое, а труба Луи вдруг переходит от медно-боевого марша к пронзительно-лирической мелодии. Наверно, я люблю Луи Армстронга за то, что жизнь невидимки он превратил в настоящую поэму. Должно быть, у него это получилось, потому что он и не подозревал, что невидим. А мне моя невидимость помогает понимать его музыку. Однажды я стрельнул у каких-то шутников сигаретку, а они для смеха подсунули мне косячок. Я его закурил, когда пришел домой и уселся послушать проигрыватель. Странный был вечер! Понимаете ли, невидимость дарит немного другое ощущение времени, и ты никак не можешь попасть в такт. То забегаешь вперед, то плетешься сзади. Вместо ровного незаметного бега времени начинаешь чувствовать узелки, точки, где время то замирает, то вдруг совершает скачок. А ты будто проваливаешься в образовавшуюся дыру и глядишь, что там делается. Такие, примерно, ощущения и навевает музыка Армстронга.

Однажды я видел, как профессионал бился на ринге с каким-то чайником. Боксер атаковал стремительно, показывал настоящий класс. Его тело было сплошным сгустком ритмически пульсирующей энергии. Он осыпал несчастного градом ударов, а тот только закрывался беспомощно поднятыми руками. На чайника сыпался град ударов, но вдруг этот мальчик для битья нанес один-единственный удар, и на этом все закончилось. Одним махом семерых побивахом. А все дело в том, что чайник ухватил ритм противника, включился в его время. Так вот и я под действием травки открыл новый аналитический способ восприятия музыки. На поверхность всплыли звуки, не слышные ранее, и каждая мелодическая линия обрела самостоятельность, отчетливо выделяясь на фоне других; она пропевала свою партию, а потом терпеливо дожидалась, пока вы-

скажутся в свой черед прочие голоса. Той ночью я вдруг обнаружил, что музыку можно слушать не только во времени, но и в пространстве. И не просто входил в пространство музыки, но, подобно Данте, спускался в ее глубины. И вот *я различил под быстрым темпом хот-джаза более медленный и там была пещера и я вошел в нее и огляделся и там старая женщина пела спиричуэлс полные такой же Weltschmerz*[1] *как музыка фламенко и спустившись ниже я увидел прекрасную девушку ее кожа была цвета слоновой кости и она о чем-то умоляла жалобно точь-в-точь как моя мать когда стояла перед хозяевами и они стегали ее прямо по голому телу я спустился еще ниже и темп там был еще быстрее и я услышал громкий голос:*

Братья и сестры, тема сегодняшней проповеди — "Черней черного".

И хор голосов – невидимая паства – ответствовал:
Нет ничего чернее черного, брат, нет ничего чернее...
В начале...
В начале всех начал, – откликнулась паства.
...была черная тьма...
Воистину...
...и солнце...
...солнце, о Господи...
...было кроваво-красным...
...красным...
А черная тьма... – выкрикнул проповедник.
...кровавой...
Я сказал, черная тьма – это...
Воистину, брат...
...черная, черная тьма – это не...
...красное, о Господи, красное; он сказал, красное!
Аминь, брат...
Черная, она накроет тебя...
...о, да, да!
...и черная, она не будет...
Нет, не будет!
Это так...
...это так, о Господи...
...и не так.
Аллилуйя!
...слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! О Господи, и во чреве кита...
Воистину, брат наш возлюбленный...
...и введет во искуш..
Боже Отче Всемогущий!
Бедная тетушка Нелли!

1. Мировая скорбь (*нем.*).

Черная тьма – начало бытия...

Черная...

...или начало небытия.

И в этот момент тромбон взвизгнул, обращаясь ко мне: "Беги скорей отсюда, дурень! А не то станешь предателем!"

И я побрел от них прочь, и услышал стон: "Иди, прокляни своего Бога и умри". Это стонала старая женщина, та что пела спиричуэлс.

Я остановился и спросил ее, стал допытываться, что за беда с ней приключилась.

Я любила своего хозяина, сынок, – сказала она.

Ты должна была его ненавидеть, – сказал я.

Он подарил мне сыновей, – сказала она. – И я любила моих мальчиков, и так выучилась любить их отца. И любила, и ненавидела.

Я понимаю. Эта раздвоенность... она мне знакома. Потому-то я и здесь.

Как это?

В двух словах не объяснишь. Почему же ты стенаешь?

Потому что нет его больше на свете, – сказала она.

Скажи, что за смех слышится там, наверху?

Это мои сыновья. Они радуются.

Да-да, понимаю, – сказал я.

Я и смеюсь, и плачу! Сколько раз он обещал, что освободит нас, да так и не собрался... И все-таки я любила его...

Любила?.. Значит...

Да, любила! Но кое-что было мне еще дороже...

Что?

Свобода.

Свобода, – сказал я. – Должно быть, свобода – это ненависть.

Нет, сынок, свобода – это любовь. Я любила его, и я подсыпала ему яду, и он скукожился, как прихваченное заморозками яблоко. А иначе мальчики изрубили бы его кухонными ножами.

Что-то не то. Где ошибка? Не понимаю...

Я хотел еще что-то сказать но смех наверху стал невыносимо громким и больше смахивал на плач и мне захотелось вырваться и я пошел было прочь но мне непременно нужно было расспросить ее о свободе и я повернул обратно. Она сидела обхватив голову руками и тихо стонала, ее лицо похожее на кусок коричневой кожи было исполнено печали.

Скажи мне, старая женщина, что такое эта свобода, которую ты любишь больше всего на свете? – задал я заветный вопрос.

Она удивилась потом задумалась потом смутилась.

Я все позабыла, сынок. Все у меня в голове перепуталось. Сначала думаю так, потом эдак. Теперь думаю, нужно так: что на уме, то и на языке. Но не больно это легко, сынок. Слишком уж много всего разом на

меня навалилось. В голове так и стучит, так и печет огнем, видать, лихоманка мучает. Мне бы встать да пойти, только все кружится перед глазами, ступлю шаг – ноги подкашиваются. А может, и не хворь это, может, это все мои мальчики. Неладно с ними, смеются и смеются, белых задумали перебить, страх-то какой! Озлобились...

Так что насчет свободы?

Оставь меня в покое, сынок. У меня голова болит.

И я пошел чувствуя что и у меня кружится голова. Далеко, правда, уйти не удалось.

Вдруг откуда ни возьмись появился один из сыновей здоровый малый шести футов росту и саданул меня кулаком.

В чем дело, эй?! – крикнул я.

Мать плачет! Из-за тебя!

Почему из-за меня? – спросил я, уклоняясь от следующего удара.

Все твои дурацкие расспросы. Убирайся, чтобы духу твоего здесь не было! В следующий раз, как одолеет любопытство, поговори сам с собой!

Он вцепился мне в горло пальцы у него были холодные и твердые как лед я наверное задохнулся бы не отпусти он меня. Пошатываясь я пошел дальше музыка истерически билась в ушах. Вокруг темнота. Постепенно в голове у меня прояснилось и почудились за спиной быстрые шаги. Я протрезвел и почувствовал неодолимую жажду покоя и тишины но понимал что они недостижимы. Откуда-то слышались нервные вскрики трубы. Раздавался глухой бит ударных похожий на стук сердца. Мне ужасно хотелось пить и я слышал шум воды в холодных трубах и пальцами касался этих труб когда ощупью искал путь в темноте но я не мог остановиться из-за шагов у меня за спиной..

Эй, Рас, – крикнул я. – Это ты, Разрушитель? Ты, Райнхарт?

В ответ – ни звука только ритмичный топот. Когда я попытался перейти улицу меня задел бешено мчавшийся автомобиль. Он ободрал мне колено и с ревом понесся дальше.

И вдруг все это закончилось, и из подземного мира звуков я поднялся на поверхность и услышал, как поет Луи Армстронг:

> Что же точит меня
> Эта черная грусть?

Вначале я испугался: знакомая музыка призывала действовать, а я сейчас был на это неспособен; вот если б еще немного побыл там, внизу, тогда, быть может, и рискнул... Зато теперь я понимал, что мало кто умеет слушать такую музыку. Я сидел на краешке стула и обливался потом, как будто все мои 1369 лампочек стали софитами и шпарят по сцене школьного театрика,

а режиссеры — Рас и Райнхарт. Жутко тяжело было. Казалось, я задержал дыхание и вот уже битый час не могу выдохнуть, а мозг при этом работает с удивительной ясностью, как бывает после нескольких дней жестокой голодовки. И тем не менее, было в этом что-то невыразимо приятное: невидимка слышит звучащую тишину. Мне стали вдруг внятны все мои тайные влечения — и не решался сказать "да" в ответ на их соблазнительный шепот. С тех пор я больше никогда не курил траву; и вовсе не потому, что это запрещено. Достаточно, что я *вижу* все, что прячется по углам (обычное дело: тебя-то не видят); не хватало еще и слышать, что там творится. Это уж было бы чересчур. В конце концов так можно и вовсе утратить волю к действию. Есть у меня на этот счет горький опыт, ведь я когда-то состоял в Братстве и имел дело с Братом Джеком, — и все же, единственное, во что продолжаю верить — это действие.

Вот вам и определение: спячка — это скрытая подготовка к открытому действию.

Кроме того, наркотики совершенно уничтожают чувство времени. Поэтому легко потерять осторожность и можно в один прекрасный день запросто попасть под ярко-желтый трамвай или под какой-нибудь гнусный автобус. Или упустить момент, когда настанет пора действовать и надо будет вылезать из ямы.

А пока благодаря щедротам "Монополейтид Лайт энд Пауэр" я живу-поживаю себе потихоньку. Вы ни за что не узнаете меня, даже если мы столкнемся нос к носу, да, скорее всего, вообще не верите, что я существую. Поэтому я ничем не рискую, признаваясь, что сделал отвод от основной линии электропередачи и протянул его к себе в подполье. Раньше я жил в кромешной тьме, куда меня загнали, но теперь могу видеть. Я осветил черноту невидимости — и vice versa. А еще я играю невидимую музыку своего одиночества. Выражение это вы, наверно, сочтете нелепым, но это правда: все, кроме музыкантов, умеют только слышать музыку, но не видят ее. Возможно, моя навязчивая идея описать невидимость черным по белому родилась из желания сочинить музыку невидимости. Но я оратор, я поднимаю людей... Во всяком случае, *был* оратором и, возможно, когда-нибудь стану им снова, как знать? Не всякая болезнь смертельна, и невидимость — еще не приговор.

Должно быть, читая это, вы возмущаетесь: "Что за ужасный, безответственный тип!" Конечно, вы правы. Я первый спешу с вами согласиться. Я — самый безответственный человек на свете. Моя безответственность — часть моей невидимости. В конце концов, перед кем я должен чувствовать ответственность, да и с какой стати, если все вы отказываетесь меня

видеть? Погодите, вы еще почувствуете на собственной шкуре, как далеко я зашел в своей безответственности. Ответственность появляется, если тебя признают, а признание — это форма договоренности. Но как договариваться, когда сталкиваешься только с отрицанием? Взять хотя бы того парня, которого я чуть не забил до смерти: кто должен нести за это ответственность? Я, что ли? Ну уж, дудки. Это *он* налетел на *меня*, *он* оскорбил *меня*. Кроме того, он должен был заметить, что я разъярен, что я вне себя. Где был его инстинкт самосохранения? Этот лунатик спал и грезил на ходу. Но разве не *он* — полновластный хозяин в своем воображаемом мире, который, увы, единственно реален? И разве не *он сам* пожелал исключить меня из своего мира? Между прочим, если бы он позвал полицейского, не его, а *меня* забрали бы в участок за злостное хулиганство. Да, да, да! В тот раз я опять проявил ужасную безответственность: надо было, коли уж я вытащил нож, до конца отстаивать кровные интересы общества. Когда-нибудь такая вот глупость приведет к трагической развязке. Лунатикам в конце концов придется платить по счетам, причем виноватым и тут окажется невидимка — всегдашний козел отпущения. Но я ушел от ответственности; слишком уж мучительны были клокочущие у меня в голове противоречивые мысли. Я струсил...

И все-таки, что же точит меня эта черная грусть? Наберитесь терпения...

<...>

Заседание Комитета проходило в зале с высокими готическими потолками. Когда я пришел, все уже были в сборе и сидели на раскладных стульях вокруг двух небольших сдвинутых вместе столиков.

— Ну что ж, — произнес брат Джек, — ты как раз вовремя. Это хорошо. Мы поощряем в наших лидерах точность и аккуратность.

— Я постараюсь всегда приходить вовремя, брат, — ответил я.

— Итак, братья и сестры, вот наш главный оратор, — представил меня брат Джек. — Можем начинать? Все в сборе?

— Все, кроме брата Тода Клифтона, — раздался чей-то голос.

Брат Джек удивленно покачал рыжей головой.

— Неужели?

— Он сейчас придет, — поспешил объяснить один из младших членов Братства. — Мы сегодня работали до трех ночи.

— Ну и что? Все равно он обязан являться вовремя, — брат Джек достал из кармана часы. — Начнем. У меня мало време-

ни, но много нам и не потребуется. Все вы знаете о последних событиях и о том, какую роль сыграл в них наш новый брат. Коротко говоря, наша цель — постараться, чтобы сделанное не пропало втуне. У нас две задачи: во-первых, повысить эффективность агитации; во-вторых, направить энергию масс в нужное русло. Для этого необходимо резко увеличить численность нашей организации. Народ полностью готов к действию, и, если нам сейчас не удастся повести людей за собой, они вернутся к привычной пассивности или того хуже — впадут в цинизм. Мы должны немедленно нанести удар! Мощный удар! И вот для этого, — он повернулся ко мне, — наш брат назначен оратором в Гарлеме. Ему нужно оказать всемерную поддержку. Он будет нашим новым орудием, способным усилить влияние Комитета...

Тут раздались отдельные хлопки, и следом — звук открывающейся двери. Я взглянул в другой конец зала, туда, где заканчивались ряды стульев, и увидел вошедшего молодого человека. Он был примерно моего возраста, высокий, без головного убора, в плотном свитере и узких брюках. Все обернулись; я услышал восхищенный вздох какой-то женщины. Вновь прибывший шел по проходу легкой, танцующей негритянской походкой, а когда, дойдя до середины зала, вышел из тени на свет, я заметил, что он очень красив и очень черен. У него были четкие правильные черты лица, словно выгравированные на черном мраморе — как у некоторых статуй в музеях Новой Англии. Такие лица можно порой увидеть и в южных городках, где до сих пор белые потомки богатых семей и черные отпрыски их негритянской прислуги носят одни и те же имена и похожи и обликом, и характером, словно две пули, вылетевшие из одного ствола. Вошедший пересек зал и непринужденно сел, положив на стол сильные мускулистые руки. Я видел крепкие костяшки его пальцев, выпуклую грудь под свитером, легонько пульсирующую жилку на шее, гладкий квадратный подбородок и белый, наклеенный крест-накрест, пластырь на бархатно-черной коже, нежно обтягивающей гранитно-твердые афроанглосаксонские скулы.

Он откинулся на спинку стула и обвел нас дружелюбным, но слегка отрешенным взглядом, в котором ощущался какой-то невысказанный вопрос. Я сразу почувствовал в нем потенциального соперника и исподволь на него поглядывал, гадая, что он из себя представляет.

— Итак, брат Тод Клифтон опоздал, — произнес брат Джек. — Наш молодежный лидер опоздал. Интересно узнать почему?

Молодой человек улыбнулся и показал на щеку:

— Пришлось пойти к врачу.

— Что это? — спросил брат Джек, уставившись на пластырь, прилепленный крест-накрест к черной коже.

— У нас вышла небольшая стычка с националистами. С ребятами Раса Речистого, — ответил брат Клифтон, и я снова услышал восхищенный вздох женщины, смотревшей на него сияющими, полными сострадания глазами.

Брат Джек искоса взглянул на меня.

— А тебе, брат, доводилось слышать о Расе Речистом? Опасный человек. Называет себя черным националистом.

— Нет, я ничего о нем не слышал, — ответил я.

— Скоро услышишь. Хорошо, брат Клифтон, садись. И впредь будь поосмотрительней. Ты один из самых ценных членов нашей организации, тебе не стоит рисковать.

— Но стычки нельзя было избежать, — отозвался молодой человек.

— И тем не менее, — заключил брат Джек и вернулся к повестке дня, предложив всем поделиться своими соображениями.

— Брат, мы будет по-прежнему протестовать против выселений из домов? — спросил я.

— Благодаря твоему выступлению, это стало одним из главных пунктов.

— Тогда почему бы нам не начать борьбу с этого пункта?

Он внимательно меня разглядывал.

— Что ты предлагаешь?

— Раз это привлекло такое внимание, почему бы нам не попытаться объединить вокруг этой цели весь район?

— И как же ты предлагаешь это сделать?

— Я думаю, мы должны обеспечить себе поддержку гарлемских лидеров.

— Это не так-то просто, — сказал брат Джек. — Большинство лидеров настроено против нас.

— А я считаю, в этой идее что-то есть, — вмешался в разговор Тод Клифтон. — Давайте-ка убедим их поддержать этот пункт программы, вне зависимости от того, как они относятся к нашей организации. Ведь вопрос касается *всего* района.

— Вот именно, — подхватил я. — По-моему, выселение подняло такую волну возмущения, что они просто не посмеют выступить против нас — если не захотят стать предателями общего дела...

— И таким образом они будут у нас в кармане! — закончил Клифтон.

— Звучит убедительно, — сказал брат Джек. Остальные с ним согласились. — Мы всегда избегали контактов с этими ли-

дерами, — усмехнувшись, продолжил брат Джек. — Но сейчас, когда нам предстоит начать широкомасштабное наступление, нужно искоренить сектантство — оно становится просто обузой. Есть ли другие предложения? — он обвел взглядом собравшихся.

— Брат, — внезапно вспомнив нечто важное, начал я, — когда я впервые пришел в Гарлем, меня поразил один человек... Он произносил речь, стоя на лестнице какого-то дома. Говорил яростно и очень убедительно, хотя и с сильным акцентом, и вокруг него собралось много слушателей. Почему бы и нам точно так же не выйти со своей программой на улицы?

— Значит, ты все же видел его, — осклабился брат Джек. — Рас Речистый считает, что Гарлем — его территория, и у него там нет соперников. Но теперь, когда мы стали сильнее, можно попробовать составить ему конкуренцию. Главное — результат! Этого ждет Комитет.

Значит, это и был Рас Речистый, подумал я.

— У нас обязательно будут стычки с Нечистым... то есть, Речистым, — сказала какая-то большая женщина. — Его молодчики готовы порубать даже куриные грудки в ресторанах, потому что они, видите ли, белые...

Мы дружно рассмеялись.

— Он звереет, даже когда видит белого и черного вместе, — добавила она, обращаясь ко мне.

— Это мы берем на себя, — произнес брат Клифтон, потрогав щеку.

— Отлично, только не прибегать к насилию! — потребовал брат Джек. — Братство категорически против насилия, террора и провокаций любого рода, словом, против агрессии. Это понятно, брат Клифтон?

— Понятно, — ответил тот.

— Мы запрещаем насильственные акции. Ясно? Никаких нападений на представителей власти, да и вообще ни на кого — по крайней мере, пока не нападают на нас. Мы против любых форм насилия, понятно?

— Понятно, брат, — кивнул я.

— Итак, я вам все объяснил. Теперь я могу идти. Посмотрим, чего вам удастся добиться. Вам будет обеспечена помощь руководства и наших ячеек в соседних районах. Только не забывайте, что мы все подчиняемся партийной дисциплине.

Он ушел, а мы стали распределять обязанности. Я предложил, чтобы каждый взял на себя ту часть района, которую он лучше знает. Поскольку у Братства не было контактов с местными лидерами, сказал, что сам попробую установить с ними связь. Было решено начинать уличные митинги, не отклады-

вая, и брат Тод Клифтон пообещал зайти ко мне и обсудить все детали.

Пока шло обсуждение, я изучал их лица. Казалось, все они, и белые, и черные, в равной степени поглощены общим делом и между ними царит согласие. Но когда я попытался угадать, кто чем занимается, у меня ничего не получилось. Взять хоть эту большую женщину: она смахивала на шумную разбитную южную "мамашу", а между тем отвечала за работу с женщинами и в разговоре так и сыпала идеологическими терминами. Застенчивый на вид мужчина с коричневыми пятнами на шее высказывался прямо и даже грубовато, чувствовалось, что он так и рвется в бой. А этот самый брат Тод Клифтон, молодежный лидер, выглядел как настоящий хипстер, пижон, стиляга, вот разве что волосы явно никогда не пытался распрямлять, и они походили на руно персидского ягненка. Эти люди не поддавались классификации. В них было что-то знакомое, и все же они отличались от привычных типажей так же, как брат Джек и остальные белые братья отличались от всех белых, которых я знал прежде. С ними будто произошла какая-то перемена — так во сне иногда видишь своих знакомцев преобразившимися. Ну что ж, подумал я, ведь я тоже стал другим, и они увидят это, когда мы от слов перейдем к делу. Главное не настроить никого против себя. Мало ли, вдруг кому-то станет обидно, что меня назначили ответственным.

Однако, когда брат Тод Клифтон зашел ко мне в кабинет, чтобы обсудить уличный митинг, я не заметил в нем никаких признаков обиды или ревности. Он был полностью поглощен разработкой стратегии нашей акции и принялся тщательно и подробно инструктировать меня, как себя вести, если кто-нибудь попытается сорвать митинг, что делать, если на нас нападут, и как отличить в толпе членов нашей организации. Несмотря на свой пижонский вид, выражался он кратко и точно, и у меня не было ни малейших сомнений, что он свое дело знает.

— Как думаешь, у нас получится? — спросил я, когда он закончил инструктаж.

— Будет круто, приятель, — сказал он. — Очень круто. Гарлем не видел ничего подобного со времен Гарви[1].

— Хорошо б, если так, — вздохнул я. — А вот самого Гарви я никогда не видел.

1. Маркус Гарви (1887–1940) — известный деятель негритянского движения 1910–1920-х гг., создатель Всемирной ассоциации по улучшению положения негров и основатель движения за репатриацию негров "Назад, в Африку".

— Я тоже не видел, но знаю, что в Гарлеме он был гораздо круче всех остальных.

— Мы-то не Гарви, да и он долго не продержался.

— И все-таки что-то в нем было, — вдруг сказал Клифтон с внезапной страстью. — Что-то в нем было, иначе ему не удалось бы расшевелить всю эту массу людей! Наших людей попробуй расшевели, черт бы их взял! Верно, он многое мог...

Я взглянул на него. Взгляд у него был отсутствующий; потом он вдруг улыбнулся и сказал:

— Не беспокойся. У нас есть научно обоснованный план, да и ты хорошенько их заведешь. Дела так плохи, что они будут тебя слушать, а раз будут *слушать*, значит, пойдут за тобой.

— Надеюсь, — вздохнул я.

— Пойдут. Ты ведь недавно к нам присоединился, а я здесь уже три года, и мне есть с чем сравнивать. Все изменилось. Они готовы действовать.

— Надеюсь, ты не ошибаешься.

— Готовы, и все идет, как надо, — сказал он. — Нужно только объединить их.

<...>

В комнате стояла жуткая духота. Три крошечных вентилятора из последних сил молотили тяжелый воздух, братья, без пиджаков, сидели вокруг исцарапанного стола, на котором возвышался графин с ледяной водой. Графин запотел, и по нему стекали прозрачные круглые капли.

— Братья, простите за опоздание, — извинился я. — В последнюю минуту пришлось кое-что срочно добавить в текст завтрашнего выступления.

— И напрасно: мог бы сэкономить свое время и время членов Комитета, — отчеканил брат Джек.

— Не понимаю, что ты хочешь сказать... — начал я, внезапно почувствовав сильный озноб.

— Он хочет сказать, что ты больше не будешь заниматься женским вопросом, — сказал брат Тоббит.

Я напрягся, приготовившись ответить ударом на удар, но прежде чем успел раскрыть рот, брат Джек произнес:

— Что случилось с братом Тодом Клифтоном?

Вопрос прозвучал, как выстрел. Я растерялся.

— Брат Клифтон... Не знаю, я не видел его уже несколько недель. Я был очень занят работой на новом участке... А что произошло?

— Он исчез, — сказал брат Джек. — Да-да, исчез! И не надо пустых вопросов. Мы не для того тебя вызвали.

— Но... когда это выяснилось?

Брат Джек ударил по столу своим судейским молоточком.

— Он ушел от нас. Это все, что нам известно. А теперь к делу, брат. Тебе надлежит немедленно вернуться в Гарлем. Там наметился серьезный кризис — с тех пор, как брат Тод Клифтон исчез и перестал выполнять свои обязанности. Рас Речистый и его расистская банда воспользовались этим, и их агитация набирает обороты. Ты должен вернуться в Гарлем и принять надлежащие меры, чтобы снова укрепить там наше влияние. Необходимую поддержку получишь; твой отчет будет заслушан на специальном заседании Комитета по вопросам стратегии. Точное время и место тебе сообщат завтра. И пожалуйста, — он подчеркнул свои слова ударом молоточка, — пожалуйста, приходи вовремя. Никаких опозданий!

<...>

Моим ногам было легко в новых летних туфлях, и, шагая по раскаленной улице, я припомнил, как в детстве с наступлением лета радостно засовывал подальше тяжелые зимние ботинки, доставал сандалии и отправлялся бегать наперегонки с соседскими мальчишками. Какое это было радостное, легкое, парящее чувство! Ладно, подумал я, ты уже набегался, пора в Гарлем — ведь в любой момент Комитет может тебя вызвать. Я ускорил шаг, ноги сами летели вперед, почти не касаясь асфальта, а навстречу двигался поток распаренных от солнца лиц. Чтобы не застрять в толкучке на Сорок второй улице, я свернул на Сорок третью, и вот тут началось!

У края тротуара стоял небольшой фруктовый фургончик, нагруженный яркими персиками и грушами. Продавец — крепкий цветущий итальянец с носом картошкой и блестящими черными глазами — многозначительно поглядел на меня из-под своего огромного оранжево-белого зонтика и уставился на толпу, что собралась возле дома напротив. "Что это с ним?" — удивился я и перешел улицу. Поравнявшись с группкой стоящих ко мне спиной зевак, я услышал вкрадчивый, с хрипотцой голос, что-то напевавший; слов было не разобрать, и я пошел было дальше, как вдруг заметил в толпе знакомое лицо. Это был близкий друг Клифтона, стройный, шоколадного цвета паренек. Возможно, он что-нибудь знает про Тода, подумал я. Парень настороженно смотрел поверх машин в конец улицы — по другой ее стороне от здания почты к нам приближался полицейский. Потом обернулся, увидел меня и явно смутился.

— Привет... — начал я, но он уже повернулся ко мне спиной и пронзительно свистнул. Я не понял, предназначен ли этот сигнал мне или кому-то другому. Между тем он подошел к

большой картонной коробке с веревочными лямками, что стояла возле стены дома, поднял ее, накинул лямку на плечо и снова посмотрел на полицейского. На меня он больше не взглянул. Сильно озадаченный, я стал пробираться сквозь толпу, пока не очутился у бровки тротуара. И тут остановился, как вкопанный: на асфальте прямо возле моих ног лежал квадратный лист картона, а на нем судорожно дергалось что-то непонятное. Обведя взглядом столпившихся вокруг людей, которые как зачарованные наблюдали за странной пляской, я снова посмотрел вниз и понял, что это игрушка. Ничего подобного я в жизни не видел. Передо мной плясала, скалясь, бумажная оранжево-черная кукла. Плоские картонные голову и ноги приводил в движение какой-то загадочный механизм, заставляя ее приседать, подпрыгивать, извиваться; этот непристойный, яростно-похотливый танец резко контрастировал с неподвижным, застывшим, словно черная маска, лицом. "Это не обычная марионетка! Что же это, черт возьми, такое?" — думал я, уставившись на диковинную куклу. Она вихлялась с бесстыдством извращенца, которому доставляет наслаждение вытворять разные мерзости на глазах честного народа. Вокруг раздавались смешки, заглушавшие шуршание гофрированной оберточной бумаги, из которой кукла была сделана, и тот же вкрадчивый голос продолжал напевать:

Прыг-скок, прыг-скок!
Вот настал потехи час,
Кукла Самбо пляшет и поет для вас,
Уважаемая публика, господа и дамы,
Бабушки и дедушки, детишки и мамы.
Ай-да кукла Самбо,
Чудо-кукла Самбо,
Исполняет буги-вуги, шейк, фокстрот, тустеп и мамбо!
Просто прелесть, просто красота,
Тра-та-та!
Ноги сами так и рвутся в пляс,
Кукла Самбо пляшет и поет для вас!
Купите куклу Самбо,
Хали-гали-шуба-дуба-буги-вуги!
Самбо!
Лучший подарок для детишек
Вместо скучных куколок и книжек!
Не дарите девушкам ни жемчуг, ни брильянты,
Подарите эту куклу, чудо-куклу Самбо!
Поглядите на ее потешные ужимки!
Надо только завести пружинку.

То-то будет радости, смеху до упаду,
Всего-то четверть доллара, больше нам не надо
За эту чудо-куклу, Самбо-танцора!
Если кто попросит больше, бей его, как вора!
Знакомьтесь, леди и джентльмены, это кукла Самбо...

Я знал, что мне нужно спешить, но не мог оторвать глаз от гибкой вертлявой фигурки. Меня то разбирал смех, то одолевало желание изо всех сил наступить на эту скалящуюся уродину, впечатать ее в асфальт. Внезапно танец прекратился: кукла, замерев, бессильно рухнула на картонку. Я увидел, как кончик ботинка наступил ей на ноги, а чья-то широкая черная рука ухватила голову и рванула ее вверх, так что шея вытянулась в два раза. Затем пальцы разжались, и кукла снова пустилась в пляс. Но вдруг голос, исполнявший песенку, перестал попадать в такт. Мне почудилось, будто я со всего размаху угодил в мелкий пруд и уткнулся лицом в дно, а воды едва хватило, чтобы покрыть мне затылок. Я поднял глаза.

— Нет... как ты мог... — начал было я и осекся. Он демонстративно уставился куда-то мимо меня. Меня как парализовало: я стоял, не в силах отвести от него глаз, мечтая, чтобы это был всего лишь сон. Но это был не сон — я по-прежнему слышал:

Кукла Самбо — чудо света, пляшет и смеется,
Она разгонит грусть-тоску, печаль к вам не вернется,
Она не просит есть и пить, ей ничего не надо,
Коль хозяин улыбнется — вот ей и награда.
Мумбо-юмбо, самба-мамба, чаттануга-чучу!
Никогда ее ужимки людям не наскучат.
Покупайте куклу Самбо, господа и дамы,
Всего за четверть доллара купите куклу Самбо,
Это же недорого, это просто даром!

Леди и джентльмены, покорнейше прошу, подходите, смотрите, берите моих куколок на радость себе и вашим деткам, и для меня доброе дело сделаете, будет мне на что хлебушка купить, позавтракать да пообедать... Спасибо, леди...

Да, это был он. Клифтон. Он раскачивался взад-вперед, то слегка приседал, то выпрямлялся, нелепо дергал плечами, тыкал пальцем в прыгающую куклу и пел свою песенку, почти не раскрывая рта.

Снова послышался свист. Клифтон бросил быстрый взгляд на своего часового — паренька с картонной коробкой.

— Кто купит куклу Самбо? Подходите, не стесняйтесь, дамы и господа, кому...

Свист повторился.

— А вот Самбо, весельчак, плясун, он танцует мамбу! Карамба! Торопитесь, дамы и господа! У нас нет лицензии на торговлю Самбо, который дарит всем и каждому радость! Радость не облагается налогом! Торопитесь, дамы и господа...

На мгновение наши глаза встретились. На его губах мелькнула презрительная улыбка, и он снова затянул свою песенку. Предатель. Я взглянул на куклу, и горло у меня судорожно сжалось, рот наполнился слюной. Волна ярости вырвала меня из оцепенения: я резко повернулся на каблуках и шагнул вперед. Раздался странный звук — словно тяжелые капли дождя забарабанили по газетному листу, — и я увидел, как кукла, перекувырнувшись, опрокинулась на спину, превратившись в ком влажной бумаги, уронив набок мерзкую головенку на вытянутой шее и продолжая бессмысленно скалить зубы. Толпа негодующе надвинулась на меня. Тут снова послышался свист. Какой-то пузатый коротышка удивленно посмотрел на изувеченную куклу, потом на меня и залился смехом. Толпа качнулась обратно. Я увидел Клифтона — уже рядом со своим напарником с картонной коробкой, возле которого, растянувшись вдоль стены дома, неистово подпрыгивала и вихлялась целая шеренга кукол — отвратительный кордебалет, плясавший под аккомпанемент истерического хохота зевак.

— Ты, ты... — задыхаясь, начал я, но Клифтон, не глядя на меня, подхватил двух кукол и спустился на мостовую. Его дозорный шагнул за ним и сказал, кивнув на полицейского: "Осторожнее! Он уже близко".

— Прошу всех за нами! Продолжение следует, дамы и господа! Наше шоу продолжится за ближайшим углом! — провозгласил Клифтон, а его помощник поспешно собрал кукол в картонную коробку и исчез.

Все произошло стремительно. Не прошло и пяти секунд, как на опустевшей улице остались только я и какая-то пожилая дама в синем платье в горошек. Она с улыбкой взглянула сначала на меня, а потом на тротуар, где валялась одна из кукол. Я занес ногу, чтобы растоптать эту мерзость, но дама вскрикнула: "Нет! Не надо!" Полицейский уже был напротив нас. Я нагнулся и поднял куклу. Мне почему-то чудилось, что я почувствую биение ее пульса, но она лежала недвижно, легкая, почти невесомая — комок гофрированной бумаги. Я сунул ее в карман и поспешил следом за быстро расходящейся толпой. Мне ни за что не хотелось снова очутиться лицом к лицу с Клифтоном — я боялся, что не сдержусь и наброшусь на

него, и поэтому, миновав полицейского, пошел в другую сторону, к Шестой авеню. Кто бы мог подумать, что у нас выйдет такая встреча, думал я. Что произошло с Клифтоном? Как получилось, что он внезапно покинул Братство? И почему, черт побери, пытался увести с собой всю свою ячейку? Что теперь подумают сочувствующие? А наши враги? Похоже, он решил — как сказал сам той ночью, когда схватился с Расом, — выпасть из хода *истории*. Да, кажется, так... Я замер на ходу, пытаясь припомнить его точное выражение. "Выскочить", — вот как он сказал. Но ведь он знал: только в Братстве мы можем заявить о себе, только в Братстве мы перестаем быть жалкими марионетками, куклами Самбо. Самбо... Жуткая, непристойная пародия на человека! Господи! А я еще огорчался, что меня, видите ли, не позвали на собрание. Да не все ли равно! Позвали, не позвали — какая разница? Я больше и не вспомню про это, я буду изо всех сил держаться за Братство, и другого пути у меня нет. Потому что лишиться Братства — это значит выпасть... выскочить... А эти куклы... откуда только они их взяли? Если он захотел заработать четверть доллара, почему таким способом? Почему бы не продавать фрукты, ноты или, на худой конец, чистить ботинки?!

Пытаясь докопаться до смысла произошедшего, я завернул за угол, вышел на людную, залитую солнцем Сорок вторую и увидел, что у бордюра толпятся люди, прикрывая глаза сложенными козырьком ладонями. Мимо ехали машины с зажженными фарами, а на противоположном тротуаре пешеходы оглядывались, стараясь рассмотреть, что происходит в середине улицы — там, где под деревьями Брайант-парка виднелись силуэты двух мужчин. С деревьев вспорхнула стайка голубей; дальнейшее произошло мгновенно — птицы еще не успели описать в воздухе круг, — под уличный шум и гудки автомобилей. Но мне это мгновение показалось вечностью — я видел все, словно при замедленной съемке, и без единого звука, как в немом кино.

Вначале я решил, что эти двое — коп и чистильщик обуви; когда же поток машин на секунду иссяк и только трамвайные рельсы ярко блестели на солнце, я узнал Клифтона. Его напарник куда-то исчез, и Клифтон сам нес на плече картонный ящик, а сзади, прямо за ним, неторопливо шагал полицейский. Они двигались в мою сторону. Вот они уже миновали газетный киоск, у меня перед глазами снова мелькнули рельсы на асфальте, пожарный кран у кромки тротуара, стайка голубей, и в голове пронеслось: "Попался, голубчик. Как бы не пришлось за тебя штраф платить..." — и в этот момент коп толкнул Клифтона в спину, подгоняя его. Клифтон придер-

жал коробку за лямки, чтобы не ударила по ногам, не оборачиваясь, что-то сказал копу через плечо и пошел дальше. Один из голубей спланировал вниз, на улицу, и снова взмыл вверх; в воздухе, поблескивая в солнечных лучах, закружилось белоснежное перышко. Коп, важный и солидный в своей черной форменной рубашке, рукой, прямой, как винтовочный ствол, опять толкнул Клифтона — тот споткнулся и с трудом устоял на ногах, опять отрывисто бросил что-то через плечо, и оба продолжали маршировать по улице — такие сцены мне доводилось видеть много раз, и их участником мог оказаться кто угодно, но только не Клифтон. Я увидел, как коп, выкрикнув какую-то команду, сделал резкий выпад и выбросил вперед руку, но промахнулся и потерял равновесие, а Клифтон, словно танцор, выполняющий пируэт, повернулся к копу и занес над головой согнутую правую руку; корпус его слегка качнулся вперед и влево, так что коробка соскочила с плеча и шлепнулась на землю, а он, выдвинув вперед правую ногу, слева нанес копу мощный апперкот, так что у того слетела фуражка и подкосились ноги, он рухнул на землю и покатился кубарем, а Клифтон пнул коробку, которая, хлюпнув, отлетела в сторону, и застыл выжидающе, левая нога чуть впереди, руки высоко подняты. В промежутках между мелькающими машинами мне был виден коп, который полз по тротуару, опираясь на локти и мотая головой, словно пьяный. Я стоял, ощущая, как вибрирует под ногами асфальт от проносящихся под землей вагонов метро, и вдруг унылый ровный гул автомобильных моторов прорезали торопливые выстрелы, а испуганные голуби бешено взметнулись вверх. В следующее мгновение коп, уже распрямившийся, сидел на асфальте, потом попытался встать, неотрывно глядя на Клифтона, голуби, успокоившись, расселись по деревьям, а Клифтон, все еще стоя лицом к полицейскому, вдруг как-то разом обмяк.

Он упал на колени, словно собираясь помолиться, и тут из-за газетного киоска вышел крепко сбитый человек в шляпе с опущенными полями и что-то негодующе прокричал. Я стоял, не в силах пошевелиться. Солнце будто взорвалось у меня над головой. Кто-то закричал. Рядом появились какие-то люди. Коп уже поднялся на ноги. Словно бы недоумевая, он смотрел сверху вниз на Клифтона; в руке у него был пистолет. Я машинально сделал шаг вперед, потом еще один, еще, и еще. Я шел, как незрячий, без единой мысли в голове, но мой мозг продолжал аккуратно все регистрировать. Вот я перехожу улицу, вот подхожу к тротуару и вижу Клифтона совсем близко — он лежит все в той же позе, на боку, и на рубахе у него быстро расползается мокрое пятно, я приподнимаю ногу, чтобы сделать сле-

дующий шаг, но почему-то не могу ее опустить. За моей спиной проносятся машины, а я все никак не могу ступить на тротуар. Так я и стоял там, одна нога на мостовой, другая занесена над бровкой, а вокруг раздавались пронзительные полицейские свистки и со стороны библиотеки бежали, переваливаясь, два пузатых полицейских. Я снова взглянул на Клифтона, а коп, махнув пистолетом, отогнал меня, проговорив каким-то мальчишеским, ломающимся голосом: "Назад! Марш обратно! На ту сторону!" Это был тот самый коп, мимо которого я прошел по Сорок третьей улице несколько минут назад.

Я с трудом пробормотал пересохшими губами: "Он мой друг... Я хочу помочь..." — и наконец-то ступил на бровку тротуара.

— Ему уже ничем не поможешь, приятель. Давай отсюда. Иди на ту сторону!

Растрепанные волосы полицейского облепили потное лицо, форма была вся в грязи. Я тупо смотрел на него, не зная, что делать, прислушиваясь к чьим-то приближающимся шагом. По тротуару медленно растекалась красная лужица. Перед глазами у меня все поплыло. Я поднял голову. Коп с любопытством на меня смотрел. Я слышал, как в парке неистово хлопают крылья. Почувствовал, что затылок мне буравит пристальный взгляд. Обернулся и увидел краснощекого веснущатого мальчишку со славянскими глазами. Он сидел верхом на ограде парка; поймав мой взгляд, пронзительно крикнул что-то кому-то позади, его круглая физиономия пылала от возбуждения. "Что все это значит?" — тупо удивился я и снова повернулся туда, куда мне меньше всего хотелось поворачиваться.

На тротуаре теперь стояли целых три копа: один наблюдал за собравшейся толпой, двое других разглядывали Клифтона. Тот, что стрелял, уже успел надеть фуражку.

— Слушай, приятель, — отчеканил он, обращаясь ко мне. — С меня на сегодня уже хватит. Пошел на ту сторону, понял?

Я открыл рот, но не смог издать ни звука. Один из полицейских, стоя на коленях, осматривал Клифтона и что-то помечал в своем блокноте.

— Я его друг, — наконец произнес я. Тот, что писал в блокноте, поднял голову.

— Все, спекся твой дружок, парень, — сказал он. — Его песенка спета.

Я посмотрел на него.

— Слышь, Микки! — крикнул мальчик с ограды. — Он уже откинулся!

Я перевел взгляд на Клифтона.

— Это точно, — подтвердил тот коп, что стоял на коленях, а потом повернулся ко мне: — Фамилия, имя?

Я назвал. Подробно ответил на все вопросы о Клифтоне. Потом приехал полицейский фургон — надо сказать, очень быстро. Я молча смотрел, как они положили его внутрь вместе с коробкой кукол. Толпа на противоположной стороне все не расходилась. Фургон уехал, а я пошел к метро.

— Эй, мистер! — раздался мне вслед пронзительный крик мальчишки. — У вашего друга были крепкие кулаки! Бац! Бац! И коп полетел вверх тормашками!

Под эти прощальные слова я, склонив голову, побрел прочь по залитой солнцем улице, стараясь стереть из памяти то, что видел.

<...>

Похороны были организованы так, чтобы привлечь как можно больше внимания. Мы устроили их не в церкви и не в часовне, а в Маунт-Моррис-парке и призвали всех бывших членов Братства присоединиться к траурной процессии.

Церемония была назначена на субботу на середину дня. Стояла жара, небо было подернуто облачной дымкой. В парке собрались сотни людей. Я в лихорадочном возбуждении бегал взад-вперед, давал указания, суетился, кого-то подбадривал, но в то же время мне казалось, что все это происходит не со мной. Здесь были братья и сестры, которых я не видел с тех пор, как вернулся работать в Гарлем. Были люди из центра города и соседних районов. Меня удивляло не только то, что все они пришли, но и то, как глубоко они переживают эту смерть.

Люди строились в колонны. Над колоннами покачивались приспущенные флаги и транспаранты, на которых было написано:

БРАТ ТОД КЛИФТОН
ЕЩЕ ОДНУ НАДЕЖДУ СРАЗИЛА ПУЛЯ

Были и барабанщики с барабанами, обтянутыми черным крепом, и оркестр из тридцати человек. Машин не было и почти не было цветов.

Процессия медленно двинулась вперед под скорбные романтические мелодии маршей. Когда оркестр стихал, по своим траурным барабанам начинали бить барабанщики. Было жарко, воздух был наэлектризован до предела. Разносчики и уличные торговцы попрятались, повсюду виднелись усиленные наряды полиции. Люди высовывались из окон, а на кры-

шах домов под затянутым легкой дымкой солнцем стояли и смотрели на нас мужчины и мальчишки. Я шел в голове процессии вместе со старейшими лидерами района. Мы шли очень медленно; иногда оборачиваясь, я видел, что к нам присоединяются юные стиляги и местная шпана, рабочие в комбинезонах и игроки. Из парикмахерских выскакивали мужчины с намыленными щеками и развязанными галстуками: они глазели на нас и вполголоса что-то обсуждали. А я думал: неужели все они знали и любили Клифтона? Или их просто-напросто привлек бесплатный спектакль — музыка, медленно идущая толпа? Сзади налетел горячий ветер, и повеяло чем-то тошнотворно-сладким, словно запах суки в течке.

Я оглянулся. Солнце нещадно палило непокрытые головы — целое море голов. Над флагами, транспарантами и сверкающими медными трубами парил простой серый гроб, который несли на плечах рослые, крепкие ребята — товарищи Клифтона. Время от времени они менялись, и гроб, плавно покачиваясь, переходил из одних рук в другие. Они несли его высоко и гордо, и в глазах у них застыли гнев и печаль. Гроб плыл, словно тяжело груженный корабль, прокладывающий путь в море скорбно склоненных голов. В воздухе висела напряженная тишина, которую нарушали только глухой рокот барабанов и тяжелый топот сотен ног. На тротуарах толпились люди; всюду были слезы, покрасневшие суровые глаза, приглушенные вздохи.

Процессия продвигалась вперед. Мы миновали самые бедные кварталы, этот край черной тоски и печали, свернули на Седьмую авеню и направились к Ленокс-авеню. Тут я и несколько братьев — организаторов похорон — сели в такси и первыми добрались до Маунт-Моррис-парка. Брат, работавший в управлении парка, открыл нам вход на пожарную каланчу. Там под черным железным колоколом был сооружен на скорую руку помост — доски на сдвинутых козлах. Когда процессия вошла в парк, мы уже ждали наверху. По нашему сигналу брат ударил в колокол, и мои барабанные перепонки сотряс древний глухой пробирающий до нутра звук — ДУУММММ-ДОННН-ДОННН...

Гроб с телом Клифтона по винтовой лестнице внесли на каланчу и установили на помосте. Я глядел на этот дешевый серый гроб, и в голове была пустота — только звучало его имя.
<...>

Кто-то толкнул меня в бок, и я понял, что пора начинать. Настало время произнести прощальные слова. Но у меня не было слов. Я ни разу не был на похоронах товарищей из Братства и представления не имел, как должна проходить траур-

ная церемония. Однако люди ждали. Я стоял наверху, совсем один, даже без микрофона. Передо мной был только гроб на грубо сколоченных деревянных козлах.

Я смотрел вниз, на залитые слепящим солнцем лица и пытался отыскать какие-нибудь слова. Меня охватили гнев и чувство полной бессмысленности происходящего. Сколько их здесь? Сколько тысяч? Что они рассчитывают услышать? Зачем вообще пришли сюда? Чем они отличаются от того краснощекого мальчишки, который, сгорая от любопытства, наблюдал, как Клифтон падает на землю? Что им надо? Разве они могут что-либо изменить? И где все они были, когда он еще был жив, когда еще можно было помешать?..

— Что вы хотите от меня услышать? — вдруг выкрикнул я, и голос мой как-то странно хрустнул, вонзившись в тяжелый, неподвижный воздух. — И зачем? Что толку говорить теперь? Давайте представим, что это не похороны, а праздник! Народные гулянья! И в конце, когда мы будем расходиться, оркестр заиграет "Веселья кончилась пора, прощай, мой милый, до утра". А может, вы рассчитываете на чудо? Может, надеетесь, что он восстанет из мертвых? Идите домой! Он умер, он мертв, мертв окончательно и бесповоротно. Его жизнь оборвалась в самом начале, и ее уже не вернуть. Чудес не будет, не будет и проповедей. Идите домой и постарайтесь его забыть. Он здесь, в этом ящике, новопреставившийся. Идите домой и не думайте о нем. Он умер, и ему ничем не помочь. Думайте лучше о себе. — Я помолчал. Они стояли внизу и перешептывались, глядя наверх.

— Ладно, раз вам так хочется, стойте и слушайте на этой жаре. А я буду говорить на этой жаре. А потом вы пойдете домой и постараетесь все это забыть. Забыть! Его звали Клифтон, и его застрелили. Его звали Клифтон, он был высокий, и некоторые считали его красивым. И хотя сам он в это не верил, я думаю, так оно и было. Его звали Клифтон, и лицо у него было черное, а волосы жесткие и вились тугими кольцами — хотите, называйте это овечьим руном. Он мертв, и это мало кого волнует, разве что нескольких девушек. Вы поняли? Представили его себе? Припомните, например, своего брата или племянника. Губы у него были толстые, уголки слегка приподняты. Он часто улыбался. У него были зоркие глаза, сильные, ловкие руки. И у него было сердце. Он умел думать и умел глубоко чувствовать. Его звали Клифтон, Тод Клифтон, и он, как любой из нас, был рожден женщиной, чтобы прожить сколько-то, упасть и умереть. Его звали Клифтон, он жил среди нас и сумел вселить кое-какую надежду в молодых людей, и все мы, все, кто его знал, любили его. Но он мертв.

Так чего же вы ждете? Вы всё слышали, больше мне нечего сказать, разве только повторить еще раз.

Они стояли молча. Они слушали.

— Ну хорошо, я скажу. Его звали Клифтон, он был черный, и его застрелили, я был рядом и видел, как он упал. Вот как это было. Он стоял, а потом упал. Упал на колени. Он стоял на коленях, и из него текла кровь. Кровь текла, и он умер. Он упал как подкошенный, как упал бы любой, и его кровь потекла, как потекла бы любая кровь, и она была красной, как любая кровь, и мокрой, как любая кровь, и в ней отражались небо, и дома, и птицы, и деревья, и твое лицо, если бы ты наклонился над этим тусклым зеркалом; и она высохла на солнце, как высыхает любая кровь. Вот и все. Они пролили его кровь, и она потекла на асфальт. Они убили его, и он умер, и кровь его вытекла блестящей лужицей на тротуар, а потом потускнела и высохла. Вот и все. Вот и вся история. Старая история. Кровавая история. Неизменно волнует публику. Вы еще не устали от таких историй? Вам не тошно от крови? Зачем вы стоите и слушаете? Почему не идете домой? Сегодня жарко. Пахнет формальдегидом. А в барах холодное пиво, в парикмахерских и салонах красоты смеются, и шутят, и сплетничают, а вечером наступит прохлада, в "Савое" будут хрипло-сладко стонать саксофоны, в церквях зазвучат проповеди, в кинотеатрах будут крутить комедии. Идите, послушайте "Амоса и Энди"[1] и забудьте об этой истории. Слишком короткой и слишком простой. Эта история стара как мир. Его звали Клифтон, Тод Клифтон, он был безоружен, гибель его была бессмысленной, а жизнь — напрасной. Он был членом Братства, он боролся за наше дело, он хотел быть настоящим человеком, а умер, как собака.

Меня охватило отчаяние. Все шло не так, как надо, все было неправильно, политически неграмотно, и брат Джек наверняка это бы не одобрил. Но я уже не мог ничего поделать. Пусть все идет, как идет.

— Слушайте, эй, вы все там, внимающие горé! — снова закричал я. — Я расскажу вам, как все было на самом деле! Его звали Тод Клифтон, и он жил во власти иллюзий. Думал, что он — человек, а он был всего лишь Тод Клифтон. Его убили случайно, и он истек кровью, а потом кровь высохла, и следы ее стерли с асфальта тысячи ног тысяч прохожих. Он допустил ошибку, свойственную многим: он думал, что, раз он человек, никто не имеет права толкать его и пинать. Но дело было

1. Популярный комедийный радиосериал, действие которого происходит в негритянском районе; в 1920–1950-е гг. транслировался ежевечерне.

в раскаленном от жары Гарлеме, а он забыл свое место, забыл, где он и кто он такой, утратил чувство реальности. Он был всего лишь Тод Клифтон, а вокруг него собрались зеваки, а рядом был коп. Копы — они всегда где-то рядом. А тот коп... Что сказать о нем? Коп, как коп. Лояльный гражданин. Руки у него так и чесались нажать на курок, который у настоящих профи зовется "триггер" — и отлично рифмуется с хорошо известным словечком. Клифтон упал, был убит ниггер — вот вам и рифма, вот и стишок! В полицейском управлении сидят настоящие поэты.

Тод Клифтон ушел в вечность. Через несколько часов Тод Клифтон будет только мертвым телом в холодной могиле. Не будьте глупцами, эти кости не восстанут, воскресения не ждите. А потом придет наш черед, и вы, и я — все мы будем лежать в деревянном ящике. Не знаю, была ли душа у Тода Клифтона. Я знаю одно: мое сердце рвется от боли. Это мое горе. Моя потеря. Не знаю, есть ли у вас душа. Но знаю, что вы люди из плоти и крови, и эту кровь можно пролить, и эта плоть может сгнить в земле. Я не знаю, все ли копы — поэты, но знаю, что у них есть оружие. Пистолеты с триггерами. И знаю, что они называют нас ниггерами. Заклинаю вас памятью брата Клифтона: ниггеры, опасайтесь триггеров! Идите домой, не стойте на солнце, берегите себя. Забудьте о нем. Когда он был жив, он был нашей надеждой. Теперь надежда умерла — к чему о ней вспоминать? Что еще сказать напоследок? Только одно. Его звали Тод Клифтон, он верил в Братство, он дал нам надежду, а теперь он мертв. Мертв...

Я больше не мог продолжать. Там, внизу, были люди. Они ждали, приложив козырьком ладони ко лбу, прикрывая головы носовыми платками. Потом вперед вышел священник и что-то прочел из Библии, а я стоял и смотрел на толпу, и чувствовал, что это провал. У меня ничего не получилось, мне не удалось придать всему этому политическое звучание. А люди стояли, стояли под палящими лучами солнца, обливаясь потом, и слушали, как я повторял то, что и так было всем известно. Священник закончил, кто-то подал знак дирижеру, оркестр заиграл, торжественно и скорбно, гроб подняли и понесли вниз по винтовой лестнице. Мы медленно шли через огромную неподвижную толпу, загадочную, непостижимую, и я чувствовал в ней какое-то напряжение, то ли скорбь, то ли гнев. Я отчетливо ощущал это, пока мы шли по парку и спускались вниз, туда, где ждал катафалк. Толпа обливалась потом, пульсировала, тысячеглазо глядя на меня. Она безмолвствовала, но я знал, что эти люди многое хотели бы мне сказать. Через несколько минут мы погрузили гроб на ката-

фалк, а сами сели в машины, ждавшие у тротуара. Толпа все стояла и смотрела, как мы уносим Тода Клифтона. И когда я в последний раз обернулся, то увидел перед собой не толпу, а множество отдельных лиц, мужских и женских.

<...>

Когда я увидел, что они там сидят, без пиджаков, слегка подавшись вперед и обхватив колени руками, я ничуть не удивился. Ну и хорошо, подумал я, меньше слез — больше дела. Словно бы ожидал, что они будут здесь — как в тех снах, когда я оказывался в бескрайнем пространстве и видел там своего покойного деда. Я не выказал ни малейшего удивления, вообще никаких эмоций, хотя и знал, что даже во сне удивление — нормальная реакция, и, когда она отсутствует, это серьезный повод для тревоги.

Я стоял посреди зала, не спеша стягивая с себя пиджак, и смотрел на них. Они сидели за маленьким столиком, на котором стояли графин с водой, стакан и пара пепельниц. Горела только одна лампочка, прямо над столом, остальная часть помещения была погружена в полумрак. Они молча смотрели на меня, брат Джек слегка склонив набок голову, на губах у него змеилась улыбка, взгляд пронизывал насквозь. Над их сигаретами спиралью вился дымок, они сидели и ждали, бесстрастно, невозмутимо. "Что ж, все-таки вы пришли", — подумал я, подходя к ним и усаживаясь на свободный стул.

— Ну, как все прошло? — осведомился брат Джек. Он положил сжатые в кулаки руки на стол и искоса на меня поглядывал.

— Вы видели. Собралась огромная толпа. Нам все-таки удалось вывести народ на улицы.

— Нет, мы ничего не видели. Разве была толпа? И как все прошло?

— Нам удалось их раскачать, — ответил я. — Их было много. Больше пока ничего не могу сказать. Они пошли за нами, но насколько осознанно, не знаю... — я вдруг словно со стороны услышал свой одинокий голос, отдающийся гулким эхом в большом помещении с высоким потолком.

— Та-а-а-ак! И это все, что имеет нам сказать наш великий тактик? — протянул брат Тоббит. — А в каком же направлении их удалось раскачать?

Я взглянул на него, удивляясь собственному равнодушию. Казалось, у меня вовсе не осталось никаких чувств: они ушли куда-то, очень далеко и очень глубоко.

— Направление определит Комитет. Нам удалось поднять их — вот все, что мы смогли сделать. Мы много раз пытались

связаться с Комитетом для получения директив, но безуспешно...

— И?..

— И тогда решили проводить акцию — под мою личную ответственность.

Брат Джек прищурился. Зрачки его сузились.

— Как? Как ты сказал?

— Под мою личную ответственность.

— Под его личную ответственность, — произнес брат Джек. — Я не ослышался? Что скажете, братья? Потрясающе. От кого ты этому научился, а, брат?

"Пошел ты..." — чуть было не ляпнул я, но вовремя спохватился и сказал:

— От Комитета...

Воцарилось молчание. Я смотрел на брата Джека, лицо которого наливалось краской, и старался взять себя в руки. Под ложечкой у меня посасывало.

— Под твою личную от-вет-ствен-ность, — отчеканил брат Джек, качая головой в такт словам.

Я посмотрел на него в упор.

— Мне поручили вернуть утраченные позиции в Гарлеме, и я старался как мог. Других вариантов у меня не было. Чем же вы недовольны? Что-то не так?

Брат Джек потер глаз кулаком.

— Интересно: теперь наш великий тактик интересуется, что́ было не так. Да разве могло у него быть что-то не так? Не правда ли, братья?

Я встал.

— Я не понимаю, о чем речь, брат. Что ты имеешь в виду?

— Хороший вопрос, братья. Садись, будь любезен, здесь жарко. Он желает знать, что мы имеем в виду. Перед нами не только великий тактик, но еще и психолог, способный улавливать тончайшие оттенки выражения мыслей.

— Да, и сарказм тоже, особенно когда он уместен, — сказал я.

— А как насчет партийной дисциплины? Садись, здесь жарко...

— С дисциплиной тоже все в порядке. И с советами, и с директивами, когда их можно получить, — кивнул я.

Брат Джек ухмыльнулся.

— Садись, садись... Ну а терпение, выдержка?

— Конечно... если только не засыпаешь на ходу и не валишься с ног от усталости, — произнес я. — И не в такую жару.

— Значит, придется научиться, — заявил брат Джек. — Научиться правильно себя вести — даже в таких условиях. Более

того, *особенно* в таких условиях. В том-то и заключается выдержка. И ценность дисциплины.

— По-моему, вы меня уже научили, — откликнулся я. — Вот прямо сейчас.

— Брат, — сухо произнес он, — ты даже не представляешь себе, сколь многому тебе еще предстоит учиться. Сядь, пожалуйста.

— Хорошо, — я сел. — И все же, отвлекшись на минуту от проблем моего персонального обучения, позволю себе напомнить, что времена изменились, и мы не можем больше испытывать терпение людей. Если мы хотим использовать свой шанс, это надо делать немедленно...

— Итак, наш великий тактик продолжает давать указания. Он сегодня трудится, не щадя живота своего. Утром — речь над телом Брута, а теперь — лекция о границах терпения негритянского населения...

<...>

Пора это прекратить, подумал я. Голова у меня вдруг стала легкой, зато грудь так сильно сдавило, что сделалось трудно дышать.

— Слушайте, — сказал я. — Был убит безоружный человек. Наш брат, один из наших лидеров. Его застрелили. Застрелил полицейский. Наше влияние в этом районе уже и так ослабло. Я счел, что у нас появился шанс объединить людей, повести их за собой. И стал действовать. Если я допустил ошибку, скажите прямо, без обиняков.

<...>

Брат Тобитт оттолкнул от себя стол:

— Ты превратил похороны в шоу!

У меня непроизвольно дернулся нос. Выдавив из себя улыбку, я медленно повернулся к брату Тоббиту:

— Какое уж это шоу без тебя в качестве главной звезды! А чем Комитету не понравились похороны?

— Ну, наконец-то! — Брат Джек широко расставил ноги и подался вперед. — Наш стратег задал очень интересный вопрос: чем нам не понравились похороны. С удовольствием отвечаю. Под твоим руководством предателя и провокатора, ставшего слепым орудием в руках оголтелых расистов, похоронили с почестями, как настоящего героя. И ты еще спрашиваешь, что нам не понравилось?

— Его же в предательстве никто не обвинял, — возразил я.

Он слегка привстал, уцепившись обеими руками за край стола.

— Это мы уже поняли. Ты его предателем не считаешь.

— Главным для нас было то, что застрелили безоружного человека. Безоружного черного.

Он всплеснул руками. Ну и черт с тобой, подумал я. Черт с тобой! Мы хоронили *человека*!

— Этот черный, как ты сейчас выразился, был предатель, — снова заговорил брат Джек. — Ренегат!

— А что это значит — "ренегат"? — спросил я, усмехнувшись про себя, и принялся перечислять, загибая пальцы: — Он был человек и был негр; он был человек и был брат; он был человек и был, как вы выражаетесь, ренегат; он был жив, а теперь мертв, но, живой или мертвый, он был весь соткан из противоречий. И такого вышел хоронить весь Гарлем, и все стояли под палящим солнцем, откликнувшись на наш зов. Вот вам и ренегат!

— Ага, глядите, сейчас он отступает на заготовленные позиции, — произнес брат Джек. — Сначала компрометирует наше движение, поддерживая ренегата, предающего собственный народ, а потом задает вопрос, что это, собственно, значит — "ренегат".

— Именно, — подтвердил я. — Именно так, и это законнейший вопрос, брат. Между прочим, некоторые и меня считают ренегатом, потому что меня из Гарлема перевели работать в центр. Кое-кто назовет меня ренегатом, если я пойду на государственную службу, а кое-кто — если буду тихонько отсиживаться в своем углу. Что же касается Клифтона... я много думал о том, что он сделал...

— Неужто? И после этого осмеливаешься его защищать?

— Нет. То, что он сделал, меня бесит не меньше вашего. Но, черт возьми, его гибель от полицейской пули действительно важное политическое событие, гораздо важнее того, что он, видите ли, продавал на улице каких-то неприличных кукол.

— И тогда в ход пошла личная ответственность, — сказал Джек.

— Мне больше ничего не оставалось и не от кого было ждать совета. Не забудьте: в свое время меня не сочли нужным позвать на совещание по разработке стратегии...

Брат Джек снова потер глаз:

— Ну и ну. Ты, кажется, стал настоящим теоретиком! Удивительное дело!

— Не знаю, может быть. Впрочем, что ж тут удивительного: ничто так не склоняет к размышлениям, как одиночество.

— Вот-вот! Лучшие идеи, питавшие наше движение, рождались в тюрьме. Однако ты, брат, в тюрьме не сидел, и наняли мы тебя не для того, чтобы думать. Похоже, ты это позабыл?

Если так, я тебе напомню. Заруби у себя на носу: тебя наняли не для того, чтобы думать.

Пока он говорил, нарочито медленно и веско, у меня в голове пронеслось: "вот оно... опять... так откровенно, неприкрыто и так знакомо... играют в открытую..." Вслух я сказал:

— Что ж, теперь наконец-то я все понял. Понял, где я и с кем...

Он прервал меня:

— Не выворачивай смысл наизнанку. За всех нас думает Комитет. *За всех нас.* И ты знаешь, что тебя наняли не думать, а говорить.

— Верно. Меня *наняли.* Просто у нас тут такие братские отношения, что я позабыл, где мое место. И что же делать, если вдруг мне в голову придет какая-нибудь идея?

— Мы приветствуем любые идеи. Порой случаются просто блестящие. Идеи — часть нашей работы. Но только нужные идеи в нужном месте и в нужное время.

— А если я вдруг замечу, что мы совершаем ошибку?

— Твое дело помалкивать.

— Даже если я прав?

— Ничего не говори, пока не получишь указаний от Комитета. Иначе твои слова могут оказаться последними.

— А если народ потребует от меня ответа?

— Отвечать будет Комитет!

Ну почему они не хотят понять меня, подумал я. Ведь я говорю о том, что есть на самом деле. Неужели работа в Братстве должна заслонить от меня реальность? Помешать видеть и чувствовать, что́ происходит в Гарлеме?

— Пусть так, — сказал я. — Стой на своем, брат; но я-то как раз представляю себе, что такое политическое самосознание жителей Гарлема. Они не позволяют мне закрывать глаза на реальность. Я исходил и буду исходить из того, что видел, слышал и знаю.

— Нет, — произнес Джек, поднявшись. — Ты будешь исходить только из решений Комитета. Хватит с нас этой самодеятельности. Комитет принимает решения за всех, и за тебя в том числе. Не в наших правилах прислушиваться к субъективному мнению отдельных личностей. Или ты против партийной дисциплины?

— Я не против дисциплины. Я просто стараюсь приносить пользу. Стараюсь вернуть всех к реальности, которую, похоже, не желает видеть Комитет. Нам сейчас было бы достаточно организовать одну демонстрацию...

— Комитет принял решение не проводить демонстраций, — отрезал брат Джек. — Эти методы уже неэффективны.

Мне показалось, что пол качнулся у меня под ногами. Внезапно я с поразительной отчетливостью стал различать боковым зрением предметы в неосвещенной части зала.

— Неужели вы не понимаете, что сегодня произошло? — спросил я. — Что́, мне все это приснилось? Почему вдруг акция с участием многотысячной толпы объявляется "неэффективной"?

— Толпа для нас — только сырье, которое нужно обработать и отлить в готовую форму. В какую форму — указывает программа. А теперь послушай, что я тебе скажу: наша политическая программа определяется не тем, что говорят невежественные, инфантильные люди на улице. Наша задача — не *спрашивать*, что они думают, а *диктовать*, что они должны думать!

— Здорово, — сказал я. — Давай, попробуй-ка, скажи им это. Да кто ты такой, в самом деле? Белый отец черного народа?

— Я им не отец. Я их лидер. И твой лидер. Запомни это.

— Мой лидер? Согласен. Но им-то ты кем приходишься? Может, все-таки большим белым папой? — не сдавался я, не сводя с него взгляда. Над столом повисло жаркое, напряженное молчание, и я вдруг почувствовал, как ноги у меня свело судорогой. — А может, им лучше звать тебя не брат Джек, а масса Джек?

— Вот что... — не договорив, он вскочил и попытался дотянуться до меня через разделявший нас стол, однако я успел вовремя откинуться назад. Стул подо мной качнулся и стал на задние ножки, а Джек, промахнувшись, ухватился за противоположный край стола, закрывая собой свет висевшей над нами лампочки. Он что-то неразборчиво бормотал, вставляя в свою бессвязную речь иностранные слова, давясь от кашля и яростно тряся головой. Я уже вернул стул в нормальное положение и сидел, подавшись вперед: Джек нависал надо мной, за ним смутно маячили силуэты остальных. И вдруг что-то, почудилось мне, сорвалось с его лица — ну вот, начинаются галлюцинации, промелькнуло у меня в голове, но это *что-то* со стуком ударилось об стол и покатилось прямо к краю, однако он резко выбросил вперед руку, подхватил этот странный предмет, похожий на мраморный шарик, и быстро опустил его — плюх! — в свой стакан с водой. Карусель в моей голове завертелась с бешеной скоростью, я слышал голос Джека, но больше не слушал его — я смотрел на стакан. Свет свободно проходил сквозь него, отбрасывая на темную поверхность стола прозрачную узкую тень, а внизу, на дне, лежал глаз. Стеклянный глаз молочно-белого цвета, будто искореженный преломляющимися в воде лучами света. Глаз пристально

смотрел на меня, словно из темных вод глубокого колодца. Я перевел взгляд на Джека: он возвышался надо мной, и его освещенная фигура четко выделялась на фоне темной стены.

— ...соблюдать дисциплину. Или ты подчиняешься решениям Комитета, или мы тебя исключаем...

На месте левого глаза у брата Джека, под незакрывающимся веком, было красное пятно; взгляд утратил всегдашнюю властность. Подавив отвращение, я опять посмотрел на стакан и подумал: это он нарочно, чтобы я растерялся, другие-то, конечно, знали... Они ведь даже не удивились. Так я и сидел, глядя то на глаз в стакане, то на Джека, который, расхаживая взад-вперед, продолжал что-то выкрикивать.

— Ты слышишь, что я говорю, брат? — он вдруг резко остановился, пронзив меня взглядом разгневанного циклопа. — Что с тобой?

Я молча смотрел на него, не в силах произнести ни слова. Тут он понял, в чем дело, и на губах у него заиграла зловещая улыбка.

— Ах, вот оно что. Тебя *это* смущает? Подумать только, какой чувствительный! — Он подошел к столу, взял стакан, взболтнул воду. Ухмыляясь, поднял стакан на уровень своей пустой глазницы: теперь казалось, что эта штука пялится на меня сквозь толстое стекло. — Так, значит, ты не знал?

— Не знал и знать не хочу.

Кто-то хихикнул.

— Теперь сам видишь, что среди нас ты еще новичок, — он опустил стакан. — Я потерял глаз, когда выполнял ответственное задание. И что ты теперь скажешь? — в его голосе прозвучала гордость, и это меня окончательно разозлило.

— Да плевать я хотел, где и как ты его потерял! Нашел, чем хвастаться!

— Ты так говоришь, потому что неспособен оценить жертву, принесенную во благо общего дела. Передо мной была поставлена задача, и я ее выполнил. Понятно? Выполнил, пускай ценой потери глаза — и он с торжествующим видом поднял стакан с глазом, как будто это был орден за заслуги.

Я смотрел на него, словно впервые увидел — низенький человечек... нет... бойцовый петух! Высокий крутой лоб, красная щель меж несмыкающихся век. Я напряженно, до боли, вглядывался в него, перед глазами даже замелькали красные точки. У меня было ощущение, будто я только что пробудился от долгого сна. Вот я и вернулся в исходную точку.

— Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь, — сказал он совсем другим тоном — словно актер, который, отыграв роль в спектакле, заговорил своим нормальным голосом. — Я пом-

ню, как впервые себя таким увидел, — это тоже было весьма неприятно. Не думай, что мне бы не хотелось, чтоб у меня был мой прежний глаз. — С этими словами он запустил пальцы в стакан. Я увидел, как гладкий кругляш выскользнул у него из пальцев и закружился в воде, будто пытаясь отыскать выход из стеклянной тюрьмы. После нескольких попыток Джек выудил глаз из стакана, стряхнул воду, пару раз на него подул и удалился в темную половину зала. — Кто знает, братья, — продолжил он, стоя к нам спиной, — быть может, если наш труд принесет плоды, построенное нами новое общество преподнесет мне настоящий живой глаз. Это не такое уж фантастическое предположение, хотя своего я лишился довольно давно... Кстати, который сейчас час?

Интересно, какое общество позволит ему наконец *увидеть* меня, подумал я, слыша, как Тоббит отвечает: "Шесть пятнадцать".

— Пора ехать, братья. Путь у нас неблизкий, — сказал Джек, подходя к столу. Глаз его уже был на месте. Улыбнувшись, он обратился ко мне: — Ну, как теперь?

Я кивнул. Я очень устал — и просто кивнул.

— Ну и хорошо, — сказал он. — От всей души надеюсь, что с тобой ничего подобного не случится.

— А если случится, я попрошу, чтобы ты отвел меня к своему окулисту, — сказал я. — Вот тут-то мы и поиграем с вами в жмурки.

Он как-то странно посмотрел на меня и вдруг рассмеялся.

— Ну вот, братья, к нему вернулось чувство юмора, и он снова преисполнен братских чувств. И все-таки желаю, чтобы тебе никогда не понадобилась помощь окулиста. А вот с нашим теоретиком, Гамбро, нужно будет повидаться. Он разработает план действий и даст тебе все инструкции. Подожди немного, и ты поймешь, что я прав. Братство — единый организм. Мы должны действовать сообща.

<...>

Они ушли. Я взял пиджак, пошел к себе и сел за письменный стол. Я слышал, как они спускались по лестнице, как внизу хлопнула дверь. Все произошедшее походило на низкопробную комедию. Но это была не комедия. Эта была реальная жизнь, и я жил этой жизнью, и, если я хочу внести свой вклад в историю, другой быть не может. Иначе я просто исчезну. Стану таким же бессмысленно мертвым, как Клифтон. Я достал из кармана куклу и положил ее на стол. Он умер, и его смерть никому не принесла пользы. Никакого толку не было даже от его похорон, на которые все слетелись, как стервятники. Хорошо еще помереть успел. И на том спасибо.

А я уже ничего не смог сделать. Но, по крайней мере, теперь он мертв, и все это его уже не касается.

Я еще немного посидел за столом. Во мне шла жестокая внутренняя борьба. Нет, я не могу уйти. Я должен остаться с ними и продолжать борьбу. Но я уже никогда не буду прежним. Никогда. После того что произошло сегодня, я ни выглядеть, как прежде, ни думать не смогу. Каким я буду — не знаю; вернуться назад, к тому, кем я был — пускай не так уже и много значил, — не могу: для этого я слишком много потерял. Что-то во мне умерло — и вместе с Тодом Клифтоном... Да, я пойду к Гамбро, чего бы мне это ни стоило. Я встал и вернулся в зал. Тот стакан все еще стоял на столе. Я схватил его и с размаху швырнул в дальний угол. Раздался громкий стук, и я услышал, как стакан покатился в темноту. Тогда я спустился вниз.

Искусство писателя

Интервью Ральфа Эллисона журналу "Пэрис ревью"

Перевод с английского Ольги Пановой

Ральф Эллисон. Хочу предупредить сразу: "Невидимка" — вещь не автобиографическая.

Корреспонденты (Альфред Честер и Вильма Говард). Значит, вас не исключали из колледжа, как это произошло с героем романа?

Р. Э. Нет. Хотя я тоже сменил множество занятий.

К. Почему вы бросили музыку и стали писателем?

Р. Э. Я вовсе не бросал музыку. А сочинительством увлекся благодаря ненасытной любви к чтению. В 1935 году я открыл для себя "Бесплодную землю" Т. С. Элиота, которая поразила и озадачила меня, так что пришлось мобилизовать все свои аналитические способности. И я задался вопросом, почему мне не попадалась ни одна книга американского автора-негра, которая могла бы сравниться с Элиотом по насыщенности, проникновенности и глубине. Позже, в Нью-Йорке, я прочел стихи Ричарда Райта, и по счастливому стечению обстоятельств он буквально через неделю после этого приехал в Нью-Йорк. Райт тогда издавал журнал "Нью челлендж" и попросил меня отрецензировать книгу Уотерса Терпина "Низина"[1]. Я справился, и Райт заказал мне рассказ. Я решил написать о чернокожем хобо — бродяге, колесящем по стране в товарных составах (у меня был опыт езды "зайцем" в студенческие годы). Рассказ приняли и даже сверстали, но в самый последний момент сняли: слишком много было материалов. А потом журнал закрылся...

К. Но вы продолжили писать...

Р. Э. В 1937-м это было нелегко. Сказывались последствия Великой депрессии. Я поехал к брату в Дейтон, штат Огайо. Там я ходил на охоту, подрабатывал крупье в клубе, чтобы прокормиться. По ночам пытался писать, читал Джойса, Достоевского, Гертруду Стайн, Хемингуэя. Особенно Хемингуэя: я учился у него композиции и построению фраз, как и многие

"Ralph Ellison, The Art of Fiction No. 8" by Ralph Ellison, interviewed by Alfred Chester & Vilma Howard. Copyright © 1955, The Paris Review, used by permission of The Wylie Agency (UK) Limited
© Ольга Панова. Перевод, 2013

1. Уотерс Эдвард Терпин (1910–1968) — американский негритянский писатель, драматург, публицист, театральный критик и телеведущий, автор трех романов: "Низина" (1937), "О, Ханаан!" (1939) и "Родства не помнящие" (1957). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

другие начинающие авторы. Начитавшись ночью его рассказов, я извлекал практическую пользу из описаний охоты, когда наутро шел с ружьем в поля. Я начал охотиться в одиннадцать лет, но у меня не было наставника, и только благодаря Хемингуэю я узнал, как выслеживать птицу и бить влет[1]. Когда Хемингуэй что-то описывает, на него можно положиться. Даже когда он сравнивает искусство с бейсболом или боксом, он точно знает, о чем пишет.

К. Как повлиял на вас в те годы социально-критический реализм?

Р. Э. Мне было интересно, поскольку за ним стояла общепринятая теория, хотя так называемая пролетарская литература не оказала на меня сколько-нибудь серьезного влияния даже в период моего увлечения марксизмом. Меня сильно увлек Андре Мальро, который тогда причислял себя к коммунистам. При этом я обратил внимание на то, что герои его романа "Удел человеческий" размышляли о своей судьбе не так, как марксисты. Бесспорно, Мальро был в гораздо большей степени гуманистом, чем многие марксистские авторы того периода – и, уж конечно, в гораздо большей степени художником. В момент создания "Удела человеческого" он был писателем-революционером, а не политиком, и книга его живет не потому, что в ней выражены сиюминутные политические установки, а потому что в ней звучит вечная тема трагического противостояния человека судьбе. Представителей социально-критического реализма в то время волновало несправедливое общественное устройство, а не трагическое содержание жизни. Для меня же искусство всегда было важнее, чем проблема социальной несправедливости.

К. Итак, ваш роман для вас в первую очередь произведение искусства, а не вклад в дело социального протеста?

Р. Э. Я не противопоставляю понятия "искусство" и "протест". "Записки из подполья" Достоевского, помимо всего прочего, представляют собой протест против ограниченности, свойственной рационализму XIX века. Да и все великие произведения – "Дон Кихот", "Удел человеческий", "Царь Эдип", "Процесс" – это протест против разных видов ограниченности, обедняющих человеческую жизнь. Если мы начнем противопоставлять искусство и социальный протест, то как нам быть с творчеством Гойи, Твена или Диккенса? Сейчас

1. Еще будучи студентом университета Таскиги Р. Эллисон прочитал очерк Хемингуэя "Стрельба влет" (1935).

принято критиковать "роман протеста"[1], особенно в его негритянском варианте, но тем, кто обвиняет авторов этого направления в беспомощности и провинциальности, не хватает аргументов.

К. Может ли негритянская литература избежать провинциальности, будучи литературой этнического меньшинства?

Р. Э. Вся литература так или иначе касается какого-либо меньшинства; личность, индивид — это тоже меньшинство. Универсальное содержание в литературе (а именно к этому все мы сейчас стремимся) возникает только через обращение к конкретному, частному, уникальному.

К. И все же каким образом негритянский автор, на которого направлены вполне определенные ожидания публики и критиков, может избежать частной темы социального протеста и наполнить свое творчество универсальным содержанием?

Р. Э. Когда негритянский или любой другой автор делает то, чего от него ожидают, это значит, что он проиграл сражение с самого начала. На мой взгляд, суть той борьбы, без которой не обходится писательский труд, сводится к желанию автора добиться признания у публики — но это должно быть признание на тех условиях, которые ставит сам писатель.

Слишком часто книги негритянских авторов адресованы белому читателю, и в этом случае писатель всегда рискует оказаться в плену предрассудков и стереотипов своей аудитории и следовать ее представлениям о том, какими должны быть негры. Между тем наша задача — отстаивать свои идеи, отстаивать подлинную человеческую сущность негра. Многие белые по-прежнему не склонны видеть в негре человека, и мы не должны поддерживать это опасное заблуждение. Для нас важнейший вопрос — в каких конкретных формах являет себя человеческая природа, когда речь идет о неграх, что из нашего наследия является безусловной ценностью, а от чего следует отказаться. Ключ к решению этого вопроса нужно искать в фольклоре. Именно в нем отражены основные этнические черты. Фольклорные образы могут быть грубыми, примитивными, но одновременно и удивительно глубокими, поскольку представляют собой первичную коллективную попытку гуманизировать окружающий мир. Вся великая литература, всякое индивидуальное творчество растет из этой примитивной первоосновы.

1. Крупнейшие представители "романа протеста" в афроамериканской литературе 1930–1940-х гг. — Ричард Райт, Энн Петри (автор романа "Улица", 1946).

Песни рабов, блюз, баллады — для писателя все это неисчерпаемый кладезь возможностей. В некоторых вещах так ярко показан удел человеческий, что целая армия литераторов не смогла бы осмыслить их до конца. Вот, к примеру, одна из старинных песен времен рабства:

Старуха Дина ну точь-в-точь как я,
Гнет спину от начала до заката дня.
Не радость — старость, до Канады путь далек,
Да и холодновато там, поди, сынок.

А старый дядя Джек, "примерный черномазый",
Чуть о свободе заикнись — тебя заложит сразу,
Чтоб, не дай Бог, покой хозяев не нарушить,
А уж они с тебя семь шкур сдерут, за милу душу.

А вот наш дядя Нед, тот спал и видел путь в Канаду.
Он на Полярную звезду смотрел, не отрывая взгляда.
Он реку переплыл — и был таков,
В обход собак, патрульных и постов.

С точки зрения формы, эта песенка и примитивна и груба, но в ней представлены три основных, три универсальных позиции, которые человек может занять по отношению к свободе.

К. Не могли бы вы привести пример того, как вы использовали фольклор в вашем романе?

Р. Э. Там очень много тем, символов и образов, заимствованных из фольклорного материала. Символика черного и белого, тьмы и света имеет долгую историю в западной культуре. Эта символика связана с понятиями добра и зла, знания и невежества и так далее. Рассказчик движется из темноты к свету, от незнания к пониманию — словом, к невидимости. Он покидает Юг и перебирается на Север; легко заметить, что в негритянском фольклоре такое движение всегда означает путь к свободе, путь наверх. Это справедливо и в отношении Невидимки, когда он решает остаться в своей "яме" — в состоянии, которое предшествует новому восхождению.

Прошло немало времени, прежде чем я научился приспосабливать подобные мифологемы для нужд своего творчества; то же самое можно сказать и о ритуалах. Обращение к ритуалу — жизненно важная составляющая творческого процесса. Кое-что я узнал благодаря Элиоту, Джойсу, Хемингуэю, но они не могли научить меня, как использовать ритуалы в моих целях. Когда я начал писать, я уже знал, что в "Бес-

плодной земле" и в "Улиссе" миф и ритуал нужны для того, чтобы придать форму и смысл тому материалу, из которого создавалось произведение, но лишь спустя годы я понял, что мифы и ритуалы нашей повседневной жизни также можно использовать для этой цели.

Люди подвергают рационализации те области бытия, которых опасаются, с которыми не могут справиться. Так рождаются суеверия и ритуалы, которые управляют нашим поведением. Ритуалы определяют формы общественной жизни, и задача автора в том и состоит, чтобы распознавать их и говорить о них на языке искусства.

Не знаю, хорошо ли я справляюсь с этой задачей. К примеру, в романе есть эпизод "Баталия"[1]: негритянских подростков заставляют вслепую биться друг с другом на боксерском ринге, чтобы потешить респектабельную белую публику. Здесь воплощена базовая поведенческая модель южного общества, которую, не рассуждая, принимают как белые, так и негры. Это ритуал, цель которого — соблюсти кастовые границы и табу, умилостивить богов и защититься от зла. Кроме того, по сути, это инициация, которую должен пройти каждый юноша, прежде чем стать взрослым мужчиной. Мне не пришлось придумывать этот эпизод. От меня потребовалось только придать ему более широкий смысл. В каждом обществе есть ритуалы или повторяющиеся ситуации, которые всеми воспринимаются как данность. Они могут быть простыми или тщательно разработанными, но в любом случае они выполняют роль связующей нити между публикой и произведением искусства.

К. Как вы думаете, может ли читатель, не знакомый с фольклором, правильно понять Ваш роман?

Р. Э. Думаю, что может. Здесь дело обстоит так же, как с джазом: в нем самом нет ничего такого, что затрудняло бы его восприятие. Трудности могут возникать, только если к нему подходить предвзято. Я обратил внимание на то, что немцы, которые не разделяли бытующего в Америке предубеждения против негров, воспринимали мое произведение просто как роман. Мне кажется, что и американцы придут к такому взгляду — но только лет через двадцать, не меньше.

К. Вы уверены в этом?

Р. Э. На самом деле нет. Этот роман получился не таким уж значительным. Мне часто не хватало красноречия, выра-

1. Опубликован на русском языке в переводе В. Голышева. Р. Эллисон. Король американского лото: Рассказы. — М.: Известия, Библиотека журнала "Иностранная литература", 1985.

зительности, кроме того, там затронуто много злободневных тем, которые сейчас теряют актуальность. Если какой-то интерес к моему роману все же сохранится (я очень на это надеюсь), то исключительно благодаря заложенному в нем глубинному смыслу, который не лежит на поверхности и дольше сохраняет свою значимость.

К. Бывало ли, что критики помогали вам писать или меняли ваши представления о целях творчества?

Р. Э. Нет, если не считать того, что порой мне было полезно заранее представить себе реакцию критиков, понять, что они замечают, а чего не замечают, ощутить, как их представления о жизни отличаются от моих. Иногда они хвалили меня по недоразумению. Например, авторы некоторых американских рецензий и обзоров вовсе не понимали, о чем идет речь в моем романе, — и все из-за шумихи вокруг темы протеста. Разумеется, я не собираюсь искать в этом оправдания собственным ошибкам и промахам.

К. Изменили ли критики ваше представление о себе как о писателе?

Р. Э. Думаю, нет. Я слишком долго был погружен в собственный мир. Однако они дали мне возможность острее ощутить контакт с широкой аудиторией; некоторые из них внушили мне уверенность в том, что оценивается в первую очередь мое мастерство, а не расовая принадлежность. В целом критики и читатели помогли мне ощутить себя настоящим писателем. Одно дело — сознавать это в глубине души, другое — когда окружающие подтверждают, что ты не ошибся в своем призвании. Ведь писательство — это в конце концов один из видов общения людей.

К. Когда и как вы приступили к созданию "Невидимки"?

Р. Э. Летом 1945 года. Я вернулся с моря, был болен, и мне рекомендовали покой. Отчасти заболел я потому, что никак не мог написать роман, для работы над которым получил стипендию Розенвальда[1]. Я сидел на ферме в Вермонте, читал "Героя..." лорда Реглана[2] и размышлял об американских негритянских лидерах. Тогда я набросал первый абзац будущего романа, а затем начались муки творчества.

1. Юлиус Розенвальд (1862–1932) — известный предприниматель и филантроп, совладелец и глава фирмы "Sears". В 1912 г. входил в попечительский совет негритянского университета Таскиги, в 1917 г. основал благотворительный фонд, которым выделялись стипендии в поддержку молодых талантов.

2. Речь идет о книге лорда Реглана "Герой: Исследование традиции, мифа и драмы" (Lord Raglan. The Hero: A Study in Tradition, Myth and Drama. — London: Methuen, 1936).

К. Сколько времени заняла работа?

Р. Э. Пять лет, считая и тот год, что я потратил на один короткий роман, который не получился.

К. Что-то уже было продумано заранее?

Р. Э. Я представлял себе основные символы и то, как они будут взаимосвязаны, наиболее важные идеи и общий ход сюжета. Я предполагал, что в романе будет три части, по три раздела в каждой. Они должны были представлять движение героя от переживания эмоции к пониманию, как это сформулировал Кеннет Берк[1]. Однако полное прозрение героя наступает только в последнем разделе. В конечном счете эта история о том, как герой постепенно утрачивает наивность, преодолевает свои заблуждения, избавляется от иллюзий и начинает видеть реальность. Таков был мой план, мой замысел; насколько мне удалось реализовать его — это другой вопрос.

К. Можно ли сказать, что тема поиска себя актуальна прежде всего для Америки?

Р. Э. Это действительно американская тема. Наше общество устроено так, что многое в нем препятствует нашему самопознанию. Это совершенно естественно, так как Америка — по-прежнему очень молодая страна, находящаяся в процессе развития.

К. Обычно, когда автор выпускает первый роман, его критикуют за то, что кульминационные эпизоды написаны слабо или вообще отсутствуют. Кажется, "Невидимка" не избежал этой участи. Почему вы не дали читателю возможности присутствовать при событиях, которые стали поворотными в сюжете — то есть когда "Братство" решает перебросить героя на работу в центр Нью-Йорка, а затем вновь возвращает его в Гарлем?

Р. Э. Я думаю, вы не видите самого важного. Главная черта в характере героя — это его готовность, не рассуждая, выполнять то, чего от него требуют другие: он полагает, что так он добьется успеха. Именно в этом и состоит его "невинность". Он идет туда, куда велят, делает то, что велят; он даже не имеет права выбрать себе имя — "Братство" решает, какую ему дать партийную кличку, и он безропотно соглашается. Он подчиняется партийной дисциплине и поэтому идет туда, куда его отправляют партийные лидеры. Главное не то, как и почему принимались решения, а неспособность героя заду-

1. Кеннет Берк (1897–1993) — известный американский литературный критик, состоявший в дружеских отношениях с Р. Эллисоном. Речь идет о работе К. Берка "Философия литературной формы" ("Philosophy of Literary Form", 1941).

маться над ними. Кроме того, ни один человек не может разом находиться в нескольких местах, и ни один человек не может охватить взглядом и осознать все стороны и нюансы масштабных социальных событий. Что именно произошло в Гарлеме, пока наш герой работал в другом районе, покрыто для него мраком неизвестности, и это весьма символично. Нет, я не думаю, что опустил какие-то эпизоды, существенные для понимания романа.

К. Как вы пришли к необходимости стилевого разнообразия, особенно в прологе и эпилоге?

Р. Э. Пролог был написан в последнюю очередь, и он отражает те изменения, которые произошли в миропонимании героя. Я хотел сбить читателя с толку, предложив принять нереалистический стиль этой части. На самом деле, роман — это "подпольные мемуары" героя о пережитом, записанные им в подземелье, но я написал пролог, который предвосхищает то, о чем пойдет речь в самом романе. Кроме того, смена стилей письма отражает разные стили жизни. На Юге наш герой еще старался следовать традициям и обычаям, верил в безусловные истины, и потому повествование об этом периоде его жизни выдержано в реалистической манере. Речь попечителя колледжа перед студентами — типичный пример южной риторики. Когда герой переезжает с Юга на Север, из мира стабильности туда, где все стремительно меняется, его уверенность исчезает, и я прибегаю к экспрессионистским средствам. Еще позже, когда он постепенно разочаровывается в "Братстве", появляются элементы сюрреализма. Я стремился выразить не только состояние героя, но и состояние общества. Эпилог же был нужен для того, чтобы действие романа обрело завершенность — перед тем как герой приступит к воспоминаниям.

К. Написав роман в четыреста страниц, вы все-таки решили добавить к нему эпилог?

Р. Э. Да. Давайте взглянем на это так. Книга, по сути, повествует о "череде изменений". Это портрет художника — возмутителя спокойствия, и отсюда — необходимость в разных средствах выражения. В эпилоге герой осознает то, чего до этого не понимал: человек должен сам принимать решения, думать своей головой.

К. Вы сказали, что книга — это "череда изменений". Нам показалось, что как раз слабость книги в том, что она состоит из целого ряда провокационных утверждений, которые потом опровергаются...

Р. Э. Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду...

К. Ну вот, к примеру, с одной стороны, вы начинаете роман с провокации, рассказывая о положении негра в амери-

канском обществе. Становится ясно, что ответственность за это лежит на белых гражданах Америки, что это их вина. Затем ваше утверждение опровергается — на сцене появляется коммунистическая партия, или "Братство", и читатель говорит себе: "Ага, вот кто во всем виноват. Это они так относятся к неграм, а не мы".

Р. Э. Я думаю, это ошибочное прочтение. Кроме того, я вовсе не ставлю знак равенства между "Братством" и коммунистической партией. Но поскольку это сделали вы, я позволю себе напомнить, что члены "Братства" — тоже белые. Невидимость героя состоит вовсе не в том, что его не видят, а в том, что он отказывается быть собой, быть просто человеком. Между тем осознание принадлежности к роду человеческому неизбежно подразумевает ощущение вины. В романе нет нападок на белое общество. Герой снова и снова отказывается быть собой — это пружина всего действия. Он должен открыть и осознать свою человеческую сущность; но, чтобы сделать это, он должен отбросить все, что ему мешает. В эпилоге происходит последнее, главное изменение; именно поэтому эпилог необходим.

К. А какое место занимают в романе так называемые любовные сцены?

Р. Э. (*смеясь*). Мне нравится ваша формулировка. Дело в том, что часто герой, казалось бы, добивается того чего хочет, но при этом теряется и не знает, как себя вести. Например, после того как он по заданию "Братства" отправился "заниматься женским вопросом" и выступил с речью "Место женщины в нашем обществе", к нему подошла одна из слушательниц. Герой счел, что она хочет поговорить с ним о "Братстве", а оказалось, ее интересовали "близкие братско-сестринские" отношения. Вообще, в книге немало комических моментов. Я чувствовал, что мой герой не может любить, это было бы нарушением логики характера персонажа.

К. Трудно ли вам контролировать ваших героев? Э. М. Форстер[1], например, говорил, что порой он теряет власть над своими персонажами, и они делают, что хотят...

Р. Э. Нет, не трудно, потому что ритуал, который и составляет основу структуры романа, помогает создавать персонажей. Во-первых, важную роль играет действие. Наша личность складывается из того, что мы сделали, и того, чего мы не сделали. Мне нужно попасть из пункта А в пункт В, а потом в пункт С. Страсть к переходам позволяет мне продлить удовольствие от работы над романом. Писатели-натуралисты опирают-

1. Эдуард Морган Форстер (1879—1970) — английский писатель, критик.

ся на социологию, создают "историю болезни", соревнуются в точности с фотоаппаратом или магнитофоном. Я презираю конкретику в творчестве, но, когда литература описывает хаотичную реальность, нужно позаботиться о стыках и швах.

К. Трудно ли превращать реальную личность в литературного героя?

Р. Э. Реальная личность только ограничивает автора. Это все равно что сделать роман из собственной жизни: тебя ведут хронология и факты, а не замысел. У некоторых моих персонажей вообще нет прототипов, например у Раса Речистого и Райнхарта.

К. Разве прототипом Раса Речистого не был Маркус Гарви?

Р. Э. Нет. В 1950 году мы с женой отдыхали на курорте, где было много белых либералов. И они, чтобы продемонстрировать свое расположение, все время объясняли нам, каково это — быть негром. Я очень сердился, в особенности потому, что они производили впечатление людей весьма неглупых. В то время я уже представлял себе характер Раса, но его образ и речь обрели страстность и жизненность именно после таких разговоров. Вечером я поднялся к себе в комнату и понял, что нужно обсудить эту тему и покончить с ней раз и навсегда. Только тогда мы сможем стать просто людьми, просто личностями. Никакой сознательной параллели с Маркусом Гарви не было.

К. А Райнхарт? Он не связан с Райнхартом, традиционным персонажем блюзов, или с джазовым музыкантом Джанго Рейнхардтом[1]?

Р. Э. Тут было интересное стечение обстоятельств. Мой старый друг из Оклахомы, блюзовый певец Джимми Рашинг[2], исполнял песенку с таким припевом:

Райнхарт, Райнхарт,
Как одиноко здесь,
На Бекон-хилл...

Этот припев меня буквально завораживал. Я думал о персонаже, который должен был стать воплощением случая, коро-

1. Джанго Рейнхардт (наст. имя Жан-Батист Ренарт, 1910–1953) — джазовый гитарист, уроженец Бельгии, цыган по национальности, создатель уникального джазового стиля "джаз-мануш".
2. Джимми Рашинг (Джеймс Эндрю Рашинг, 1901–1972) — известный блюзовый и джазовый певец эры свинга, сотрудничавший со знаменитыми оркестрами Уолтера Пейджа, Каунта Бейси.

лем маскарада, и вспомнил имя из песенки. А позже я узнал, что эта песня служила студентам Гарварда сигналом к началу бунта. И в моем романе Райнхарт появляется незадолго до того, как в Гарлеме вспыхивают беспорядки. Райнхарт — это олицетворение хаоса, Америки и перемен. Он так сжился с хаосом, что научился им управлять. Это старая тема, она раскрыта еще в "Шарлатане"[1] Мелвилла. Мой персонаж живет в стране без долгой истории, без четких классовых границ, и потому ему так легко перемещаться между разными слоями общества...

Знаете, я все думаю над вашим вопросом, как можно использовать опыт негров в качестве материала для романа. Серьезная литература непременно обращается к моральным устоям общества. Что поделать, в Соединенных Штатах положение негров всегда вызывало тревогу. История негра, помимо прочего, заставляет задуматься о принципе равенства людей. Зачем же нам отказываться от этой темы, от этого опыта?

Мне кажется, писателя должно волновать нравственное состояние общества. Я думал о том, какой была бы американская демократия, если бы не положение негров и если бы чуткие и совестливые белые граждане, остро ощущавшие несправедливость, не боролись за права негров? Несомненно, мир относился бы к нашей стране еще хуже, чем сейчас. Таковы законы развития общества. Быть может, неудовольствие, которое вызывает протест, отчетливо различимый в романах негритянских писателей, объясняется тем, что в XX веке американская литература перестала размышлять о нравственных проблемах. Слишком больно было говорить об этом. Писатели предпочли углубиться в исследование художественной формы и весьма в этом преуспели, вот только пострадало содержание. Конечно, были исключения, например, Уильям Фолкнер: он продолжал размышлять над теми нравственными вопросами, которые ставил еще Марк Твен.

Когда я решил взяться за роман, я получил в наследство и обязательство, которое брали на себя наши великие классики, — писать о том, что я знаю лучше всего. Тем самым, я смог не только внести свой вклад в литературу, но и в чем-то изменить культуру, общество. Американский роман сродни жизни первых поселенцев, он одновременно описывает реальность и создает ее.

1955

1. Роман Германа Мелвилла (1819—1891).

Сол Беллоу
Ральф Эллисон

Нобелевская премия 1976 года

Перевод с английского Ольги Пановой

В прошлом году не стало Ральфа Эллисона. Он умер в возрасте восьмидесяти лет. За всю свою жизнь он опубликовал один-единственный роман.

В 1953 году в Бард-колледже проходил международный симпозиум. Давали обед, на котором присутствовали иностранные знаменитости. Сидевший за нашим столом Жорж Сименон спросил Эллисона, сколько он опубликовал романов, и, узнав, что только один, резюмировал: "Романист — это тот, у кого много романов. Следовательно, Вы — не романист".

Сименон, из-под чьего пера вышли сотни книг, говорил и писал с такой скоростью, что думать над словом ему было просто некогда. Однажды некая дама задала Эйнштейну вопрос о квантовой теории: "Почему в таких-то и таких-то условиях не может быть больше одного кванта?" Эйнштейн, гораздо более глубокий мыслитель, чем Сименон, ответил: "Видите ли, мадам, один — это очень много".

В случае Эллисона один роман — действительно очень много. Сименона по-прежнему любят и читают, но, чтобы создать комиссара Мегрэ, не требовалось копать слишком глубоко. Детективы Сименона можно воспринимать как главы одного и того же бесконечного романа. Мегрэ влился в многочисленную армию полицейских, сыщиков и гениев дедукции наряду с Шерлоком Холмсом и героями Дэшила Хэммета, Раймонда Чандлера и других. Эти мастеровитые писатели трудились в поте лица, выполняя заказ литературного рынка. Эллисон — другое дело. Для него писательство было не бизнесом, не ремеслом, а призванием. Роман "Невидимка" — плод настоящего творческого прозрения. Такие вещи появляются на свет только тогда, когда художнику удается найти свою тему. С момента выхода "Невидимки" прошло полвека, и уже понятно, что эта книга входит в число лучших романов нашего столетия.

В конце пятидесятых годов мы жили с Эллисонами под одной крышей в округе Дачесс, в окрестностях Нью-Йорка. На-

© 1995, Saul Bellow, used by permission of The Wylie Agency (UK) Limited
© Ольга Панова. Перевод, 2013

ше жилище напоминало дом с привидениями из фильма ужасов. Зато на западе над горизонтом поднимались горы Кэтскилл, разделенные рекой Гудзон — "божественным Гудзоном", как сказал Пол Гудмен[1]. Ральф тогда преподавал в Бард-колледже, который находился в паре миль от дома. Его жена Фанни работала в Нью-Йорке. Она собирала средства для Американского центра медицинской помощи в Бирме. Мои дети навещали нас по выходным, иногда приезжала из Нью-Йорка моя тетя Дженни. Фанни появлялась в пятницу вечером и снова уезжала в город в воскресенье днем. Поскольку все писатели, по сути своей, затворники, днем мы с Ральфом практически не общались. Каждому было чем заняться. Ральф писал, а в промежутках поливал из лейки африканские фиалки, что росли у него на просторном, залитом солнцем балконе, копался в моторе своего "крайслера" или гулял в лесу с черным лабрадором, которого купил у Джона Чивера.

Ральф с первого же взгляда производил впечатление аристократа. Аристотель сказал бы — жажда признания с полным на то основанием, ибо человек должен знать себе цену.

Да и как тут не быть о себе высокого мнения? Уроженец Оклахомы, он поступил в университет Таскиги и с юного возраста всего добивался сам. Он учился писательскому мастерству у Андре Мальро и Ричарда Райта[2]. После "Невидимки" о нем заговорили как о серьезном писателе. В отличие от большинства своих современников-негров, он интересовался самыми разными вещами, а не только расовым вопросом. И был настоящим художником.

Время от времени мы приезжали в Тиволи, штат Нью-Йорк. Там находилось поместье Ларраби-фарм. Большая часть комнат в огромном особняке всегда пустовала. Там мы редко виделись — не считая случайных встреч в коридоре. Обычно мы встречались на кухне, вымощенной керамической плиткой. Утром Ральф выходил к завтраку в цветастом североафриканском одеянии — такое покрывало библейского Иосифа не каждый день увидишь на берегах Гудзона. На ногах добротные тапки с загнутыми носами в турецком стиле. Ральф варил кофе в "Чемексе" (и я последние сорок лет тоже готовлю кофе исключительно тем же способом). Он терпеливо ждал, пока тщательно отмеренная порция воды просочится сквозь фильтры, и временами со страшным хрустом при-

1. Пол Гудмен (1911–1972) — американский писатель, поэт, социолог, публицист, один из идеологов контркультуры 1960-х. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Ричард Натаниэль Райт (1908–1960) — один из наиболее значительных афроамериканских писателей.

нимался чесать нос. Вероятно, это было нужно, чтобы окончательно проснуться. Не поручусь, что моя догадка верна, но, во всяком случае, этот ожесточенный массаж происходил исключительно по утрам.

За завтраком мы разговаривали мало. Зато вечером, когда сходились на кухне и устраивали коктейль-бар, Ральф смешивал мартини с соком, и мы, потягивая напитки, вели долгие беседы. Так я получил представление о его взглядах на жизнь. Постараюсь передать суть.

В интервью Джеймсу Макферсону Ральф сказал: "Наш народ никогда не жил обособленно. Мы развивались вместе с белыми. Да, у нас есть своя уникальная область знаний и представлений, потому что наш опыт во многом отличался от опыта белых. Но все-таки эти различия второстепенны".

"От меня потребовалось немало усилий... чтобы отыскать те сферы жизни и стороны личности, над которыми я мог размышлять, не чувствуя при этом ограничений, навязанных моей расовой принадлежностью".

И еще: "Мне удалось преодолеть смертельно опасное искушение: видеть мир исключительно сквозь призму расы. Такой взгляд обладает завораживающей, почти гипнотической силой. Внезапное озарение здесь бы не помогло. Освободиться от этого можно было только в результате долгой, изнурительной борьбы".

Для Ральфа на первом месте всегда было искусство, он настаивал на независимости художника. Чтобы исповедовать такие взгляды, нужно было обладать изрядным мужеством: время заставляло человека занимать активную общественную позицию и демонстрировать расовую солидарность.

Он говорил: "Литература дает мне возможность ответить на важнейшие вопросы: кто я такой, каково мое место в обществе, почему я таков, каков есть. Как и во имя чего мне нужно прожить свою жизнь? Каким я вижу американское общество? Какое суждение о нем я могу вынести, опираясь на *свое* знание прошлого и *свое* чувство настоящего?.. По всей видимости, — добавлял он, — многие потенциально талантливые писатели-негры терпят фиаско именно потому, что отказываются (от провинциализма, из чувства страха или, напротив, следуя конъюнктуре) от попыток достичь того высочайшего уровня сложности, который соответствует положению американского негра. Слишком часто они не решаются переступить границы своей расы и остаются замурованными в этой крепости, так и не отважившись всерьез заняться творчеством, не попытавшись войти в мир искусства". Здесь Эллисон описывает позицию, ему самому в высшей степени чуждую.

Когда я думаю о Ральфе, мне часто вспоминается стихотворение Э. Э. Каммингса о Буффало Билле:

Буффало Билл
в бозе
а прежде бывало
взнуздывал водогладно-сребристого
жеребца
и вразумлял парутройкуголубковнизагрош
Господи
он был красавчик
хотелось бы выяснить
как тебе этот синеглазенький
мистер Смерть[1]

Ральф, конечно, не разъезжал на "водогладно-сребристом" жеребце, но, вспоминая о нем, так и хочется воскликнуть: "Господи, он был красавчик!" Он всегда производил впечатление человека, который опоздал родиться. Он словно пришел из минувшей эпохи, из века героев; это был человек такого масштаба, наделенный такой силой, цельностью, душевным здоровьем, серьезностью и отвагой, каких уже не встретишь в наше время.

1. Перевод Б. Кузьминского.

Марина Ефимова

Безвестные рыцари кинобизнеса

Совместно с радио "Свобода"

Когда выходит новый кинофильм, простые зрители интересуются актерами, кинолюбители — режиссерами и операторами, но никто не интересуется продюсерами и распространителями. Для нас они просто богачи, решившие вложить деньги в кино. Всегда ли это так? Один пример из книги Питера Бискинда "Скучные и неприличные фильмы. 'Мирамакс', 'Сандэнс' и взлет независимого кино"[1]:

В 1990 году Джефф Лински — 46-летний сотрудник одной из американских компаний по распространению кинопродукции — доложил начальству, что в Англии появился замечательный кинорежиссер Майк Ли, и попросил разрешения слетать в Лондон на премьеру его нового фильма "Сладости жизни" с тем, чтобы купить права на распространение фильма в Америке. Начальство НЕ разрешило. Лински слетал в Лондон на свои деньги, влюбился в фильм, но понял, что его компания фильм не купит и Америка прозевает великолепного режиссера. Он вернулся домой, уволился с работы, нашел такого же влюбленного в кино партнера, и они начали собирать средства на покупку прав на фильмы Майка Ли. Через полгода они растратили все личные деньги, поссорились, Лински заработал язву, и от него ушла жена. Еще через год они преуспели и первыми представили Америке любимого режиссера (который через пять лет стал призером Каннского фестиваля). А еще через пять лет они обанкротились.

Таких драм в, казалось бы, прозаическом деле продюсерства и распространения фильмов — пруд пруди. И одна из самых драматических историй — история компании "Мирамакс" и ее создателей — братьев Вайнштейнов. На их счету за двадцать пять лет деятельности — 86 премий "Оскар" и 249 номинаций, включая 15 в нынешнем году. Но прежде чем подойти к их истории, взглянем на тот уголок американского кинобизнеса, в котором они появились в 1979 году.

К концу 70-х годов в войне, которую киноискусство постоянно ведет с кинокоммерцией, победила коммерция. На экраны выходили, на радость подросткам, многомиллионные блокбастеры ("Рэмбо", "Супермен", "Бэтмен", "Звездные войны"). Однако пока Голливуд, забыв блистательные взрослые филь-

© Марина Ефимова, 2013

1. Peter Biskind. Down and Dirty Pictures. Miramax, Sundance, and the Rise of Independent Film. — Simon and Schuster, 2004.

мы 70-х, с огромной выгодой развлекал массовую публику, снизу начали пробиваться ростки антиголливудского кинематографа. Его окрестили *инди* — от английского independent — независимый. Режисер Сидней Поллак так охарактеризовал это движение (из книги "Скучные и неприличные фильмы"):

Они были всем тем, чем Голливуд не был. Голливуд делал *кино*, а инди снимал *фильмы*. Голливуд предпочитал фантазии, инди — реализм и спорные темы. Голливуд снимал картины дорогие, а инди — грошовые. Голливуд приглашал звезд, а инди — безвестных актеров. Голливуд создавал жанры, и оттуда сыпались близнецы, как печенье из коробки. А инди выражал индивидуальное видение мира. Голливуд вторил расхожей мудрости и принятой идеологии. Инди бросал вызов и той и другой. Голливудские режиссеры жили в Малибу, а режиссеры инди жили в Нью-Йорке на Нижнем Ист-Сайде, на фильмы тратили свои заработки, занимали деньги у родителей, сдавали кровь и даже иногда торговали наркотиками. Для рекламы Голливуд использовал телевидение, радио, газеты. Инди — только слухи. И все же голливудские звезды рвались в инди, чтобы сыграть характерную роль в каком-нибудь их рискованном фильме.

Добавим, что Голливуд работал в устойчивой финансовой системе, без риска, а у режиссеров и продюсеров инди хорошо если хватало средств на один фильм. Появилась новая поросль режиссеров — молодых и безденежных: Джим Джармуш, Дэвид Линч, Квентин Тарантино, братья Коэны... Многим было ясно, что, если не помочь этому независимому движению, из кино уйдут самые оригинальные таланты. И два человека — с противоположных концов кинематографической иерархии — независимо друг от друга взялись за дело. Один, Роберт Рэдфорд, — кинозвезда, кинорежиссер и миллионер. Он организовал знаменитый фестиваль независимого кино "Сандэнс". Вторым человеком был безвестный Харви Вайнштейн. О нем — профессор университета UCLA Джонатан Кунтц[1]:

Я не уверен, что деятельность Харви можно отнести к движению независимого кинематографа. Он — такая неординарная личность, что основал собственное, персональное движение — по выуживанию талантливых фильмов и по доведению их до национальных и международных премий. Харви и его брат Боб — родом из Нью-Йорка. Их отец был ювелиром — мастером по огранке бриллиантов. Харви окончил колледж в Баффало, и там они с братом сняли помещение, служившее и концертным залом, и кинотеатром. Харви влюблен в кино. Любовь началась в 14 лет, когда он случайно попал на фильм Трюффо "Четыреста ударов", думая, что это про секс. Фильм потряс Харви, изменил все его представления о кино. И через 12 лет на деньги, заработанные организацией концертов, они с братом основали маленькую компанию по распространению фильмов, назвав ее именами родителей Мириам и Макса, — "Мирамакс".

1. Professor Jonathan Kuntz. Здесь и далее — интервью М. Ефимовой с профессором UCLA Джонатаном Кунтцем (февраль 2012).

Харви начал искать фильмы по своему вкусу, покупать на них права, иногда редактировать, энергично рекламировать и пускать в жизнь.

Портрет Харви Вайнштейна (в двух словах) — чтобы дать внешнее представление об этом человеке. Из книги "Скучные и неприличные фильмы":

180 см роста и 150 кг веса (который растет). На белом, мясистом лице — пронзительные глаза, как маленькие черные оливки. При зверском аппетите часто ест на ходу и носит черные рубашки — чтобы скрыть пятна. Брюки держатся только на подтяжках. В углу рта — сигарета, в руке — банка пепси-колы. В обращении часто остроумен, но груб. Словом, на улице многие переходят на другую сторону. Можно ли придумать большую противоположность Роберту Рэдфорду — красавцу, профессионалу и джентльмену?

Поначалу Харви Вайнштейн пользовался дешевизной инди: не только съемок, но и малостью сумм, которыми удовлетворялись режиссеры и актеры. Деньги и усилия уходили на продвижение фильма. Харви обхаживал критиков, зазывал на просмотры людей со вкусом, уговаривал, давил, брал измором нужных людей... и всегда добивался своего. Про него кто-то сказал: "Вот метод Харви: созвать спонсоров и продюсеров, запереть дверь и не выпускать, пока не добьется нужного решения". Многие режиссеры и продюсеры считали, что Вайнштейн им недоплачивает, или сердились на редактуру, но все искупалось тем, что их работы шли в кинотеатрах и получали призы. Пример — борьба Харви за фильм Джима Шеридана 1989 года "Моя левая нога". На этот раз он был и американским продюсером фильма. Читаем в книге Бискинда:

Английские продюсеры собирались сделать акцент рекламы фильма на актере Дэниеле Дей Льюисе — исполнителе главной роли инвалида. Харви сказал со свойственной ему прямотой: "С американцами это не пройдет. Для них Дэниел — красавец и герой-любовник. Они не захотят видеть его слюнявым и скрюченным. Но я обещаю ему 'Оскара'". И Харви построил рекламу на идее героизма и сочувствии бедности. Даже уговорил Дэниела Дей Льюиса выступить перед Сенатом в защиту законопроекта о помощи инвалидам. На пробном показе в Нью-Йорке половина зрителей рыдала, половина ушла — не понимала ирландский акцент. Тогда Харви, к ужасу режиссера, вырезал непонятные американцам ирландские шутки и переозвучил несколько сцен, облегчив акцент. Фильм имел оглушительный успех, заработал 15 миллионов прибыли и получил трех "Оскаров".

Фильм "Моя левая нога" поднял репутацию Вайнштейна. "Недаром его отец был ювелиром, — говорили рекламщики. — Он знает, что даже бриллианты не впечатляют, если их много. А он берет один, кладет на черный бархат, и все ахают".

Деньги, вырученные за распространение успешных картин, Харви пускал на покупку фильмов, не обещавших успеха, но дорогих его сердцу. В 1990 году "Мирамакс" была сораспространителем двух велико-

лепных фильмов: "Мистер и миссис Бридж" Джеймса Айвори и "Повар, вор, его жена и ее любовник" Питера Гринуэя. Гринуэй окупился, но не получил наград. Фильм Айвори был номинирован, но не принес дохода — как и другие прекрасные, но бездоходные картины, которые распространяла в разные годы "Мирамакс": "Том и Вив", "Миссис Браун", "Свадьба Мюриэл", "Священник" (1994), французский фильм "Чужие вкусы" и многие, многие другие.

А между тем число независимых продюсеров и распространителей росло. В 1992 году, например, "Мирамакс" представила на Оскара "Очарованный апрель" и "Средиземноморье". Оба фильма хорошие, но соревноваться им пришлось с шедеврами: "Игроком" Олтмана и "Говардс Энд" Айвори, которые представляли компании "Fin Line" и "Sony Classic". Конкуренция на рынке инди ужесточалась, и у Вайнштейнов были постоянные проблемы с деньгами. В 93-м они представили на "Оскара" (на этот раз и как продюсеры) фильмы "Бешеные псы" Тарантино и "Жестокая игра" Нила Джордана. "Игра", кроме шести номинаций на "Оскара", заработала 62 миллиона долларов. И на пике удачи Вайнштейны продали "Мирамакс" киногиганту "Дисней".

— В 90-е годы, — рассказывает профессор Кунтц, — огромные развлекательные конгломераты начали втягивать инди в свои орбиты. Они увидели, что независимые компании, из которых "Мирамакс" была самой заметной, выпускают на рынок призовые фильмы, успешно конкурируя с большими студиями. Сами большие студии не могли заниматься такими *не*массовыми картинами, но они рады были сделать компании инди своими спецподразделениями. И в 1993 году "Дисней" купил "Мирамакс" за 70—80 млн долларов, обещав Вайнштейнам самоуправление и возможность использовать мощные голливудские рыночные рычаги.

Начался девятилетний бум компании "Мирамакс" под крылом "Диснея". Вайнштейны стали продюсерами фильмов "Влюбленный Шекспир" (по сценарию Тома Стоппарда), "Правила яблочного амбара" с блистательным Майклом Кейном, очаровательного фильма Софтли "Крылья голубя" по роману Генри Джеймса, фильма "Английский пациент" (с блистательной парой — Кристина Скотт Томас и Рэйф Файнс), картин "Банды Нью-Йорка" Мартина Скорсезе и "Криминальное чтиво" Тарантино, мюзикла "Чикаго" и многих других. Кроме того, приводим здесь малую часть картин, распространителями (distributors) которых Вайнштейны были в Америке: "Прощай, моя наложница" Чэнь Кайгэ, "Пули над Бродвеем" Вуди Аллена, "Готовое платье" Олтмана, "Том и Вив" Гилберта — о трагическом супружестве поэта Томаса Элиота, "Красное" Кислёвского, пропущенный многими фильм Джона Маддена "Миссис Браун", спорный фильм Роберто Бенини "Жизнь прекрасна", а также фильмы "Талантливый мистер Рипли", "Амели", "Айрис", замечательный франко-канадский фильм "Нашествие варваров" и так далее...

И надо отдать должное Харви Вайнштейну: ему не всегда

легко было отстаивать свой отменный вкус и даже свое деловое чутье. Он сам рассказал об этом в недавнем интервью на Би-би-си[1]:

Моим первым призером за лучший фильм был "Английский пациент", а вторым — "Влюбленный Шекспир". Как меня от него отговаривали!.. "Всё, что связано с именем Шекспира, — говорили мне, — обречено на финансовый провал". А фильм заработал 7 "Оскаров" и 300 миллионов долларов. На "Английского пациента" диснеевские консультанты тоже морщились: "Ну сколько может заработать 'костюмный фильм'?" Но для меня он не был "костюмным", это был фильм о человеческих взаимоотношениях. Меня вообще интересуют фильмы именно о чувствах. Я часто слышу советы: "Занимайся картинами типа 'Железный человек' или комиксами. Нет, это — не для меня".

Два обстоятельства мешали идиллическому союзу "Мирамакс" и Диснеевской компании. Первым был характер Харви. Любое несогласие вызывало с его стороны взрыв оскорблений и грубостей. "В офисе Харви, — пишет Джеф Липски, — не было женщины, которую бы он не заставил рыдать. Там доставалось всем — евреи и христиане спорили, с кем Харви обращается хуже". "Его яростная агрессивность при любом обсуждении, — пишет Бискинд, — привела к тому, что многие не хотели иметь с ним дело". И президент "Диснея" не был исключением. Правда, вот что сказала в интервью Би-би-си сотрудница журнала "Варьете" Даяна Лодохауз[1]:

Харви поражает людей, потому что он — персонаж. Харви — страстный человек, бурный, может быть грубым, но он ужасно в этом раскаивается. Говорят, на деньги, потраченные им на цветы, которые он посылает с извинительными записками, можно содержать небольшую студию. Вообще о Харви ходит масса слухов, но что из них правда, никому неизвестно.

Известно, что его высказывания часто жестоки, но всегда смешны. Он говорил, например, про кого-то: "Это такой тип, который хочет, чтобы его держали за руку, когда ему отрубают голову". Известно, что его любимое выражение — из вонегутовской "Колыбели для кошки": "Добро могло бы победить зло, если бы ангелы были так же хорошо организованы, как мафия". Известно, что, несмотря на скандальную атмосферу, многие любили работать в компании "Мирамакс": там была ясная цель — служение искусству кино.

Харви Вайнштейна боялись все, а Харви боялся маму. На церемонии вручения "Оскаров" в 1999 году фильм "Мирамакс" "Правила яблочного амбара" был побежден фильмом "Американская красавица", представленным компанией Стивена Спилберга "DreamWorks". И мать громко выговаривала по-

1. BBC World Service, NewsHour, 24/01/2012 (интернет).

1. BBC World Service, NewsHour, 24/01/2012 (интернет).

нурому Харви: "Почему 'DreamWorks' лучше?! Может быть, мама Стива лучше его воспитывала, чем я тебя?!"

Другая причина разлада с "Диснеем" была серьезней. О ней — профессор Кунтц:

Их ограничивала диснеевская машина: они шли на слишком большой риск (и финансовый, и этический), им свойственна неподконтрольная трата денег, медленная окупаемость. И была масса других правил и требований большой студии, в которые "Мирамакс" не вписывалась. Симбиоз не сработал. В 2005 году Вайнштейны ушли от "Диснея" и снова стали независимыми.

Они ушли в пустоту. Компания "Мирамакс" осталась у "Диснея" — Вайнштейнам не на что было ее выкупить. Следующие 4 года были для Харви тяжелыми. Ему показалось, что он возненавидел кино. И он кинулся в неизведанное: вложил средства в веб-сайт, который сразу начал терять деньги, в 2006 году купил невыгодный телеканал, а в 2007-м — дом моделей. (Правда, эта сделка оказалась удачной: он встретился со своей второй женой.) Но в деловом отношении, по его собственному признанию, он занимался тем, в чем абсолютно ничего не понимал. К 2008 году братья подошли с долгом в 600 миллионов долларов.

Спас Вайнштейнов юрист — поклонник "Мирамакс". Он убедил большую финансовую фирму взять на себя долг Вайнштейнов и получать доходы с проката их старых фильмов — пока долг не будет выплачен.

Освобожденный Харви понял, что его дело, его настоящая любовь — кино. Первой пробой был британский фильм 2009 года "Король говорит" режиссера Хупера (с Колином Фёртом и Джеффри Рашем). Результат – 4 главных "Оскара" плюс фильм заработал 415 миллионов долларов. Занималась распространением этой картины в Америке уже новая фирма — "Вайнштейн компани". Станет ли она такой же легендарной, как "Мирамакс"? Профессор Кунтц:

Она продолжает линию "Мирамакс": Харви работает с хорошими режиссерами и не боится риска. Лучший пример — фильм "Артист". Это очаровательная картина, но вы представляете себе фильм, который было бы труднее, чем этот, предлагать Америке в XXI веке? Черно-белый и немой! Вайнштейн полгода внедрял его в сознание критиков и даже пригласил на просмотр внучек Чарли Чаплина. Но вот что важно: "Мирамакс" и другие независимые компании ("New Line", "DreamWork") оказали заметное влияние на Голливуд — он заразился духом инди и готов к сотрудничеству. И это очень многообещающее явление. А сам Харви напоминает мне тех киномагнатов, которые создавали Голливуд почти 100 лет назад: Кьюкора, Лэмли, Фокса. Как и они, он — делец, но такой, которым руководит великая любовь к кино.

Остается добавить, что фильмы, представленные на "Оскар" в 2012 году фирмой "Вайнштейн компани", получили 7 "Оскаров", из них 5 — фильм "Артист".

Леонид Гиршович

Анти-антиутопия, или На салоне

Структурировать свою мысль по принципу одна мысль — одна статья, я никогда не умел. Что вижу, то пою (а глаза-то бегают).

На салоне — хочется сказать "на Париже" — широко представлена Москва литературная: московские писатели, поэты, переводчики, журналисты, издатели и примкнувший к ним почему-то я. Завтракать я стараюсь, по возможности, в обществе писателя Татьяны Толстой, поэта Ольги Седаковой, Льва Рубинштейна (оригинальный жанр) и еще одной Ольги — журналиста, который слушает да ест. Таким образом, я узнаю новости *из первых уст*, как говорят на федеральных каналах.

Вход на ежегодную парижскую книжную ярмарку туго забит посетительницами и посетителями. Повсюду круглые столы, одиночные выступления, раздачи автографов купившим книгу. Мне достался круглый стол с участием писателя Славниковой. Ведущий — французский писатель и переводчик Юргенсон (женщина). Заявленная тема: "Запретные темы". То есть тема дискуссии по определению под запретом. То есть политкорректность. Отсюда и грамматический унисекс: женщины — писатели, женщины — журналисты, женщины — переводчики. Число употреблений мужских окончаний в русском языке растет. Только спортсменок, балерин и певиц не коснулась эта перверсия (скрипачки и пианистки не в счет — за невостребованностью... ах да, еще феминистки). У остальных по Фрейду: зависть к фаллосу.

Русский "билль о правах женщины" — негатив западного. Собирательное "товарищи", "друзья", "коллеги", "мастера культуры", "студенты", по западным меркам, недопустимо игнорирует "представителей прекрасного пола", тогда как в России, наоборот: женское окончание указывает на второй сорт. Причем по обе стороны холма, и по русскую и по европейскую, убеждены: лучше грешить против языка, чем против идеологии. Французское "auteur" находит себе пару: "auteure" — так Папагено находит себе Папагену. Допустим, что спятивший генсек обратился к съезду: "Дорохыи товарки и товарищи".

А как насчет того, чтобы, спустившись к завтраку, пить

© Леонид Гиршович, 2013

утренний кофе — в моем случае какао — за одним столиком со Славниковой, писательницей с Урала и сильной личностью? Замнем для ясности. Зато встретиться с ней за столом круглым, послушать о запретных темах, о колодках политкорректности — это интересно. Кстати сказать, ее претензия к издательствам, ориентированным на примитивный вкус, выглядела, как если б автор песни "Широка страна моя родная" жаловался на низкую слушательскую культуру (ничего обидного не сказал, сравнил с Дунаевским).

Итак, перечень запретных тем в России. Первое, что я слышу: нельзя открыто поддерживать Путина. Credo, quia absurdum est — верю, ибо абсурдно. Креативные перья бойчей прикармливаемых — задразнят до полусмерти. И другого способа ответить, кроме как кулаком, у начальства нет. Якобы за "Нашу крысу тошнит" Быков был исключен из состава делегации, представлявшей Москву в Парижском книжном салоне. Подтверждением этому бельмо его фамилии в программке. Я без всяких провокаторских штучек совершенно искренне сказал, что проблема не в тех, кто управляет, а в тех, кем управляют, и что Путин еще недостаточно плох для этой страны. Славникова косвенно согласилась, рассказав, что сразу после выборов ее муж (не знаю, кто сей) написал в своем блоге: "Путин — самый человечный из всех, кто за него голосовал". Вроде бы о том же, что и я. Но без привычной оговорки "такой-сякой-этакий" выходило, что он самый человечный из шестидесяти процентов, принявших участие в выборах. Также, по словам моей собеседницы, не рекомендуется делать гомосексуалиста отрицательным персонажем — как у нее в романе "2017". Гоп-ля... Публика числом в полтора десятка человек, только на треть русская, проживающая в Париже и искупающая это обстоятельство повышенным градусом любви к Родине. Остальные — благонамеренные французские буржуа, они давно перевоспитаны в духе сострадания к жертвам гонений, в том числе и на гомосексуальной почве. Им неловко.

Лиха беда начало. У писательницы на подходе антиутопия. Она предвидит наезд со стороны блюстителей либерального политеса. За что? А вот за что. В 2048 году (роман так и называется — "2048") в России наступила эра политкорректности, теперь класс-гегемон — инвалиды; увечье считается нормой, люди же физически полноценные подвергаются дискриминации.

Что русскому здорово, то французу смерть — правда, французы понимают это лестным для себя образом: критерий здоровья в России не соответствует западным стандартам. А все же с инвалидами это чересчур, даже при том бонусе, который в странах, никогда не граничивших с Россией, получает загадочная русская душа. Сюжет отпугивал соблазном легкой публицистической наживы. К тому же гитлеровская эвтаназия, за которую

крещеный мир бьет себя в грудь, это не анекдотическое право на окончания в женском роде или переименование негров в афро... и дальше по месту прописки, вплоть до афроякутов (написал "негр" и чувствую, что слово уже сделали неприличным, а замену ему так и не подобрали). Реакция на то, что нацисты называли "эвтаназией", никогда не будет смехотворной. Но этого в моем грешном отечестве "Народ не поймет" (произносится с грузинским акцентом). Сразу после "праздника со слезами на глазах" начался отлов покалеченных человеческих существ, которых, в отличие от бездомных псов, отправляли не прямиком на живодерню, а в собачьи питомники, подальше от глаз людских. Да чего там говорить, когда еще "на момент моего отъезда" (1973 год) действовал циркуляр с описанием увечий, не совместимых с нахождением в местах общественного приема пищи. (Процитирую один свой рассказ: "Оркестранту с боголюбивой фамилией Левит не повезло: главкома (Е. Мравинского. — *Л. Г.*) тошнит от его немигающей стекляшки — глаз боголюбивому в свое время высадил дворовый пацан по имени ВОВ. И кривой музыкант стал играть перед киносеансами".)

Тем не менее сюжет с инвалидами подхлестнул мою фантазию: а как бы я с ним справился, чисто технически? Первое — это чтоб не получилось: "Public school требуется преподаватель(ница) физкультуры. Предпочтение отдается матери-одиночке афроамериканского происхождения с ограниченными физическими возможностями, принадлежащей к сексменьшинствам и исповедующей ислам". После такого одним оруэлловским названием не оправдаешься. Стало быть, нужно гипотетическое четвертое измерение. Лично я бы исходил из посылки: антиутопия только выдает себя за страшный сон, который может сбыться. Каждому ясно, что это бой с настоящим. Иначе это была бы утопия, очередная песнь о казарме. Оруэлл наложил картины Лондона времен войны на энкаведистскую практику в республиканской Испании, откуда, подобно Кёстлеру ("Слепящая тьма"), вернулся заклятым кремленологом. В этом смысле "О дивный новый мир" Хаксли — в отличие от "1984" — роман отгадок и антиутопией не является, поскольку, повторяю, антиутопия — осуществленная утопия. Но иному автору по душе рубище пророка. Притворимся, что верим ему и что описываемое им — действительно грозное видение грядущего. За это нам позволено будет увидеть — как видят "сон во сне" — антиутопию с точки зрения антиутопии, когда последняя уже стала привычной: колченогая сборная, хор немых, расстрельная команда, состоящая из слепых, президент — даун. Словом, вчерашний самиздат. Одни сочиняют басни про царя зверей, другие про президента-дауна. Но освещение одного и того же стога сена, как показал известный импрессионист, в течение дня меняется. Пусть для человека благонамеренного басни по-прежнему

"смерть моя", тогда надо уточнить почему: не "...кто что ни говори, хотя животные, а все-таки цари", а ровно наоборот: хоть и цари, а все-таки животные. Благонамеренность сегодня предполагает членство в обществе защиты животных, нельзя их обижать.

И вот внутри одного страшного сна нам снится другой — кошмарнейший. Антиутопия в рассуждении антиутопии. Людей с ограниченными физическими возможностями сменяют в Кремле животные. Человечество на протяжении своей истории их нещадно эксплуатировало, забивало кнутом, ставило на них опыты, даже использовало в пищу. "Кто здесь власть?" — "Мы здесь власть!" — скандируют четвероногие. Я просыпаюсь, какое счастье: нами правят безрукие, безногие, безголовые — но люди! Да-да, они тоже люди. И намерения у них благие. Ну, не верят они в обещание для себя Царства Небесного и хотят его иметь на земле. По-человечески их понять можно. Хочу назад, из 2084-го в 2048-й, хочу к калекам.

"На салоне" я во второй раз. Семь лет назад на встрече Путина с русскими писателями, здесь в Париже, явка была почти стопроцентной, не досчитались буквально пары-тройки человек. Сегодня те же самые писатели не рискнули бы дать интернет-пользователям компромат на себя и не пошли бы. Как они поступят завтра — Бог весть, это от них не зависит. Их девиз: "Падающего толкни, сильного поддержи".

Один из тех, кто тогда не ходил и завтра не пойдет, кто никогда не ломал шапку перед начальством, кто на Болотной, как рыба в воде, сказал мне — на вопрос: "Ну, хорошо, допустим, ваша взяла, выборы были настолько честными, что понадобился второй тур — за кого бы вы стали голосовать, за Путина или за Зюганова?" — "А я бы не пошел".

Выясняется, что мои французские суточные чуть больше российских — чего быть не должно, — на сущие копейки. Но ведь распиливать можно и пилочкой для ногтей, вон Левша блоху подковал. Это я в шутку. Установилась хорошая погода, выглянуло солнышко, как не пошутить.

апрель 2012

Особенно Италия

Аркадий Ипполитов
Особенно Ломбардия: Образы Италии XXI века. — М.: Ко-Либри, 2012. — 368 с. — Ил. — 3000 экз.

Несмотря на то, что книга эта написана по-русски и написана автором, живущим в России, уместность рассказа о ней на страницах журнала "Иностранная литература" сомнений не вызывает. Потому что посвящена книга не столько художественным школам Ломбардии, где готика плавно перетекает в барокко, а ар-деко неотделим от конструктивизма, сколько эволюции восприятия Италии в России — от стольника Петра Андреевича Толстого до нынешних завсегдатаев "модного квартала" Милана.

Не вызывает вопросов и компетенция автора — петербургского искусствоведа, многолетнего хранителя кабинета итальянской гравюры Эрмитажа, что уже само по себе свидетельствует об его академической выучке.

Если что способно вызывать вопросы, так это подчеркнутый отказ от академизма, начиная прямо с заголовка. Так что непосредственный возглас, вынесенный в название, хочется вернуть в виде столь же простодушного вопроса: "А почему именно Ломбардия?" Почему не Тоскана, родина Возрождения, не Лацио с античным и барочным Римом? Не Венето, наконец, с поразительной Венецией? К тому же ведь именно с Венеции начинает свое повествование Павел Муратов, на сопоставление с "Образами Италии" которого книга Ипполитова обречена — чего он сам, как следует из подзаголовка, совсем не боится, а, наоборот, приветствует.

Ответ автора прост: Павел Муратов начинает свою искусствоведческую поэму об Италии с Венеции не в силу каких-то эстетических пристрастий, а просто потому, что для обычного (состоятельного) русского путешественника конца XIX века Италия начиналась с Венеции, принимающей пароходы из Одессы. И точно также для современного русского путешественника (которому нет нужды выгадывать на "бюджетных" авиакомпаниях) Италия начинается с миланского аэропорта Мальпенса. Вот поэтому и Ломбардия.

Но если в определении "точки входа" Аркадий Ипполитов, отказываясь на первый взгляд идти по стопам своего предшественника, следует при этом его логике, то в рассказе о самой Ломбардии, о десяти ее знаменитейших городах, от Милана до Мантуи, включая

приозерный курорт Комо и "город скрипок" Кремону, он, наоборот, — строя, как кажется свое повествование в точности по лекалам Муратова (описания главных художественных достопримечательностях каждого города в привязке к его истории) — являет при этом его полную противоположность.

Автор "Образов Италии" начала XX века прячет свою горячую любовь к исследуемому предмету под нарочитой сухостью, он выносит свои приговоры стилям и эпохам взвешенно и невозмутимо, как настоящий elegantiae arbiter. Даже в третьем томе, вышедшем в Берлине в 1924 году, он "сохраняет тонкую эстетскую отстраненность от личных несчастий", как деликатно обозначает Ипполитов послереволюционные тяготы своего предшественника.

Но автор "Образов Италии XXI века" не может позволить себе такой отстраненности. Не только потому, что прошедшие неполные сто лет наглядно показали, насколько смехотворны зачастую оказываются "окончательные приговоры" искусствоведов, но и потому, что изменились запросы читателей. Ипполитов может сколько угодно издеваться над богатыми русскими "меломанами", изнывающими от невозможности поболтать по мобильнику в ложе Ла Скалы, и иронизировать, что сейчас даже петербургская бомжиха щеголяет в майке с надписью Italy is Cool (эта встреченная в первой главе "муза" будет потом вспоминаться автору на протяжении всей книги), но он не может не признать — современные путешественники, сколь угодно культурные и одухотворенные, интересуются не только региональными художественными школами, но и региональными кухнями, а предварительное представление об Италии получают не из классических книг и альбомов, а из фильмов и телепередач. Да и вообще — Италия Ренессанса, законодательница европейских мод и кузница передовых технологий, гораздо ближе к современной Италии с ее недостижимым дизайном и быстрыми автомобилями, чем к сонному провинциальному королевству конца XIX века. "Итальянские древности теперь оказались гораздо актуальнее индустриального прогресса", — замечает автор.

Так что Ипполитов не просто не скрывает своей пристрастности и сиюминутности — наоборот, он подчеркивает и утрирует ее, причем на всех уровнях, доходя при этом до парадоксальности. "Нет ничего невыносимее так называемого хорошего вкуса брезгливых людей", — так защищает он эстетику барокко. "Стойкий запах тоталитаризма, исходящий от ар-деко, красит его в глазах интеллектуалов, изо всех сил старающихся казаться левыми, как вонь красит сыр для гурманов" — в таком ключе раскрывает деликатную тему муссолиниевского двадцатилетия.

Говоря же о соотношении искусства и власти — а это ключевая тема для понимания искусства Ломбардии, как и Италии вообще, — Ипполитов отбрасывает всякую сдержан-

ность и деликатность. "Двор поверхностен, пуст и бессмыслен, и поэтому нет ничего слюнявее и плюгавее, чем придворные и их отношения; а вот поди ж ты, благодаря Мантенье все эти Лудовико Гонзага и Барбары Браденбургские обрели гомеровское величие, хотя только то, что Мантенья, двор обслуживая, их физиономии запечатлел, и отличает Гонзага от Лужковых и Матвиенко, которых маркизы Гонзага ничем не были замечательнее, и о принадлежавшем им городе заботились ни больше ни меньше, чем эти двое. Зато Мантенья решает все, лужковы с матвиенками исчезнут в потоке времени — что они, кстати, уже и сделали, исчезли, — а Гонзаги останутся, причем Лудовико с Барбарой только благодаря Мантенье будут возвышаться над временем, как скалы".

Таким стилем написана вся книга. И, главное, с такой же твердой верой в то, *что* здесь написано. И это посущественнее тонкостей атрибуции, широты эрудиции — и даже особенностей стиля.

Михаил Визель

Информация к размышлению
Non-fiction

с Алексеем Михеевым

Несколько лет назад вышел русский перевод (с английского) книги уроженки Хорватии **Дубравки Угрешич** под провокационным названием *Читать не надо*! (М.: Издательство Ольги Морозовой, 2009). Название могло навести на мысль, что автор будет убеждать читателя либо не читать вообще, либо не читать данную конкретную книгу. Однако на самом деле оно было саркастическим приговором современному обществу, в котором литература утратила свое прежнее престижное положение, став рядовым элементом пестрой мозаики массовой культуры, а писатель из литературного авторитета превратился в заурядный винтик рыночного механизма. Если раньше популярным писателем становился тот, кто благодаря своему литературному таланту завоевывал себе имя, то теперь ситуация вывернулась наизнанку — популярными (тиражи, читательский успех) писателями все чаще становятся те, кто уже завоевал себе имя в других сферах: актеры, спортсмены, политики, телеведущие и прочие "селебритиз". А что касается собственно писателя, то между ним и читателем все чаще располагается не собственно текст, а некий заранее сложившийся образ, порожденный стереотипными ожиданиями читателя относительно того, какое место автор занимает в актуальном "литературном пейзаже". Если, например, писатель — это женщина, эмигрировавшая на Запад из Восточной Европы, то (как Дубравка Угрешич почувствовала на своем примере) читатели еще до знакомства с ее текстами уже имеют о ней вполне устойчивое представление, которому она как автор в первую очередь и должна соответствовать (отсюда и горький вывод: оказывается, читать ее им вовсе "не надо").

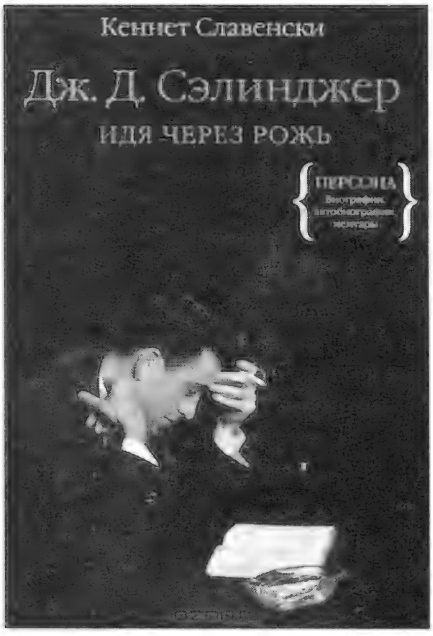
А в прошлом году появился русский перевод книги французского литературоведа **Пьера Байяра** под похожим назва-

нием: *Искусство рассуждать о книгах, которых вы не читали* (Перевод с французского **А. Поповой**. – М.: Текст, 2012. – 189 с.). Обе книги, безусловно, связывает ироническая интонация, однако в отличие от Угрешич ирония Байяра – не пессимистическая, а совсем наоборот. Автор трезво констатирует тот вполне очевидный факт, что современный читатель просто физически не способен прочесть все те литературные произведения, знанием о которых он должен обладать как носитель некоего общепризнанного культурного багажа, – однако это вовсе не мешает ему иметь о них вполне адекватные представления, не оставляющие сомнений в том, что он действительно их читал. Конечно, с одной стороны, в этом можно увидеть предосудительное лицемерие и лукавство, однако Байяр относится к такому читателю вполне толерантно, задавая резонный вопрос: а какой "уровень прочтения" необходим, чтобы книгу можно было действительно считать прочитанной? Ведь, например, многие реально прочитанные нами книги мы давно забыли, и, наоборот, хорошо запомнились какие-то книги, лишь бегло пролистанные. Кроме того, у каждого читателя книга оставляет свой индивидуальный след, зависящий от культурного фона, склада личности и прочих индивидуальных и заведомо неунифицируемых факторов – так что, обсуждая книгу с кем-то, мы практически говорим не об одном и том же объекте, а о его субъективных отображениях, которые могут достаточно сильно различаться. Из этого, в свою очередь, следует, что и о непрочитанных книгах мы можем говорить вполне смело, если речь, конечно, идет о впечатлениях и мнениях, а не о деталях содержания. Байяр не только признается в том, что он сам как преподаватель позволяет себе говорить о непрочитанных им книгах со своими студентами, но и приводит парадоксальные примеры того, как писатели могут говорить со своими читателями о книгах, которых они сами (писатели) не только не читали, но на самом деле и не писали!

Несмотря на очевидную иронию, книга Байяра представляет собой вообще-то вполне серьезное исследование специфики социологического аспекта чтения. Автор вводит понятие "коллективной библиотеки" – это некое поле, общее для всего читательского сообщества. Способность адекватно ориентироваться в этом поле и является главной читательской компетенцией: каждую отдельную книгу читать вовсе не нужно (да это и невозможно), достаточно представлять себе место этой книги (и ее автора) в "коллективной библиотеке". Безусловно, для каждого отдельного автора (как, например, для Дубравки Угрешич) это факт печальный, но для рядового читателя скорее успокаивающий и избавляющий от комплекса ощущения собственной необразованности.

О том, как стереотипный образ писателя, крепко впечатавшийся в массовое сознание, приходит в противоре-

чие с его реальной (жизненной и творческой) эволюцией, наглядно свидетельствует казус Джерома Д. Сэлинджера, чья биография, вышедшая вскоре после его кончины в 2010-м, весьма оперативно появилась и по-русски (**Кеннет Славенски**. *Дж.Д. Сэлинджер. Идя через рожь* / Пер. с англ. **А. Дорошевича**, **Д. Карельского**. — М.: Колибри, Азбука-Аттикус, 2012. — 496 с. — Серия "Персона"). В начале 50-х после выхода действительно культового романа "Над пропастью во ржи" Сэлинджер стал ассоциироваться прежде с образом своего героя, подростка Холдена Колфилда, бунтующего против той фальши, "липы", на которой построено все общество взрослых. И уже неважно, что на протяжении нескольких последующих десятилетий Сэлинджер уходил от этого образа как в своих текстах, так и в жизни, — именно этот образ был от него уже неотделим. А попытки сопротивления этому — в частности, отказ от новых публикаций и уединение в провинциальном Корнише — парадоксальным образом привели к рождению нового мифа: о великом молчащем писателе-затворнике. При этом главный роман Сэлинджера продолжал жить своей самостоятельной жизнью, и автору, конечно же, не было дано



предугадать, как отзовется его слово в декабре 1980-го, когда Марк Дэвид Чепмен, идентифицируя себя с гуляющим по декабрьскому Нью-Йорку Холденом Колфилдом, застрелил Джона Леннона — мотивируя свой поступок стремлением защитить миф о молодом Ленноне-бунтаре от той самой "липы", которая, в свою очередь, неизбежно убила бы этот миф. То есть Чепмен роман внимательно прочел, глубоко прочувствовал и по-своему интерпретировал — иначе говоря, стал тем его "настоящим" читателем, о котором писателю, казалось бы, следовало только мечтать. Так, может быть, действительно: "Читать не надо"?

Вислава Шимборская Wisława Szymborska [1923–2012]. Польская поэтесса, лауреат Нобелевской премии [1996].

Автор девяти книг стихов, в том числе *Большие числа* [*Wielka liczba*, 1976], *Люди на мосту* [*Ludzie na moście*, 1986], *Конец и начало* [*Koniec i początek*, 1993], *Минута* [*Chwila*, 2002] и др. Стихи В. Шимборской по-русски печатались в сборнике переводов А. Ахматовой *Голоса поэтов* [1965], в антологии *Польские поэты* [1978], в *ИЛ* [1967, № 2; 1974, № 7; 1978, № 8; 1994, № 11; 2000, № 8; 2003, № 5, 2012, № 4], а также вышли две ее книги *Соль* [2005] и *Избранное в переводах Асара Эппеля* [2007]. В *ИЛ* опубликованы также речь Виславы Шимборской *Поэт и мир*, произнесенная на церемонии вручения ей Нобелевской премии [1997, № 5], фельетоны из сборника *Необязательное чтение* [1999, № 5], книга стихов *Двоеточие* [2006, № 6] и фрагменты книги *Литературная почта, или Как стать / не стать писателем* [2009, № 7].
Перевод выполнен по сборнику стихов *Довольно* [*Wystarczy*. Kraków: Wydawnictwo a5, 2012].

Алан Беннетт Alan Bennett [р. 1934]. Один из самых известных английских сатириков: драматург, актер, сценарист, прозаик, публицист. Лауреат премии Лоренса Оливье [1989], почетный доктор ряда университетов Великобритании.

Автор множества пьес, в том числе *Habeas Corpus* [1973], *Сорок лет спустя* [*Forty Years On*, 1969], *Старая страна* [*The Old Country*, 1978], *Безумие Георга III* [*The Madness of George III*, 1991; экранизация, 1994], *Одинокие шпионы* [*Single Spies*, 1988], *Молодые историки* [*History Boys*, 2005], *Говорящие головы* [*Talking Heads*, 1992], а также повестей *Необыкновенный читатель* [*The Uncommon Reader*, 2007; рус. перев. *ИЛ*, 2009, № 12], *Обитательница фургона* [*Lady in the Van*, 1994], *Голы и босы* [*The Clothes They Stood Up*, 2002; рус. перев. *ИЛ*, 2010, № 4], автобиографической прозы *Письма домой* [*Writing Home*, 1994], *Жизнь как у всех* [*A Life Like Other People's*, 2009], *Нерассказанные истории* [*Untold Stories*, 2010–2011] и др.
Настоящая повесть публикуется по изданию *Скользкое место (Две неподобающие истории)* [*Smut (Two Unseemly Stories)*. London: Faber & Faber Ltd., 2011].

Мишель Турнье Michel Tournier [р.1924]. Французский писатель, член академии Гонкуров, лауреат Гонкуровской [1970] и других литературных премий.

Автор романов *Пятница, или Тихоокеанский лимб* [*Vendredi ou Les Limbes du Pacifique*, 1967; рус. перев. 1999], *Лесной царь* [*Le roi des aulnes*, 1970; рус. перев. 2000], *Метеоры* [*Les météores*, 1975; рус. перев. 2006], ряда сборников рассказов, книг эссе и др. В *ИЛ* были напечатаны его повесть *Жиль и Жанна* [1993, №10], рассказы из сборников *Глухарь* [1981, №10] и *Полуночный ужин влюбленных* [2001, № 4], роман *Элеазар, или Источник и Куст* [1997, № 2].
Перевод выполнен по изданию *Le Miroir des idées* [Mercure de France, 1994].

Дагоберто Гилб
Dagoberto Gilb
[р. 1950]. Американский писатель. Лауреат премии Национального фонда искусств [1992], премии имени Эрнеста Хемингуэя [1993], премии Фонда Гугенхайма [1995] и др.

Автор сборников рассказов *Ставка на выигрыш и другие рассказы* [*Winners on the Pass Line and Other Stories*, 1985] и *Магия крови* [*The Magic of Blood*, 1993], романов *Последнее пристанище Мики Акуньи* [*The Last Known Residence of Mickey Acuña*, 1994] и *Цветы* [*The Flowers*, 2008], сборника новелл *Изборождившие чарами сердце* [*Woodcuts of Women*, 2001] и др. В *ИЛ* опубликован его рассказ *Дядя Рок* [2011, № 5].
Публикуемый рассказ *Willow Village* взят из журнала *Harper's Magazine* [September, 2008].

Томас Корагессан Бойл
Tom Coraghessan Boyle
[р. 1948]. Американский писатель. Лауреат около сорока литературных премий и наград.

Автор романов *Музыка вод* [*Water Music*, 1982], *Конец мира* [*World's End*, 1987], *Дорога на Вэллвилл* [*The Road to Wellville*, 1993; рус. перев. 2004], *Друг Земли* [*A Friend of the Earth*, 2000], *Говори, говори* [*Talk Talk*, 2006], *Женщины* [*The Women*, 2009] и др. и восьми сборников рассказов. В *ИЛ* опубликован его роман *Восток есть Восток* [1994, № 8] и рассказы [1995, № 12 и 2008, № 8].
Публикуемый рассказ взят из журнала *The New Yorker* [January 21, 2008].

Георг Кляйн
Georg Klein
Немецкий прозаик. Лауреат премии имени братьев Гримм города Ханау [1999] и премии имени Ингеборг Бахман [2000].

Автор сборника рассказов *Про немцев* [*Von den Deutschen*, 2002; перев. одноименного рассказа из этого сборника – *ИЛ*, № 9, 2003], романов *Либидисси* [*Libidissi*, 1998; рус. перев. *ИЛ*, № 6, 2008], *Barbar Rosa. Детективная история* [*Barbar Rosa. Eine Detektivgeschichte*, 2001], *Солнце нам светит* [*Die Sonne scheint uns*, 2004] и *Грех Добро Молния* [*Sünde Güte Blitz*, 2007].
Публикуемый рассказ *Zukunft* взят из книги *Логика услады* [*Die Logic der Susse*. Rowohlt Verlag, 2012].

Ханиф Курейши
Hanif Kureishi
[р. 1954]. Английский прозаик, драматург, сценарист. Лауреат ряда литературных премий, в том числе Уитбредской [1990]. Командор ордена Британской империи.

Автор романов *Будда из пригорода* [*Bydda of Suburbia*, 1990; рус. перев. 2002], *Черный альбом* [The *Black Album*, 1995], *Близость* [*Intimacy*, 1998], пьесы *Пригород* [*Outskirts*, 1981], сборников рассказов. В *ИЛ* опубликованы рассказы из сборника *Полночь целый день* [2002, № 3].
Публикуемый рассказ взят из сборника *Любовь в унылые времена* [*Love in a Blue Time*. London: Faber & Faber, 1997].

Магдалена Тулли
Magdalena Tulli
Польский прозаик, переводчик с итальянского и французского языков. Лауреат ряда литературных премий.

Автор повести *Сны и камни* [*Sny I kamienie*, 1995; рус. перев. 2007], сборника повестей *Красное* [*W Czerwieni*, 1998], романов *Наклонения* [*Tryby*, 2003], *Изъян* [*Skaza*, 2006], *Контролер снов* [*Kontroler snów*, 2007, под псевдонимом Marek Nocny].
Публикуемый рассказ печатается по изданию *Итальянские шпильки* [*Włoskie szpilki*. Warszawa: Nisza, 2011].

Иосиф Александрович Бродский [1940–1996]. Русский и американский поэт, эссеист, драматург, переводчик. Лауреат Нобелевской премии по литературе [1987]. Поэт-лауреат США [1991–1992].

Автор сборников *Стихотворения и поэмы* [1965], *Часть речи* [1977], *Римские элегии* [1982], *Новые стансы к Августе* [1982], *К Урании* [1988], *Конец прекрасной эпохи: стихотворения 1964–1971 годов* [1989], *Осенний крик ястреба: стихотворения 1962–1989 годов* [1990] и др., книг эссе *Меньше единицы* [*Less Than One*, 1986], *Набережная неисцелимых* [1992], *Скорбь и разум* [*On Grief and Reason*, 1995]. Изданы собрания сочинений в 7-ми тт. [1994–1998] и в 8-ми тт. [1996–2002]. В *ИЛ* публиковались его стихи и эссе [1992, № 10; 1995, № 7, 12; 1997, № 1], переводы стихов Дж. Донна [1988 № 9], пьес Т. Стоппарда *Розенкранц и Гильденстерн* [1990, № 4] и Б. Биэна *Говори о веревке* [1995, № 2] и др.
Публикуемые стихи взяты из сборника *И так далее* [*So Forth*. London: Hamish Hamilton, 1996].

Йозеф Рот Joseph Roth [1894–1939]. Австрийский писатель.

Автор романов *Отель Савой* [*Hotel Savoy*, 1924; рус. перев. 1925], *Бунт* [*Die Rebellion*, 1924; в рус. перев. *Мятеж*, 1925], *Циппер и его отец* [*Zipper und sein Vater*, 1927; в рус. перев. *Циппер и сын*, 1929], *Марш Радецкого* [*Radetzkymarsch*, 1932; рус. перев. 1939] и др. В *ИЛ* были опубликованы его романы *Иов* [1995, № 8] и *Склеп капуцинов* [2002, № 6], повесть *Легенда о святом пропойце* [1996, № 1], рассказ *Бюст императора* [1998, № 3].
Публикуемый текст печатается по изданию *Собрание сочинений. Тт. 1–3. Журналистика* [*Werke. Bd-e 1–3. Das Journalistische Werk*. Köln: Verlag Kiepenheuer & Witsch, 1989–1991].

Ольга Юрьевна Панова Литературовед, переводчик с английского, испанского и французского языков, кандидат филологических наук

Автор статей и переводов по истории американской, афро-американской и французской литературы, переводчик детской литературы.

Ральф Уолдо Эллисон Ralph Waldo Ellison [1914–1994] Афроамериканский писатель, публицист, критик. Лауреат Национальной книжной премии США [1953].

Автор двух сборников эссе *Тень и действие* [*Shadow and Act*, 1964] и *Поход на территорию* [*Going to the Territory*, 1986], ряда рассказов, в том числе вошедших в изданный посмертно сборник *Лечу домой* [*Flying Home and Other Stories*, 1996], а также двух опубликованных посмертно романов *Июньдцатый* [*Juneteenth*, 1999] и *За три дня до выстрела...* [*Three Days Before the Shooting...* 2010].
Перевод фрагментов романа выполнен по изданию *Invisible Man* [New York: Signet Books, 1952].

Сол Беллоу Saul Bellow [1915–2005]. Американский писатель, лауреат

Автор романов *Приключения Оги Марча* [*The Adventures of Augie March*, 1953], *Планета мистера Самлера* [*Mr. Sammler's Planet*, 1969], *Дар Гумбольдта* [*Humboldt's Gift*, 1975], *Декабрь декана* [*The*

Нобелевской премии [1976], Национальной книжной премии [1953, 1969], Пулитцеровской премии [1975].

Dean's December, 1982]; повестей *Лови момент* [*Seize the Day*, 1956; рус. перев. 1990], *Кража* [*Theft*, 1988]. Повести *Родственники* [*Cousins*, 1984] и *В связи с Беллароза* [*The Bellarosa Connection*, 1989] напечатаны в *Библиотеке ИЛ* [1991]. В *ИЛ* напечатаны его романы *Герцог* [1990, № 11–12], *Между небом и землей* [1998, № 4] и рассказы [1997, № 5]. Публикуемый текст печатается по изданию *Избранные эссе Ральфа Эллисона* [*The Collected Essays of Ralph Ellison*. New York: Random House Inc., Modern Library Edition, 1995].

Марина Михайловна Ефимова
Журналист, редактор, переводчик. Ведущая тематических передач на радио *Свобода*.

Автор повести *Через не могу* [1990] и многих публикаций в американской эмигрантской прессе. Ведущая рубрики *ИЛ Новые книги Нового Света*.

Леонид Гиршович
[р. 1948]. Русский писатель, музыкант. В начале 70-х эмигрировал в Израиль, позже переехал в Германию, в настоящее время работает в оркестре Ганноверской оперы. Финалист *Букеровской премии* [1999].

Автор романов *Перевернутый букет* [1978], *Обменные головы* [1995], *Бременские музыканнты* [1997], *Прайс* [1998], *Суббота навсегда* [2001] и др. В *ИЛ* публиковались его статьи *Об уличном музицировании как следствии высокопрофессионального обучения детей музыке* [2005, № 2], *Запад есть Запад* [2006, № 5], *Квадратура круга?* [2006, № 12], *Чур меня!* [2009, № 6] и *Plaisir d'amour* [2009, № 10], *Новое сообщение Броуди, сделанное им во французском Леоне на литературном симпозиуме, посвященном интриге* [2010, № 6], *О вечной старости* [2012, № 3].

Михаил Яковлевич Визель
[р. 1970]. Книжный обозреватель, музыкальный критик, колумнист, издатель, переводчик с итальянского.

Создатель интернет-проекта *Невидимые города online* по роману Итало Кальвино [calvino.lib.ru]. В его переводе вышли два романа Дж. Куликкьи и сборник газетных заметок У. Эко. В *ИЛ* напечатан его перевод рассказа П. В. Тонделли *Тоже либертины* [2008, № 10].

Алексей Васильевич Михеев
[р. 1953]. Кандидат филологических наук. Лауреат премий *Человек книги* [2004], имени А. М. Зверева [2010], журнала *Октябрь* [2010].

В его переводе с польского напечатана пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению*.

Ксения Яковлевна Старосельская
Переводчик с польского, лауреат премий *ИЛ* [1986], польского ПЕН-клуба [2004], польского Института Книги *Трансатлантик* [2008].

В ее переводе издавались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Хороманьского, Т. Конвицкого, В. Шимборской, Т. Новака, В. Мысливского, Е. Анджеевского, М. Хласко, Х. Кралль, С. Хвина, Е. Пильха, О. Токарчук, П. Хюлле и др. В *ИЛ напечатаны* ее переводы романов Т. Новака *Черти* [1975, № 3—4], В. Мысливского *Камень на камень* [1986, № 7—9], М. Хласко *Красивые двадцатилетние* [1993, № 12], С. Хвина *Ханеман* [1997, № 12], П. Хюлле *Касторп* [2005, № 12], повестей Е. Анджеевского *Врата рая* [1990, № 1] и З. Ментцеля *Все языки мира* [2006, № 10], теленовелл Т. Ружевича *Телетрендели* [2006, № 8] и фрагментов его книги *Мой старший брат* [2011, № 5], повести *Монолог из норы* [1999, № 1] и рассказов Е. Пильха [2009, № 2], фрагментов романа А. Барта *Фабрика мухоловок* [2010, № 5], рассказов З. Хаупта [2010, № 8], фрагментов книги М. Шейнерт *Остров-ключ* [2011, № 1], минироманa П. Черского *Отец уходит* [2011, № 1] и др.

Вера Вячеславовна Пророкова
Филолог, переводчик с английского.

В ее переводе публиковались произведения Т. Адзопарди, И. Б. Зингера, Б. Маламуда, а также роман *На прибрежье Гитчи-Гюми* Т. Яновиц и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны рассказы из сборника Т. Яновиц *Рабы Нью-Йорка* [1998, № 3], романы Ф. Проуз *Голубой ангел* [2002, № 11,12], Т. Роббинса *Вилла "Инкогнито"* [2005, № 1], глава из книги П. Г. Вудхауса *За семьдесят* [2005, № 10].

Мария Александровна Липко
Переводчик с французского и английского языков. Студентка Высших литературных курсов Литературного института имени А. М. Горького.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Андрей Александрович Светлов
[р. 1980]. Переводчик с английского.

В его переводе издавались учебники и монографии по филлотаксису, молекулярной биологии, биоинформатике и материаловедению. В *ИЛ* опубликован его перевод рассказа Д. Гилба *Дядя Рок* [2011, № 5].

Анатолий Сергеевич Егоршев
[р. 1935]. Журналист, германист, переводчик с немецкого.

В его переводе выходили произведения М. Бадрожич, У. Кольбе, Р. Леттау, Л. Тролле, К. Хайна, Т. Хетхе, П. Хэртлинга, Т. Хюрлимана, В *ИЛ* в его переводе напечатаны эссе Х. М. Энценсбергера *Великое переселение* [1994, № 9], *Взгляд на гражданскую войну* [1995, № 6] и *Роскошь — прежде и теперь, или Кое-что об излишествах* [1997, № 9], фрагменты книги В. фон Штернбурга *Как будто всё в последний раз* — о жизни и творчестве Э. М. Ремарка [2000, № 10], эссе П. Бикселя *Швейцария глазами швейцарца*

[2002, № 9], У. Видмера *Небо Европы* [2006, № 6], А. Коллерича *Попытки писать о небе. Предостережение* [2006, № 6], повесть Ю. Амана *В поисках блудного сына* — о жизни и творчестве Р. Вальзера [2007, № 7], несколько миниатюр Р. Вальзера [2007, № 7], роман Г. Кляйна *Либидисси* [2008, № 6] и др. В Германии в его переводе на немецкий опубликована повесть В. Панова *Филипп фон Цезен*.

Александр Михайлович Беляев
[р. 1975]. Журналист, музыкальный критик. Лауреат конкурса журналистских работ *Беларусь-Россия. Шаг в будущее* [2007].

Печатается в деловой и музыкальной прессе: *Ведомости*, *Новая газета*, *Московские новости*, *Труд*, *Rolling Stone*, *Play* и др. В его переводе издана автобиография Эрика Клептона. В *ИЛ* публикуется впервые.

Ирина Евгеньевна Адельгейм
Литературовед, доктор филологических наук, переводчик с польского.

В ее переводе опубликованы произведения Г. Херлинга-Грудзинского, П. Хюлле, М. Тулли, Т. Ружевича, А. Стасюка, О. Токарчук, М. Вилька, Э. Крылюк и др.
В *ИЛ* опубликованы ее переводы автобиографической повести К. Кеслёвского *О себе* [1998, № 11—12], стихотворений В. Шимборской *Две обезьяны Брейгеля*, *Утопия* [2003, № 5], повести П. Хюлле *Мерседес-бенц. Из писем к Грабалу* [2004, № 1], эссе *Сегодня умирают иначе* [2004, № 9] и фрагмента книги *Дойчланд* А. Стасюка, документальной повести В. Тохмана *Ты словно камни грызла* [2004, № 10], романа *Последние истории* [2006, №8—10] и фрагмента романа *Бегуны* [2010, № 6] О. Токарчук, фрагмента книги Х. Климко-Добжанецкого *Колыбельная для висельника* [2009, № 7], рассказов К. Орлося [2010, № 5], пьесы Т. Слободзяника *Одноклассники* [2011, № 10], а также статьи и рецензии.

Виктор Альфредович Куллэ
[р. 1962]. Поэт, эссеист, переводчик, кандидат филологических наук. Лауреат премии журнала *Новый мир* [2006] и итальянской премии *Lerici Pea* [2009].

Автор книг стихов *Палимпсест* [2001] и *Всё всерьез* [2011]. Составитель и комментатор восьмитомного собрания сочинений Иосифа Бродского [1996—2002].
Переводил стихи Т. Венцловы, Д. Уолкотта, Ш. Хини и др. В *ИЛ* в его переводе опубликованы стихи болгарского поэта Б. Ламбовского [1997, № 11].

Наталия Беленькая-Гринберг
Студентка магистратуры кафедры славистики Иерусалимского университета. Живет в Иерусалиме.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Марина Яковлевна Бородицкая
Поэт, переводчик с английского и французского языков. Лауреат премий *Единорог и Лев* [2006], *Инолиттл* [2007].

Автор стихотворных сборников *Я раздеваю солдата* [1994], *Одиночное катание* [1999], *Год лошади* [2002], *Оказывается, можно* [2005], а также многочисленных книг для детей. Переводила стихотворения и поэмы Дж. Чосера, Дж. Донна, английских поэтов-кавалеров XVII века, Дж. Китса, Р. Киплинга, Г. Лонгфелло, Р. Бёрнса, П. Ронсара, П. Верлена, А. А. Милна, Э. Фарджен и др. В *ИЛ*

опубликовано ее эссе *Горсть мелочи* [2007, № 12], а также в ее переводах напечатаны стихи Д. Паркер, Г. К. Честертона, Дж. Чосера, В. Набокова, Р. Фэйнлайт, Р. Браунинга, Р. Крили, Р. Геррика, Г. Шнакенберг, Р. Фроста, отрывки из *Комедии ошибок* У. Шекспира [2012, № 10] и др.

Александр Леонидович Шапиро
[р. 1972]. Переводчик, эссеист. Доктор философии.

Автор книги *Загадки старых мастеров* — о малоизвестных особенностях западно-европейского искусства [2009]. Постоянный ведущий рубрики поэтического перевода в литературном журнале *Новый Берег* [с 2007]. В *ИЛ* публикуется впервые.

Кирилл Николаевич Анкудинов
[р. 1970]. Поэт, переводчик, литературный критик, литературовед, преподаватель. Кандидат филологических наук.

Публиковался в журналах *Новый мир, Октябрь, Знамя, Москва* и др., в *Литературной газете*, в газетах *Литературная Россия, День литературы* и др.

Леонид Леонидович Ситник
[р. 1966]. Поэт, переводчик с английского.

Его стихи в разные годы печатались в журналах *Наш современник, Новая юность* и др. В 1996 г. издал книгу *Сонеты Шекспира в разных переводах*. В 2004 году в серии *Памятники мировой литературы* издательства *Наука* вышла книга стихов Эмили Дикинсон, в которой опубликованы несколько его переводов.

Григорий Михайлович Кружков
[р. 1945]. Поэт, переводчик, литературовед. Лауреат премии *ИЛлюминатор* [2002], Государственной премии по литературе [2003], премии *Мастер* [2010] и Бунинской премии [2010].

Автор шести сборников стихов [последний — *Новые стихи*, 2008]. В его переводах вышли книги Л. Кэрролла *Охота на Снарка* [1991], У. Б. Йейтса *Избранное* [2001], Д. Китса *Гиперион и другие стихотворения* [2004], Д. Донна *Алхимия любви* [2005], У. Стивенса *Сова в саркофаге* [2008], Э. Дикинсон *Стихи из комода* [2010] и др. Статьи и эссе составили сборники *Ностальгия обелисков* [2001], *Лекарство* от фортуны [2002], *Пироскаф. Из английской поэзии XIX века* [2008] и *У. Б. Йейтс: Исследования и переводы* [2008]. Вышли *Избранные переводы* в 2-х тт. [2009]. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Михаил Львович Рудницкий
[р. 1945]. Литературный критик и переводчик с немецкого, кандидат филологических наук. Лауреат премий Инолит [1996] и имени Жуковского [2002].

Автор книги *Перед лицом правды* [1987]. В его переводах издавались романы и повести *Короткое письмо к долгому прощанию* П. Хандке, *Искра жизни* Э. М. Ремарка, *И больше нечего желать* А. Мушга и др. В *ИЛ* напечатаны его переводы *Под конвоем заботы* Г. Бёлля [1988, № 11, 12], *Другой процесс* Э. Канетти [1993, № 7], *Медея. Голоса* К. Вольф [1996, № 1], *Собачьи годы* Г. Грасса [1996, № 5—7], *Земля обетованная* Э. М. Ремарка [2000, № 3], *Завет* Г. Бёлля [2001, № 1], *Вилленброк* К. Хайна [2001, № 7, 8], *Письма Ф. Кафки Фелиции Бауэр* [2003, № 2], книги У. Тимма *На примере брата* [2004, № 11], рассказа Г. Кляйна *Нойма* [2009, № 10], пьесы Т. Бернхарда *Знаменитые* [2010, № 2], фрагментов романа М. Кумпфмюллера *Великолепие жизни* [2012, № 10] и др.

В оформлении обложки использован фрагмент картины немецкого художника Георга Гросса [1893–1959] *Серый день* [1921].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко. Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая");
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в книжном магазине "dodo-space" (Рождественский бульвар, д. 10 / 7).

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.12.2012
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 1731.
Тираж 4800 экз.

Отпечатано в ОАО "Можайский полиграфический комбинат".
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.
Сайт: www.oaompk.ru
Тел.: (495) 745-84-28; (49638) 20-685.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Вниманию
начинающих переводчиков
с итальянского языка!

Приглашаем принять участие
в новом сезоне литературного конкурса
“Премия Горького”
для начинающих переводчиков
художественной литературы.

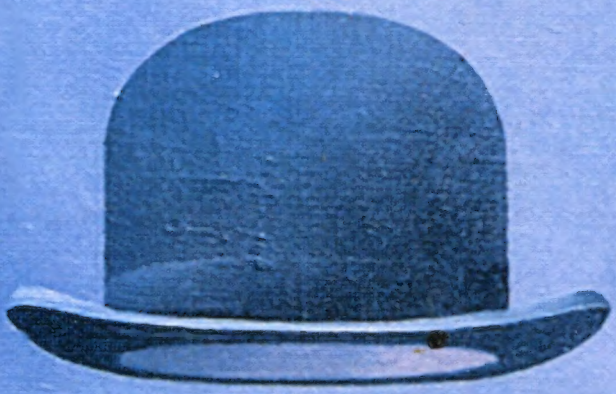
Текст, предложенный на перевод соискателям,
а также подробная информация о правилах конкурса
доступны на сайте Премии Горького
http://premiogorky.com

---

[2] 2013

РОМАН ЖУЗЕ ЭДУАРДУ АГУАЛУЗЫ “ПРОДАВЕЦ ПРОШЛОГО” / “ИЗ ДНЕВНИКОВ” ИВЛИНА ВО / СТИХИ И ЗАМЕТКИ АЛЕХАНДРЫ ПИСАРНИК В ЛИТЕРАТУРНОМ ГИДЕ “СКИТАЛИЦА ПО СЕБЕ САМОЙ...” / “ВОТ ЭТО МЕСТО!” НАТАЛЬИ РАПОПОРТ, “КАЗЕННЫЙ ДОМ” ЕЛИЗАВЕТЫ ДОМБАЯН, “ЧЕРНАЯ МАГИЯ ТОНИ МОРРИСОН” МАРИНЫ ЕФИМОВОЙ И ДР. В РУБРИКЕ “ЕЩЕ НЕМНОГО ОБ АМЕРИКЕ”

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература":
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 41

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2013, №1, 1-288

ISSN 0130-6545 12001
9 770130 654770